НЁМАН

6/2010
ИЮНЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

БЕЛАРУСЬ—РОССИЯ
Совместный номер издан при поддержке
Постоянного Комитета Союзного государства

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Литература и Искусство»

Первый заместитель директора — главный редактор
Алесь БАДАК

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные по электронной почте, редакция не рассматривает.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонской*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *Т. С. Чуйковой*

Подписано к печати 10.06.2010 г. Формат 70×108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 20,65. Тираж 3689. Заказ 1368.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»

«Я шел по целине...»

В 1989 году Андрей Федаренко издал свою первую — весьма тоненькую — книгу прозы «Гісторыя хваробы», которая сразу же сделала его одним из самых популярных писателей в своем поколении. И каждая новая — нет, даже не книга, а публикация, будь то повесть или рассказы, расширяла границы этой популярности, так что к выходу первого романа «Ревизия» он укрепился в «звании» одного из лучших современных белорусских писателей уже без привязки к определенному поколению.

— Андрей, со времени первой публикации романа «Ревизия» прошло несколько лет. О нем много говорили, писали. Ты доволен тем, как его «прочитала» критика?

— Как-то спросил у одной студентки журфака, автора «Маладосці»: «Ты читала что-нибудь мое?» — «Я на экзамене вытянула билет по «Ревизии». Так что если твое произведение включено в программы, по нему сдают экзамены, грех жаловаться, что его как-то плохо, «неправильно» прочитали и поняли... Однако здесь необходимо сделать важную оговорку. Критика — любая, и хвалебная, и вульгарная — далеко не является критерием. Понимаю, что сравнение хромает, оно немного из другой оперы, но вот, например, что писали в свое время про Гоголя: «Его пьеска («Ревизор») — всего-навсего глупый фарс». Чернышевский про Льва Толстого: «Хвастовство бестолкового павлина своим хвостом...» О «Евгении Онегине»: «Ветреная и легкомысленная пародия на жизнь. Мыльные пузырьки, пускаемые затейливым воображением». Наш землячок Фаддей Булгарин про того же Пушкина: «Ни одной мысли, ни одного чувствования, ни одной картины, достойной воззрения». Буренин о Чехове: «Беллетристику-то — эх, увы! Пишут минские да чеховы...» Самое поразительное, что это были не люди с улицы, а выдающиеся критики своего времени, так сказать, властители дум...

— В последнее время о кризисе романного жанра пишут уже с уверенностью, которая не терпит возражений. Не жалеешь, что «Ревизия» не появилась в печати на лет 10—15 раньше? Вообще, к своему первому роману ты шел достаточно долго. И дело даже не в том, что можно вспомнить большое количество известных романов, которые появились на свет, когда их авторам не было и тридцати. А в том, что твоя популярность у читателей и пристальное внимание критики к каждой новой книге должны же были вызывать «творческий зуд», желание написать что-то крупное?

— Если бы я писал по принципу: «А дай-ка я «зляпаю» роман, его как раз не хватает в моем писательском арсенале», — грош цена была бы мне и как писателю, и как человеку. Просто сама тема затребовала романного воплощения. И раньше, лет 15 назад, такой роман вряд ли мог появиться, нужна была пауза между старым поколением и новым. Ты представляешь, например, повесть Быкова, героем-прототипом которой был бы Иван Пташников или Янка Брыль? Я шел по целине, поэтому так долго «Ревизия» и писалась.

— Готовя роман к печати, ты ожидал, что читатели легко узнают некоторых прототипов главных героев? И потом, ты не считаешь, что поколение, которое ты «увековечил» в «Ревизии» и которое так громко вна-

чале о себе заявило, позднее как-то растворилось во времени и, остепенившись, дойдя до среднего возраста, не завоевало того авторитета, который к этому возрасту имели предшественники?

— Меньше всего при написании «Ревизии» меня интересовало мое поколение и его судьба. Я вывел Анатоля Сыса в образе Ведрича потому, что Сыс был, пожалуй, единственный среди нас классический литературный тип. Главный же герой романа — Время, и в философском значении, и в прямом, примитивном — время часов на стене, это магически-мистическое тиктакание, которое с каждым махом маятника приближает нас к старости и смерти. Скорее всего, забудется наше поколение, возможно, даже забудется Сыс, а вечный вопрос Времени останется.

— По-твоему, проблемы, поднятые в романе, могут быть интересны зарубежному читателю, далекому от наших реалий? Согласен ли ты со Стендалем, который считал, что литературная слава — это лотерея?

— Молодой режиссер с «Беларусьфильма» Евгений Сетько настойчиво предлагает мне написать вместе с ним сценарий по «Ревизии», верит, что фильм получится и будет представляться в том числе и на зарубежных кинофестивалях... Что же касается Стендаля — согласен с ним на сто процентов. Писателя могут еще при жизни незаслуженно вознести к небесам и могут так же незаслуженно обойти вниманием: смотри ответ на первый вопрос. Кстати вспоминается старая песня: «Тяните жребий, господа, тяните жребий! И если снова проиграет голытьба — тут не система виновата, а судьба». Однако опять-таки оговорка: литературная слава, как и любая слава — это палка о двух концах. Как писал Стейнбек: «Ужасная вещь — утрата неизвестности». И мы, конечно же, хорошо понимаем, что он имел в виду. Писатель — не однодневная шоу-звезда, его лучшие друзья и союзники — одиночество и, если хотите, умеренный материальный недостаток...

Беседовал Алесь Малиновский.

АНДРЕЙ ФЕДАРЕНКО

Ревизия

Роман

Часть первая

1

Вечер, редкий сухой снежок сыплется и не тает, а белит улицы, тротуары, крыши домов, белит весь этот большой и, несмотря ни на что, красивый — самый лучший на свете город.

Подмораживает, и потому шаги, голоса, шум машин — все выразительное, по-зимнему звонкое, хотя еще не зима совсем, а осень, всего только середина октября 1989 года. И тут, в центре Минска, около бывшего Губернаторского, а теперь почему-то имени Горького, парка, в здании странной планировки и архитектуры, в таком нескладно аляповатом снаружи и в таком уютном внутри, в зале на втором этаже, где овальный стол и кресла вдоль всех четырех стен, еще только начинают собираться люди. Слышится белорусская речь, повсюду молодые, раскрасневшиеся после улицы лица; постепенно зал заполняется, подходят все новые и новые люди, кто раздевается внизу в гардеробе, кто просто тут, в зале, где около двери стоит пара вешалок, кто держит курт-

ку или пальто в руках; рассаживаются за стол, на стулья вдоль стен, и скоро уже не хватает мест. А люди все идут, и вот уже стараются прилепиться где-нибудь, хотя бы на подоконнике.

— Жыве Беларусь! — прямо с порога громко объявил богатырского роста детина в широком и длинном белом тулупе, держа в руке собачью шапку с опущенными ушами. Он обежал глазами зал: — Все в сборе? Ну, а теперь не хватает одной небольшой бомбы! И покончили бы со всей этой несчастной «незалежнай» Беларусью за минуту!

Он снял тулуп и уверенно направился во главу стола, где, наверное, было специально оставлено ему место.

Слева от двери, в глухом углу на двух стульях кое-как уместились трое: Нелли Ковальская, Алесь Терешков и Алесь Трухан. Все они были студентами истфака, только Трухан и Нелли учились на втором курсе, а Терешков на третьем. Нелли писала стихи, Терешков умел рисовать и оформлял университетскую стенгазету, они были здесь не впервые и чувствовали себя как дома. Трухан же (если ему верить) ничего не писал и не оформлял. Он пришел на это сборище из любопытства, привлеченный рассказами Терешкова, с которым жил в одном общежитии, о каких-то молодых людях, которые собираются вместе, чтобы создавать «новую литературу», и все без исключения говорят по-белорусски. До этого ему никогда не приходилось видеть больше трех таких в одном месте.

Теперь он украдкой рассматривал этих людей, удивленный больше всего тем, что их действительно много и какие они и вправду все молодые! И неужели все пишут? У него еще со школьной скамьи крепко засел в сознании стереотип писателя — обязательно мужчина, высокий, солидный, лысый или седой, обязательно в костюме с галстуком или в толстом вязаном свитере и в очках...

Как ни странно, но Трухан недалеко от себя, через каких-нибудь три кресла, как раз таких и увидел.

Один — солидный, лысый, в костюме, другой — седой, в толстом, выпуклой вязки, в разноцветные ромбы, свитере. Рядом с ними сидел еще человек с какой-то грустной, как бы виноватой улыбкой на моложавом, до синевы выбритом лице. Он все время крутил головой, ко всему присматривался, прислушивался, даже, казалось, принюхивался, и всех одаривал своей печальной улыбкой.

— Седой — это... — забубнил в ухо Терешков, заметив, кем Трухан интересуется. — В школе проходили, в институте теперь будем... А лысый в костюме — ого, это сам (он назвал имя). Наизусть стихи его учили!

— А тот, с краю?

Терешков пожал плечами:

— Не пропускает ни одного заседания, никогда не выступает...

— Ничего: где надо, выступит, — вмешалась Нелли.

Во главе овального стола после различных пересадок образовался как бы президиум. Справа сел белобрысый парень в черной кожаной куртке, слева — чернявый в светлом костюме, посередине — тот самый детина, который шутил про бомбу. Они втроем еще о чем-то пошептались, и белобрысый объявил, что можно начинать. Чернявый назвал фамилию.

Все притихли. В тишине поднялась болезненная тонкая девчушка с листком бумаги в руке, дважды пыталась читать и, сбившись, замолкала.

— Смелей, Лида! — подбадривал белобрысый. — Представь себе, что сейчас двадцатые или тридцать седьмой год и за тобой сейчас приедут.

Никто не засмеялся. И самое удивительное, что на Лиду слова белобрысого подействовали. Чистым, звонким голосом, без единой запинки она, не заглядывая в листок, продекламировала длинное стихотворение на историче-

скую тему, про князя и княгиню, в котором чуть ли не через слово попадались «дзиды»[1] и «вои»[2], «рамены»[3] и «цяглицы»[4], «веи»[5] и «скрыдлы»[6]…

— Ну, кто что скажет? — поинтересовался чернявый в светлом костюме, когда девчушка закончила читать и не присела, а стояла, ожидая приговора. Первым отозвался белобрысый:

— Я считаю, это не каждый журнал опубликует. Смело, мощно! Почти Короткевич.

— Наконец-то мы стали выбираться из лаптей, — заметил чернявый.

— Это не поэзия, — резюмировал детина посередине. — Слабенький стишок. Однако же она не в официальную редакцию его принесла, а нам. За что я тебя, Лида, и люблю. Все, следующий!

Девчушка с облегчением вздохнула, села, покрасневшая и похорошевшая, — видно, ожидала куда большего разгрома, — начала шептаться с соседками.

Таким, как говорится, макаром пошло и дальше. Поднимался парень или девушка, читали стихотворение или рассказик; в стихах были все те же «вои-веи», «скрыдлы-дзиды», «храм-хам», в рассказиках — одиночество, неприкаянность, дождь за окном, сигарета в руке и неизменная чашечка кофе... Отзывался первым чернявый, подчеркивая каждый раз в своих оценках, что наконец-то, слава Богу, мы выбираемся из лаптей, почти исчезла в произведениях сельская тема, не говоря о надоевшей всем запечной психологии старых дедов и бабулек, которые десятилетиями не вылезали из нашей литературы. Белобрысый хвалил всех подряд — на том основании, что эти вещи не примет ни одна официальная редакция; а наивысшей похвалой у него было — «почти как у Короткевича». Подытоживал детина, у которого была своя, тоже довольно однообразная оценка:

— Мура, если честно... Чепуха полнейшая! Но все же не кому-то, а именно нам на суд принесли. Вот за это — уважаю!

И слушатели, и особенно выступающие, нет-нет да поглядывали на маститых. А у тех после каждого стихотворения или рассказа просто светлели лица, они все громче переговаривались — так что детина вынужден был сделать им замечание:

— Может, хотите выступить?

— С вашего позволения, — ответил, вставая, писатель в свитере.

— Кто это? — шепотом спросил у Терешкова Трухан про ведущего, который больше всех его интересовал.

— Ведрич, — ответил Терешков, — кадр еще тот!

Писатель в свитере привычным жестом человека, который умеет держаться на людях, ладонью отбросил назад свои седые волосы, заговорил густым, уверенным, поставленным, как у диктора, голосом:

— Думаю, называть себя нет необходимости — надеюсь, все меня и так знают. А вот мою новую должность вряд ли. Я недавно выбран в комиссию по работе с литературной молодежью, поэтому...

— А что, есть такая комиссия?

— И с кем она работает, если все молодые — сами по себе? — послышались возгласы.

Белобрысый из «президиума» тоже сказал:

---

[1] Копья (*стар.-бел*).
[2] Воины.
[3] Плечи.
[4] Мускулы.
[5] Веки.
[6] Крылья.

— Выходит, если бы мы сами не стали собираться, так и не было бы никакой комиссии? Тогда кто под кого подстраивается?

Писатель был явно обижен:

— Подождите... Во-первых, почему вы думаете, что, кроме вас, нет больше молодых... Во-вторых, и правда, раз уж вы собрались, так надо же кому-то направлять... ну, работать с вами... Отсюда и комиссия!

Ответом ему был дружный смех. Писатель между тем решил не сдаваться и довести свою мысль до конца:

— Да, руководить! Не пускать вас на самотек. И нет в этих словах ничего смешного...

— Как же, нет! — вставил Ведрич.

— Вообще, не понятно — почему вы так сразу, с ходу видите в нас врагов? Мы вам не враги. Какие бы вы ни были, какие бы ни были мы — все мы представители одной белорусской культуры. Вы — новое поколение, и нам совсем не безразлична ваша судьба. Что касается нас, сильно не переживайте: мы просто физически не вечные, и вам еще всего хватит — и кнута, и пряников... Об одном только, по праву старшего, хочу вам напомнить: вот в такие, как сейчас, переломные времена действительно часто рождаются выдающиеся личности, а такие всегда неудобны — для любой власти, для любой системы... И мы, старшие, просто обязаны предупредить вас! Все повторяется, все это неоднократно было даже на нашей памяти! После каждого подъема — спад, неизбежно, и тогда слишком горячие головы, которые высовываются...

— Вот эта ваша вечная осторожность и привела к тому, что мы имеем! — снова перебил Ведрич, который слушал все время с ухмылкой.

— А что мы имеем? — снова обиделся писатель. Почему-то чем больше его перебивали, тем больше он избегал встречаться глазами с кем бы то ни было, а смотрел вниз, на своего лысого товарища, будто искал только его понимания. — Что мы имеем? Наша литература плохая, хотите вы сказать? Да мы дали всемирные образцы военной прозы! Благодаря нам, между прочим, сохранился наш язык — наша родная милая белорусская мова! Весь мир восхищается нами, а вы...

— Ваши всемирные образцы, — явно потешался Ведрич, — это «по блату, по блату спалили немцы хату». А сейчас, уверен, оседлаете новую тему: «Боль моя — Чернобыль», и не слезете с нее до конца света!

Лысый писатель уже тянул товарища за рукав, вслух говорил:

— Брось, ты же видишь, с ними невозможно разговаривать!

Но его друга, видно, задело за живое.

— Да, и война, и Чернобыль — наша неутихающая боль, пусть, действительно, это наши основные темы! А что у вас тогда? Да мы, если честно, столько о вас слышали! И когда шли сюда, ждали... ну, не знаю, чего-то такого! Действительно, сверхлитературного! Вот час просидели — и что? А ничего! Вместо рассказа писать «этюд» или «новелла», вместо «плечи» — «рамены» — это далеко не литература в ее настоящем, высоком значении!

— В огороде бузина, а в Киеве дядька, — вот и вся их сверхлитература, — неожиданно громко сказал лысый. И, надо заметить, вышло это удачно, потому что как раз перед этим читали стишок, в котором вспоминался не к месту Киев.

Седой с благодарностью взглянул на него и продолжил:

— Вы можете не верить, но мы — наше поколение — прошли через все то же самое. Собирались, отвергали, бодались с авторитетами, высмеивали... Все было — правда, с одной очень существенной разницей: за это нас и близко к редакциям не подпускали, шпыняли, критиковали, «резали» в издательствах, а вы хотите...

— А, вы прошли через это — так обязательно надо и нам проходить? — спросил белобрысый. — Вы хотите...

— Нет, это вы хотите! — перебил на этот раз писатель. — Хотите, чтобы вас на руках носили! А впрочем — неважно... Повторяю: в любом случае — вы дети наши, потомки, мы не хотим вам зла, мы будем считаться с вами, какими бы вы ни были! Просто, чтобы не переросло это в пустую говорильню, давайте подумаем вместе. Например, чем мы, наша комиссия, может конкретно вам помочь? Для начала — издать альманах с лучшими вашими вещами. Поверьте, это немало. Мы, правда, не настолько знакомы с вашим... гм, творчеством...

Писатель уже вполне справился с собой и говорил, как и вначале, уверенно и гладко. Только не такая собралась тут публика, чтобы вот так просто отпустить его.

— Еще бы, — усмехнулся Ведрич. — Где вам быть настолько знакомыми... У вас же нет времени даже самих себя читать, не то что нас, молодых. Вам же надо творить, писать полотна, эпопеи, пенталогии...

Писатель впервые за вечер не то что обиделся, а как будто испугался. Он покраснел, достал платок и высморкался, а когда снова заговорил, начал заикаться:

— Я первый раз... В жизни такое...

— Вы знаете, что у нас в каждом городе филиалы? — добивал его Ведрич. — Что вся молодая Беларусь — с нами? Вы же ничегошеньки не читаете, ни за чем не следите! Вон, посмотрите, сидит в сторонке парень — охранником работает, без высшего образования, а такой исторический роман написал — вам и не снилось! У Михася вон, — показал на кого-то пальцем Ведрич, — давно на сборник рассказов. У Лиды уже несколько лет лежит в издательстве книга стихов — боятся выпускать... Да у нас у каждого тут, считай, на книжку, а то и на две наберется. Но вам выгодно закрывать глаза. Если бы мы сами не заявили о себе — вы бы и пальцем не пошевелили! Повздыхали бы с самолюбованием, что литература на вас кончается, — и за новые полотна! Альманах... Да вышли бы наши книги завтра, это же целый новый пласт литературы открылся бы! Но ведь тогда, чего доброго, про вас забудут. Это же потесниться надо будет, эпопеи реже выходить станут... Да что говорить, если вы теперь даже боитесь нас. Теперь — когда у нас, по-вашему, в огороде бузина, а в Киеве дядька. Чего ж вы тогда страхуетесь, даже приходите сюда с ним вот... Кто этот человек? — кивнул Ведрич на молчаливого улыбчивого гостя. — Зачем он регулярно таскается сюда? Кто он — поэт, прозаик? Может, драматург?

Человек молчал и виновато улыбался.

Седой писатель опустился в кресло, руки его вздрагивали, а по лицу пошли белые пятна. Товарищ что-то прошептал ему на ухо, седой согласно кивнул. Оба поднялись и пошли к вешалкам. Человек с грустной улыбкой остался сидеть как сидел.

В зале установилась недобрая тишина. На обиженных писателей старались не смотреть. Белобрысый во главе стола покашлял, повернулся к Ведричу:

— Может, свое новое почитаешь?

Тот вместо ответа вынул из кармана пару пробитых талончиков, смятую пустую пачку из-под сигарет, положил их перед собой, разглядывая:

— Пока ехал сюда в трамвае, записывал на чем попало, — пробормотал он, снова вызвав смех. Общая неловкость как-то сразу пропала. Не вставая с места, он начал читать, и с первой строчки замолкли все, даже старшие писатели остановились, уже в дверях, одетые. А самое удивительное — загадочный человек почему-то перестал улыбаться и насторожился.

Трухан ощутил, как по спине его прошли волной мурашки, как бывает при температуре.

Это была не просто декламация — это было зрелище, как сказали бы теперь — «театр одного актера». Большие, чуть припухшие, страшноватые глаза Ведрича пронизывали каждого, на ком останавливался взгляд, и каждому было понятно, что Ведрич теперь не здесь, не с ними, а где-то, что он отдалился, ушел в слово, сам стал словом.

В его стихах также промелькнули «дзиды» и «рамены», но выигрыш его чтения был не в терминах, а в том, как он выглядел, в фосфорическом блеске этих страшноватых глаз, во всей фигуре, когда он внезапно резко встал, распрямился и с актерским пафосом прижал руку к сердцу.

— Ну, как? — прошептал Терешков Трухану.

Ведрич отодвинул от себя талоны и пачку и читал уже другой стих — по памяти, возможно, даже экспромтом. С каждой новой строфой его выразительный, с надрывом голос забирался все выше и выше, и казалось, в конце он сорвется, «даст петуха». Так следишь и против воли начинаешь переживать за солиста, который вытягивает арию, привыкаешь к нему, где-то сам начинаешь помогать-подтягивать ему и боишься, что когда ты — сам в себе — «сорвешься», то и он не выдержит... И вот в самый критический момент, когда дальнейшее повышение голоса хоть на полнотки все бы испортило, Ведрич будто споткнулся, смолк, на некий миг выдержал паузу, и обычно, без всякой интонации закончил — будто просто доверчиво поделился:

— Бо ў гэтай краіне
Не маю я долі.

2

Объявили перерыв, и все пришло в движение, снова стало шумно. Начали выходить в фойе. Трухан, который все собирался бросить курить и не мог, тоже подался к двери. Стал там, переминаясь с ноги на ногу, не зная, куда руки девать, всех пропуская, — большой, нерешительный, неуклюжий в заношенном своем костюме, из которого давным-давно вырос…

Нелли наконец-то села свободней, достала из косметички зеркальце, поджала маленькие красивые губки, поправила волосы, хотя что там было поправлять — короткая мальчишечья стрижка. «И незачем ей лишний раз любоваться собой», — думал Терешков, краем глаза за ней наблюдая; и без того видно, что все у нее на месте и к месту, что она ухоженная, чистенькая, аккуратненькая… И безупречная, как живая кукла. Приятно с такой, за ручки взявшись, по городу побродить, в коридоре университетском пошептаться-позажиматься, чтобы другие завидовали… Но если представишь такую женой!..

Терешкову нетрудно было сделать это. Он был женат. Правда, жена с маленьким сыном жили теперь далеко, на юге Беларуси, у его родителей, и могли только догадываться, чем занимается на воле их легкий на язык и на подъем, с компанейским характером и внешностью молодого Штирлица глава семейства.

— И мне пойти перекурить, что ли, — сказала Нелли и закрыла косметичку.

— Сходи, конечно.

— Ну вот, — вздохнула она. — Нет чтобы сказать: не нужно, дорогая, береги здоровье, — он «конечно».

Такие теперь были между ними отношения — в стадии затухания, иначе говоря, тот период, который Терешков про себя называл «расплатой за грехи». Все эти упреки, вздохи, подпускание шпилек с ее стороны и скованность, угодливость, ненатуральная, преувеличенная вежливость — с его… Все то, что хуже

любых ссор, потому что является даже не предвестием близкого финала, а собственно им — концом еще одного быстротечного увлечения, обреченного изначально; может, потому смерть его так относительно легко и переживается?..

— Так тебе все равно, курю я или нет? — тут Нелли умолкла, увидев, что к ним идет Ведрич.

В вытянутой руке, как журналист диктофон, он держал пачку сигарет. Поздоровался с Терешковым, задержал его ладонь в своей, удивленно, вопросительно, словно впервые увидел, разглядывая золотое кольцо у него на безымянном пальце. Терешков вырвал руку.

— Что за барсук с вами? — спросил Ведрич, указывая пачкой на дверь, у которой недавно топтался Трухан.

— Да так, — приветливо ответила Нелли. Как только подошел к ним Ведрич, она вмиг стала сама собой: приветливой милой девчушкой, у которой все прекрасно и ни о чем не болит голова. — Из моей группы один…

Она наморщила лобик, подумала, но больше ничего не смогла добавить. Трухан никогда не интересовал ее, потому что не мог быть ей ни потенциальным мужем, ни любовником «на час» (как Терешков), а других критериев оценки мужчин она просто не знала. В этом плане Трухан был для нее практически бесполым. Знала, что он сирота, что приняли его в университет чуть ли не без экзаменов, по какому-то «целевому направлению» от какого-то колхоза или совхоза, куда он после учебы и вернется. Им, второкурсникам, было по семнадцать-восемнадцать лет, ему — за двадцать, он и поступал вместе с Терешковым, и с ним на одном курсе должен был учиться, но пропустил из-за болезни целый год — брал «академический». В армии не служил. Болезненный, молчаливый, вот именно, как заметил Ведрич, «барсуковатый», вечно чем-то прибитый, какими-то своими мыслями занятый…

Поэтому Нелли сама удивлялась — зачем Терешкову нужно было приводить его сюда? И думала, что сделал он это по одной причине — началось охлаждение и возникла необходимость, чтобы всегда находился рядом кто-то третий.

— Ты же сам просил агитировать побольше людей, — сказал Терешков.

— Я и имел в виду людей. Сколько вам говорено было — тут не богадельня. Кто попало шляется!

— И я? — кокетливо спросила Нелли.

— Ну, ты. Ты вне конкуренции, любовь моя, солнце мое… Дай, — Ведрич нагнулся и чмокнул ее в щеку. — Если бы еще с этим женатым не зналась, цены бы тебе не было.

Нелли опустила ресницы.

— А ты, Терешков, смотри у меня, — погрозил толстым пальцем Ведрич.

— Слушай! Пиши свои стихи и разбирайся со своими старыми писателями! Не лезь не в свое дело!

— Я вам всем тут батька. И отвечаю за вас, — серьезно ответил Ведрич. — А впрочем, делайте что хотите!

— Может, ко мне потом? — с надеждой спросила Нелли, когда «батька» ушел. — Я одна сегодня… Поговорим.

— Можно, — неохотно согласился Терешков.

3

Между тем в фойе все гудело. Спорили, курили, переходили от одного кружка к другому; несколько человек окружили известных писателей, которые после выступления Ведрича почему-то раздумали покидать сходку и доказывали что-то. Чтобы вытягивало сигаретный дым, приоткрыли дверь на общий балкон. И туда, не боясь холода, тоже начали выходить люди, и среди

них Трухан — стал в сторонке, подальше от раскрытых дверей и сквозняка. Внизу под балконом белел снегом дворик с пустым бассейном посередине, из которого сиротливо торчали трубы фонтана с черными пирамидками кипарисов по периметру.

Трухан курил, посматривал вниз, на дворик и кипарисы, прислушивался к себе и с удивлением отмечал, что, наверное, впервые за последние месяцы его может интересовать что-то кроме болезни. Он думал теперь про тех людей, которых только что слышал и видел. О том, как легко и хорошо ему среди них, словно встретился, наконец, с близкой родней после долгой разлуки. Он чувствовал, что это его мир, его атмосфера… Одно было досадно немного: почему раньше он ничего о них не знал? Не искал их, не сходился с ними… Тогда, может быть, все у него пошло бы по-другому…

Кто-то тронул его за плечо. Он повернулся и увидел Ведрича.

— Новые люди? — спросил Ведрич. Свет из фойе падал неровно, и большие внимательные глаза его светились странным, неестественным блеском. — Поэзия, проза?

От неожиданности Трухан и растерялся, и обрадовался — какой человек уделяет ему внимание… им интересуется! — и почему-то испугался. Дело в том, что в последнее время он как раз-таки и начал пробовать писать — конечно, в стол, конечно, никому не показывая, сам себя стыдясь… На миг возникло искушение — признаться вот теперь, объявить не без затаенной гордости: да, пишу, прозу, — и тем самым как бы узаконить и свое право получить разрешение на вход в этот новый, такой заманчивый мир. Но не был бы он «рахманым» сыном своего народа, не текла бы в его жилах сермяжная белорусская кровь, если бы тотчас не взбунтовалось все в нем: молчи, не то это занятие, которым нужно хвалиться, это же не мешки таскать и не подковы гнуть. А кроме того, и раньше он сомневался: что же такое у него получается, можно ли назвать это прозой? Теперь же, когда послушал чужое и со своим сравнил, — и подавно.

Поэтому он почти честно ответил:

— Ни то ни другое, вы ошибаетесь, я обычный студент истфака.

— Правда?! — обрадовался Ведрич. — За это дай пять, — и крепко пожал Трухану руку. — А вот рубашку такую под пиджак надевать не советую, давно не носят таких.

— Да у меня и нету другой…

Ведрич был так удивлен, что, затянувшись, забыл выпустить дым изо рта.

— А почему... — он закашлялся, — ты так странно говоришь? В смысле, выражовываешься?

— Редко пользуюсь родным языком, — виновато ответил Трухан. — К своему стыду.

Ведрич повернулся и позвал:

— Эй, идите сюда, посмотрите, какой хлопец интересный! — И снова к Трухану: — Так ты и правда такой или придуриваешься?

— Какой? — все еще не понимал Трухан. Что его так заинтересовало, этого Ведрича? Ну, пиджак старенький, к рубашке не подходит, ну, произношение, наверно, слишком правильное, литературно-рафинированное, как у старательного иностранца…

Подошли те самые белобрысый из президиума, чернявый в костюме и девушка, которая читала про «веи» и «вои».

— Ну, скажи еще что-нибудь! — попросил Ведрич. — Или ты просто разыгрываешь нас? Признайся, что ты прозаик и сейчас просто так выдуриваешься.

— Нет…

— Чепуха, не может быть! Все, кто говорит по-белорусски, что-нибудь пишут. Нация писателей! В народной песне дивчина, женихов перебирая, самого первого за то отвергает, что он, видите ли, стихи не пишет![1]

— Не слушай его, — вступился за Трухана белобрысый. — Я уже лет десять *на мове* говорю, ни слова не написал, не опубликовал, но где бы ни был, с кем бы ни встречался — первый вопрос: «Ты кто, прозаик или поэт?» Никак не привыкнут, что белорусский язык давным-давно пора выводить из-под крыши этого вот дома!

— Ну, скажи что-нибудь, — не отставал от Трухана Ведрич. — Для меня — я давно уже не смеялся.

— Мне очень понравилось ваше выступление, — искренне сказал Трухан. — Никогда не слышал такого.

— О-о, теперь вижу, что ты не такой дурак, как кажешься... Только не захваливай меня, а то я люблю это страшно и еще заплачу, чего доброго. Не обижаешься за дурака? Нет? Ну, тогда хвали меня еще.

— Мощное... да что там, просто чудесное выступление, — подбирая белорусские слова, повторил Трухан.

Все, кроме Ведрича, засмеялись.

— Смейтесь, — сказал им Ведрич. — Вот это, может, единственная настоящая живая душа среди нас. Если не играет, конечно. Ни злости, как у вас, ни зависти, стеснительный, тактичный... Все у него «чудесно», все «мощно»... Как тебя зовут?

— Алесь. Трухан фамилия.

— А меня — Асофил. Шучу — Анатоль. Ведрич фамилия. Так, а сколько тебе годочков, говоришь?

— Двадцать один.

— А мне всего двадцать девять. Почему же вы, дядька, тогда выкаете?

Трухан пожал плечами, давая понять, что не осмеливается на ты, но если можно — с радостью!

— Не обращай внимания, — сказала девушка. — К нему еще привыкнуть надо. А ты, — Ведричу, — отцепись от хлопца!

— Нет, пусть еще меня похвалит. А то от вас дождешься... Ну?

— Понравилось еще, как вы… то есть, ты смело разговаривал с известными писателями…

— А, с этими? Что в фойе стоят? — Ведрич сделал вид, что задумался, даже прикрыл ладонью глаза, и затем, явно подстраиваясь под язык Трухана, заговорил тоже нарочито серьезно: — Похоже, правда ваша. Наверно, обиделись. А вы их знаете?

— Конечно! На выпускных сочинение писал по творчеству...

— А я вот ни слова не читал из написанного ими. Но не одобряю. Сразу могу сказать, что это слабо.

Пораженный, Трухан заволновался вдруг, даже сказать что-то хотел… Но не сказал. И все молчали, застыли, будто в ожидании финала остроумного анекдота.

— Слабо, потому что знаю, что открою любую книгу — и в сотый раз прочитаю, как в Замостье, на опушке Островерхой Пущи возле Никитиного колодца, где Денисова полянка, дуб, вековечный, раскидистый, разлапистый, коренастый и тэ-дэ и до бесконечного тэ-пэ, раскинулся красиво и высоко, и широко и далеко, а Иванка помнит еще то время, когда отец сажал его на пахучий воз сена, и он плыл под дубом, и нижние корявые ветви цеплялись

[1] А той першы
Ён ня піша вершы...

за сено и сбивали с малого шапку... Пародия, — пояснил Ведрич. — А ты, наверное, подумал, что это начало какого-то эпического их полотна?

Ничего Трухан не подумал. Наоборот, у него появилось сладостное ощущение, что Ведрич озвучивает и его мысли… Вот только то, что ему, Трухану, наедине с собой казалось смелым, крамольным открытием, было, оказывается, этими людьми давным-давно открыто, разобрано по полочкам, осмеяно до уровня пародий.

— Это их проза, — не унимался Ведрич. — А вот поэзия: «Спасибо Ленину за то, что мне родной язык он дал». Получается, Ленин изобрел белорусскую мову? Выходит, он был первым белорусским националистом? Так? У тебя спрашиваю.

— Не знаю...

— Зато я знаю. Ни одного произведения в стол, ни одного настоящего диссидента не дали несколько поколений!

— Ну ты тоже, — сказал белобрысый. — Мало нам было в двадцатые-тридцатые? Ты что, предлагаешь…

— Да. Именно это и предлагаю. Написать сознательно произведение, за которое как минимум светила бы тюрьма. А как максимум — расстрел.

Белобрысый не нашелся что ответить.

Гул в фойе затихал. Чернявый вытянул руку с часами на свет, поглядел:

— Ого! — и быстро пошел с балкона, а за ним остальные.

4

Вторая после перерыва часть была недолгой и менее интересной. Маститые писатели досидели до самого конца. Они уже не перемигивались и не перешептывались. Продолжались выступления, читали стихи и прозу, только теперь, после Ведрича, все это воспринималось как-то по-другому, казалось каким-то пресным, недосоленным.

Закончили, обсудили время следующей встречи (тут молчаливый человек достал из кармана записную книжку и что-то пометил в ней), кое-кто остался в зале, а большинство посыпалось вниз — занимать очередь в гардероб.

— Так я вас жду, — не спросил, а констатировал Ведрич, подходя в своем кожухе к Нелли, Терешкову и Трухану, которые стояли в очереди последними. — Куда вы потом?

— Ко мне, — ответила Нелли. — Тут недалеко. Пойдем с нами, если хочешь. Правда, я одна сегодня, мои уехали, холодильник пустой, угощать нечем...

— А я сам хотел напроситься, — обрадовался Ведрич. — Только, Нелли, одно условие — стихов своих не читать, ладно? Слабенькие у тебя стишки. — И сразу же деловито: — Трухана тоже берем, он смешной.

— Как хочешь, — сказала Нелли. А Трухан промолчал, лишь с благодарностью взглянул на Ведрича.

Подошла очередь, получили: Нелли свое коротенькое, до колен, сиреневого цвета пальтишко, из-под которого ее хорошенькие ножки были видны так же, как из-под платьица, Трухан с Терешковым — куртки. Отошли, одеваясь на ходу, к огромным, во всю стену, зеркалам.

Они вчетвером одновременно подошли к зеркалам, и как-то так стали и в один и тот же миг взглянули на свои отражения, словно разместились для групповой фотографии…

И вдруг Трухан побледнел и застыл с курткой, надетой на одну руку…

У него уже давно — от самого перерыва, когда он курил на балконе, звенело в ушах и слегка кружилась голова, и, как часто бывало в чужом шумном месте, среди множества незнакомых лиц, начинали происходить эти корот-

кие затмения — провалы памяти, знакомые каждому — «все это уже было или снилось мне», с той разницей, что для него эта в принципе безобидная путаница времени являлась сигналом тревоги, серьезным напоминанием, что забываться нельзя: вот она я, никуда не делась, всегда рядом…

И почему это именно сейчас?!

Ни с того ни с сего стал отдаляться, становиться ватным в ушах гул людей за спиной, потом стихло все, и Трухан оглох. Люди в зеркалах растаяли, кроме их четверых, и стены, и потолок, и видимая часть вешалок также растаяла. Исчезло все, а в зеркале перед ними четверыми появилось некое грязно-матового цвета полотно, как экран, как фон на черно-белых фотографиях; однако и фон этот был неоднородным, а менялся на глазах — на нем проступали и делались все более выразительными как бы декорации какого-то сельского двора, неприбранного, словно нежилого, сплошь поросшего почерневшей осенней травой... Потрескавшаяся, побитая смоляными сучками, источенная шашелем стена низкой хатки с приплюснутыми окнами, со сложенными кое-как поленьями под стеной... Дальше — соломенная крыша пуни, возле которой стоит запряженный в телегу конь, а Ведрич кормит его пучком сена… С длинными волосами, с бородкой, в линялой грязной гимнастерке и в галифе с нашитыми наколенниками и заплатами на заднице, Терешков наклонился и, придерживая одной рукой кобуру, висящую на боку, другой поправляет на ногах обмотки… У стены на краю толстого бревна примостилась Нелли, обвязанная по глаза белым платком, похожая на сестру милосердия, в сером андараке, в лаптиках, с ребенком на руках, запеленатым в лохмотья, перевязанным, как гусеница… Рядом сидит он сам, Трухан, в старой поддевке и в больших разбитых сапогах, с тупо-довольной ухмылкой на широком крестьянском лице. Он щелкает над грудничком пальцами — забавляет…

Трухан пришел в себя. Все это было мгновенным эпизодом какого-то немого черно-белого кинофильма, фрагментом одного из тех удивительных, странных снов, которые в последнее время начали сниться ему так часто, а вот уже и наяву пошли…

Трухан вздрогнул.

— Ты что? — Ведрич стоял перед ним, в упор его разглядывая.

Вернулся гул, вернулись люди, вернулись знакомые очертания стен и вешалок, отраженных в зеркале. Снова был прежний Ведрич — в новом тулупе, в джинсах и тупоносых ботинках. На выступ под зеркалом присела Нелли, бесстыдно подтягивая колготки. Боком к зеркалу стоял Терешков.

Никто, кроме Ведрича, не обращал на Трухана внимания.

— Ничего, это случается, — вытирая со лба предательский пот, чувствуя, что он проступает по всему телу, виновато пробормотал Трухан. — Бывает со мной, — прибавил он, приходя в себя. — Просто показалось.

— И часто?

— Так… Иногда.

— Хорошо. Тогда пошли, — загадочно как-то сказал Ведрич; прозвучало как — пошли разбираться.

На улице — побелевшей, красивой и светлой от фонарей, все как по команде остановились и сразу глубоко вдохнули морозный воздух, насыщенный запахом первого в этом году снега. Ведрич натянул на голову свою рябую шапку с опущенными ушами, потопал по снегу подошвами грубых тупоносых ботинок. Все шло ему: и этот длинный тулуп, хоть никто еще в тулупах не ходил, и зимняя шапка, хоть никто еще зимних шапок не надевал, и эти ботинки, такие тяжелые, как литые, но видно было, что они ему по ноге и не боятся ни мороза, ни снега, ни грязи.

— На чем ехать? — спросил Ведрич, притопывая. Притопывал он не от мороза, а от того нетерпения, с которым перебирает ногами молодой застоявшийся конь в предчувствии новой, неизведанной дороги.

— Какое ехать, тут пройти два шага, — сказала Нелли. — На Берестянскую.

— Что ж, будет еще одна своя хата в центре!

Пошли — впереди Нелли под руку с Терешковым, Ведрич с Труханом сзади.

— Так что с тобою было? Почему так побелел?

— Показалось… — неохотно ответил Трухан, чувствуя, что с таким, как Ведрич, поменять тему будет непросто. К тому же он был обязан Ведричу — тот с собой пригласил, поэтому нужно отвечать.

— Ты больной?

Трухан кивнул, но Ведричу хотелось услышать.

— Я не вижу. Больной?

— Да.

— Что, пьяный немец ехал на корове и напугал?

Смеясь, галдя, их обогнала кучка молодежи.

— Вот дожил, — сказал, глядя вслед, Ведрич. — Было время, когда по пальцам мог пересчитать всех, кто в Белоруссии говорит по-белорусски. А теперь дожил — никого не знаю! Хорошо. Что болит?

— Легче сказать, что не болит…

— И голова?

— И голова…

— Как у циркача?

— Не понял.

— Ну, циркач зарабатывал деньги тем, что разбивал кирпичи о голову. За каждый кирпич платили рубль. Ему советуют: «Ты же можешь еще больше разбивать кирпичей, тогда и денег будет больше»! — «Могу, — отвечает, — только голова сильно болит». Так и у тебя. Не обиделся?

— Нет, нисколько, — честно ответил Трухан. И в самом деле, эти цинизм не цинизм, хамство не хамство, а — резкость, что ли, или даже жестокость Ведрича не только почему-то не обижали, а наоборот — уместными казались, оправданными, как бывает оправданной жестокость врачей или милиционеров. Наоборот, сочувственные охи да слащавые ахи, которых наслушался Трухан за свою короткую жизнь и знал им цену, были бы циничными и оскорбительными.

— Ну, а отец с матерью знают, что у них сын такой? Что говорят?

— Ничего. Их нет у меня, — неосторожно признался Трухан.

— Так я и знал! — воскликнул Ведрич. — Да что же мне так везет на этих убогих, сирот, на разных униженных и оскорбленных! На тебе, бедный Ведрич, что Богу негоже! Когда я уже нормального человека встречу!

— Я не напрашивался, могу уйти.

— Да погоди ты… Ну, извини. Больше не буду. Еще и гордость показывает! Дай мне обвыкнуться хоть немного. Ты же меня каждой новостью как поленом по голове глушишь… Ну, хорошо. Семью я тебе заменю, костюм новый купим…

Ведрич вдруг остановился и полез в карман.

— На тебе денег.

— Да перестань ты… Люди оборачиваются.

— Как хочешь. Ну, ничего… Главное, что не пишешь. (Трухан похолодел.) Если бы ко всему еще и бумагу марал!.. А, подожди, — ты же куришь?

— Мало…

— Все равно — научился же как-то. А водку пьешь?

— Какую водку…

— Научишься, — серьезно пообещал Ведрич. — И вылечим, и всему научим!

5

Миновали «Кнігарню», кинотеатр «Мир», перешли трамвайные пути и направились куда-то во дворы.

Нелли жила в старом «сталинском» доме. Дверь подъезда была закрыта на кодовый замок. По широкой черной лестнице поднялись на четвертый этаж, и когда вошли в прихожую, Ведрич ахнул — не от роскоши, а от размеров.

— Ну, Нелли! Тут на велосипеде можно ездить! Слушай, может, мне жениться на тебе? Такая хата! Хорошая хата.

Огромный коридор, высокий потолок, зеркала на всю стену (вроде тех, в Доме литератора), на полу — цветастый ковер, над зеркалами — светильники, имитирующие свечи...

— Хорошая хата, — все повторял, раздеваясь, Ведрич. — По блату, по блату, спалили немцы хату...

Он не договорил, потому что внезапно приоткрылась боковая дверь, и из темной комнаты вышел приземистый белый бультерьер. Уставившись на гостей круглыми свинячьими глазками, застыл в бойцовской стойке и зарычал. Вместо морды у него был, как и положено этой породе, один длинный горбатый нос.

— Фу! — крикнула Нелли, подошла и погладила собаку. — Не бойтесь, она не кусается, просто щенок у нее теперь.

И правда, следом из комнаты выгреблось и, цепляясь лапами за ворсистый ковер, подползло к бультерьеру такое же беленькое, только в разы меньшее существо, с таким же длинным горбатым носом. Мать осторожно взяла свое дитя зубами за шкирку и понесла назад.

Ведрич, не видя вешалки, крутился с тулупом в руке.

— Дай сюда…

Дверцы гардероба были, оказывается, прямо в стене и раскрывались, как в электричке, в стороны. Терешков раздвинул их, повесил тулуп, свою и Трухана куртки аккуратно на плечики; затем снял ботинки и сунул ноги в тапочки.

— Ты, я смотрю, неплохо здесь ориентируешься, — заметил Ведрич.

— А ты достал своими немцами, — огрызнулся Терешков. — Сколько можно? А ты чего стоишь? — напустился вдруг на Трухана. — Разувайся, проходи! Уже не смешно даже, — снова Ведричу. — У нас… не у нас, правда, а в соседней деревне, немцы в войну несколько хат спалили: что в этом смешного?

— Да? Чего же ты раньше молчал? Чудак. Такое событие, а он молчит. В таком случае, конечно, — признаю свою ошибку…

— Долго вы там топтаться будете? — Нелли выглянула из кухни. — Проводи их, покажи. Только к Соне лучше не подходите…

— К кому? — удивился Ведрич. — Ну, уже совсем, балдеете, как только можно. Сучку человечьим именем назвали…

— Вот туалет, — показывал на двери Терешков, — там ванная…

В туалете была даже полочка с книгами. Ведрич вытащил одну, с обнаженной женщиной на обложке, полистал, поставил назад. Заглянули в ванную. Ведрич открыл один флакон дезодоранта, понюхал, второй, третий; только запах четвертого ему понравился, и он попшикал себе под мышки.

— Пользуйся, — протянул флакон Трухану.

— Да перестань ты!..

— Кстати, про туалет анекдот. Знаешь, как немцы советских разведчиков вычисляли? Русский первым делом, оттуда выходя, проверяет ширинку.

Пошли на кухню, такую же большую, просторную, как и коридор, как и все остальные помещения. Несмотря на то, что мебели здесь было, возможно, и чересчур. Диван, журнальный столик с креслами, в другом углу еще диван — кожаный. Холодильник, морозильник, на холодильнике маленький телевизор, на полке, прикрепленной к потолку цепями, — телевизор большой…

Центр кухни занимал круглый стол. На нем ничегошеньки еще не стояло, хотя Нелли давно уже хлопотала на кухне, как та «Ганна у печки».

Ведрич бросил взгляд на пустой стол и, конечно, без разрешения, с Терешкова беря пример, направился к холодильнику.

— Да пусто там! — смутилась Нелли.

«Пусто» оказалось куском сыра, бруском сала, банкой шпрот, десятком яиц в целлофановом пакете. Все это Ведрич выложил на стол, кроме того, вытащил кастрюлю, ухватив одной рукой за ушко.

— А здесь что? — снял крышку, понюхал. — Суп?

— Был когда-то. Дай, я вылью…

— Я тебе вылью. Терешков, на плиту его!

Терешков зажег газ.

— Ну, Нелли! — сказал Ведрич. — Это называется нечем угощать? Называется пустой холодильник? Бить вас, молодых, некому… Где у нас сковорода?

Нелли задумчиво посмотрела в потолок. Потом вспомнила:

— В духовке, кажется, — и достала из духовки сковороду.

— Побольше, побольше. Чтобы весь десяток влез.

— Ты сам будешь жарить? — удивилась Нелли.

— Доченька моя, я спец на все руки. Когда поженимся, сама увидишь.

Кромсая на сковороду сало и кроша лук, Ведрич продолжал поучать нынешних молодых:

— Сало, яйца, суп для них уже не еда. А икры не хотели?

— Икры как раз и нет, — виновато сказала наивная Нелли.

— Кабачковой, девушка, кабачковой! Которой изо дня в день давишься… Вон, Трухан знает, правда? Намажешь пальцем на хлеб…

— Готово, — Терешков снял с плиты кастрюлю. Хотел перекрыть газ, но Ведрич прикрикнул:

— Куда? А жарить на чем? И что вас всему учить надо, откуда у вас только руки растут. Нелли, давай тарелки, разливай…

— Я не буду его есть.

— Я тем более, — сказал Терешков. — Отравиться еще не хватало.

— А мы будем. Правда, Трухан? Нам хоть жареные гвозди.

Наверное, потому, что Трухан не отвечал, лишь усмехался робко, Ведрич уже полностью зачислил его в союзники. Шипела и скворчала на плите сковорода.

— Сколько здесь помещается? — спросил Ведрич, кладя деревянную подставочку на стол так, чтобы всем удобно было дотягиваться. — За этим столом? Человек десять?

— Ровно тринадцать, — ответила Нелли. — Чертова дюжина… Подожди, ты что, со сковороды собрался есть?

— А как еще яичницу едят? Только так.

— Это же тефлон!

— Знает он, что это такое, — сказал Терешков.

— Понапридумываете, — пробормотал Ведрич, скрывая смущение. В самом деле, было видно: он вряд ли знал, что тефлон не должен соприкасаться с металлом. — Я как лучше хотел… Чтобы тебе потом меньше мыть пришлось,

ручки такие хорошенькие портить, — прибавил, подхалимским комплиментом заглаживая промах. — Попривыкали вы к этим блюдечкам, тарелочкам… Нам бы с Труханом попроще, по-деревенски, по-белорусски… Правда, Алесь?

Нелли разлила суп по тарелкам, поставила перед Ведричем и Труханом. Ведрич облизал ложку и принюхался к пару. Скривился:

— Нет, в самом деле — отдает чем-то… Идем, Трухан. Выльем!

— Это говорит человек, который собирался есть жареные гвозди?

Наконец все было готово. Нарезаны сыр и сало, открыта банка шпрот, поджарена яичница. Ведричу с Труханом как гостям досталось по три яйца, Нелли с Терешковым — по два. Ведрич очистил луковицу, положил кусочек сала на хлеб и все ждал чего-то. Нелли вышла, но вскоре вернулась с четырехгранной бутылкой в одной руке и с рюмками в другой.

— Ну, Нелли! — умилился, расплылся в улыбке Ведрич. — Батька не будет ругаться? Стоп: а это что?

В бутылке, в синеватой жидкости вертикально плавала ящерица. Самая настоящая, с хвостом, с коготками на лапках.

— Да обычный спирт! — засмеялась Нелли. — Папа из Китая привез.

— А ящерица зачем? Для закуски? — серьезно допытывался Ведрич. После конфуза с тефлоновой сковородой, наверное, если бы Нелли подтвердила, он бы поверил, что закуска.

— Для красоты. Пей смело, не суп, не отравишься.

— Мне не нужно, — прикрыл свою рюмку ладонью, когда Ведрич потянулся к нему с бутылкой, Терешков.

— Мне тоже, — сказал Трухан.

— А мне немножко… Чтобы не думал, что отрава.

Наливая Нелли, Ведрич спросил:

— Кем твой отец работает, я все забываю? Доктором?

— Онкологом, заведующим отделением.

— Пускай бы нашего Трухана полечил… Шучу! А он уже темнеет, как туча. Обидчивые все, как не знаю кто! Одна Нелли тут человек.

— Скажи тост, — попросила Нелли. — Не каждый вечер у меня такие поэты бывают.

— Я тебя очень люблю и уважаю, — сказал Ведрич, — и это уже серьезно. Ты такая красивенькая, добрая, мало того, что по-белорусски умеешь, так еще и талантливая. И стихи твои — чудо.

Нелли покраснела, Терешков хмыкнул, а Трухану вспомнилось: «Только стишки свои, Нелли, не вздумай читать, никудышные твои стишки…»

— А вы меньше меня слушайте, — посоветовал Ведрич, угадав его мысли. — Нет — слушать, конечно, слушайте, но поступайте по-своему. Слова вообще мало что значат в этой жизни… Ну, за Нелли.

Влил в себя спирт, содрогнулся — заняло дыхание. Но сдержался, не закашлялся. Руку Нелли, которая подавала стакан с водой запить, отвел. Захрустел луковицей. Трухан исподтишка наблюдал за ним. Закусив луком, Ведрич принялся за яичницу: только желток подцепил, а белок обрезал вилкой и сдвинул на край тарелки.

— Не люблю, — пояснил, заметив взгляд Терешкова. — Не будь Нелли, сказал бы я, что они мне напоминают…

Терешков не пил и ел мало — сидел задумчивый, на себя не похожий, то ли настраиваясь таким образом на близкий и, скорее всего, вряд ли приятный разговор с Нелли, то ли оттого, что ревность зашевелилась, потому что не на него, а на Ведрича все внимание, а может, оттого, что вот так, на глазах, сближаются Ведрич с Труханом, первый раз в жизни друг друга видя, а ведь это он, Терешков, их познакомил...

— Так что, слова ничего не значат? — вдруг вернулся он к тосту Ведрича. — А твои стихи? Тогда и твои стихи тоже?

— Терешков, что ты из меня дурня делаешь. Ты отлично знаешь, о чем я. Происходит колоссальная девальвация слов, причем, знаковых, самых дорогих… Которые от частого и тупого повторения изнашиваются до состояния половой тряпки, а мы все эксплуатируем их, все вытираем о них ноги, а в результате теряем даже тех единичных читателей, что у нас еще остались.

— А-а, так ты в литературном смысле?

— Я во всех смыслах. Если тебе в самом деле больно, не станешь же ты горланить во всю ивановскую: ах, какая боль, как сильно болит! — а у нас так и делается. Можно сказать — по блату спалили немцы хату, и ночами не спать, потому что сердце кровью обливается за ту хату несчастную, а можно — извини, Нелли, — трындеть: люди, берегите мир во всем мире, умоляю вас, заклинаю! Черта с два сберегут, поверь. Слово нужно любить, лелеять, беречь — как воду в пустыне, не обижать, потому что обиды оно не прощает…

— Скажи это нашим белорусам, — иронично произнес Терешков.

— Вот как раз простые белорусы здесь ни при чем. Если хочешь знать, язык губит совсем не народ, который якобы не желает на нем разговаривать, даже не чиновники, а эти всех мастей трубадуры с писательскими билетами в карманах, для которых литература — скорее арифметика, подсчет, чем искусство; чем чаще повторять, как шаман заклинание, «Беларусь», «белорусы» и тэ-дэ — тем лучше, тем, по их мнению, больше патриотизма, чем чаще «хам — Храм — Бог» — тем больше христианства, чем больше всей этой «щемяще-мечтающе-неумолкаемо-неутихаемой» красивости, тем больше, как они считают, лирики!

6

Ящерица уже не плавала в бутылке вертикально, а лежала под углом. Нелли то и дело поглядывала на часы. Ведрич поднялся.

— Ну что, — сказал, зевая, — во Франции есть хороший обычай: посидеть немного, спирта выпить, яичницей с луком закусить — и по домам.

Ничего Нелли не ответила на это. Значит, и в самом деле нужно было прощаться. Натягивая тулуп в прихожей, Ведрич бурчал как бы сам себе под нос, но так, чтобы слышал Терешков, который стоял рядом и не одевался, конечно:

— Везет некоторым… И жены, и дети, и любовницы… Все одному! А нам куда с Труханом? На мороз, на ветер?..

Терешков делал вид, что не слышит… Как только закрылась за ними дверь, с какой завистью он посмотрел им вслед! С какой радостью он пошел, побежал, рванул бы сейчас вместе с ними!

Но нельзя. Нужно доигрывать роль до конца. А как ты хотел? — ничего просто так, даром не дается, за все нужно платить… Захотелось свежей незнакомой девочки? — пожалуйста, вон она ждет, иди… И молись Богу, чтобы и с ней все окончилось так, как с другими — без особых осложнений, потому что «не особые» будут обязательно, хочешь того или нет. Везло ему до сих пор, надо признать, оберегал своим крылом ангел-хранитель, без шантажа, тем более — тьфу-тьфу-тьфу — без рук на себя наложения обходилось; может, потому, что и он, Терешков, осторожно и правильно себя вел, всегда был, или, по крайней мере, старался быть честным перед очередной пассией, до дешевого вранья не опускался, сразу предупреждал, что женат и разводиться не собирается…

Он всегда играл только пассивную роль — не он искал, а его находили, ему на шею вешались вчерашние школьницы, и сами инициировали поэтапно все необходимые ступеньки — вплоть до самой верхней, «постельной», и при

том еще убеждали, что никаких претензий к нему нет и быть не может, ничто нас потом не свяжет…

Вот знаешь, что нельзя этого делать, а делаешь, попадаешься и всякий раз думаешь: вот она не такая, с этой уже будет иначе, легче, проще… Ничего подобного! Те же разборки в финале, те же слезы, да упреки, да неизменное «сама виновата»… Словно передают они друг дружке все тот же зачитанный сценарий, где не только реплики одинаковые, но и набранные курсивом и заключенные в скобки авторские пояснения — как в том или ином случае себя вести, каким тоном произносить текст…

Терешков поплелся на кухню. Нелли сидела сгорбившись, положив руки на колени. Все это было Терешкову знакомо.

— Вот подружились, — весело начал он с притворным преувеличенным удивлением: можно подумать, неожиданное сближение Ведрича с Труханом более всего его сейчас интересует.

— А ты ревнуешь? — спросила Нелли.

— Не выдумывай. Если Трухана, то просто жалею…

— Вот как? А меня ты не жалеешь?

— В смысле? Разве что-нибудь случилось? — осторожно спросил он, отлично понимая, что может случиться, и еще лучше зная, что этого не случилось, а идет банальная, обычная в таких случая проверка, разведка боем…

— Случилось! — передразнила она. — Этого только не хватало. Может, мне к жене твоей съездить? Рассказать ей все? — Она мстительно прищурилась, а ему от этой смешной наивности… Бывает же! — эта до мистики необъяснимая ассоциативность слова и образа! Посади человека в камеру-одиночку, прикажи — под страхом смертной казни или под обещание сказочного вознаграждения — вспомнить какой-нибудь далекий во времени эпизод, например, зимний вечер 17 января такого-то года, когда он учился в седьмом классе, и даже разложи перед ним тогдашние его вещи: дневник с расписанием уроков, учебник по географии, тетради с диктантами… Не знаю, очень и очень маленькая вероятность, что из этого что-нибудь получится. А бывает — это ниоткуда, из ничего возникшее совпадение «обстоятельств, времени и места действия»: едешь летним жарким днем в троллейбусе, думаешь о всякой ерунде, лениво ловишь обрывки чужих разговоров… и вот оно! Самые невинные, нейтральные слова твоего соседа слева — «тогда я ему звоню…» — вдруг вспыхивают в тебе магнием, взрываются эмоциями, ослепляют фейерверком воспоминаний, и хоть за окном городское лето, а на тебе тенниска и шорты, у тебя пробегают по спине мурашки от холода, как и тогда, в нетопленой хате, когда вечером, сделав уроки, ты ждал мать с работы, смотрел «Соломенную шляпку» по телевизору, о ногу терся желтый кот (которых столько сменилось с того времени!), на полу желтела шелуха тыквенных семечек, на спинке стула, хитро расправленные, висели брючки с разодранной на недавнем хоккее штаниной; и не только вечер, а весь «семиклассный» день — до мельчайших деталей, до всех перемен-перепадов тогдашнего настроения пронесется перед глазами и в памяти за долю секунды!..

Что-то такое произошло с Терешковым и теперь, после угрозы Нелли к его жене съездить. Совсем не сцена разборок любовницы с женой возникла вдруг перед его глазами, а — осеннее позднее солнце, горбатое, разрезанное бесконечными рядами с высохшей ботвой картофельное поле; казалось, почувствовал он неприятную сухость грязных пальцев, боль в спине, тяжесть полных корзин; услышал, как ссыпается в пустой еще прицеп трактора картошка… А главное — склоненная фигура девчонки в бело-зеленом, как символ прошедшего лета, спортивном костюме. Мимолетная встреча глаз, обмен улыбками, парой слов, случайное касание рук — все эти вроде бы пустые,

ничего не значащие, обычные детали, а на самом деле — сложная, с многослойным подтекстом прелюдия флирта, целая наука, будоражащая до хмеля в голове, до адреналина в крови, — для тех, кто понимает и разбирается в этом, конечно. А Терешков как раз и понимал, и разбирался. Ничего в такой науке не бывает лишнего, каждая микроскопическая мелочь играет свою важную роль, каждая деталь имеет свой значительный смысл, и в результате все работает на одну цель — на сближение. Здесь и «единство места», и тихая, милая природа возвращенного среди осени «бабьего» лета, и отсутствие контроля: в случае с Нелли — родителей, у него — жены; здесь и (медалями на груди демобилизованного солдата) тот факт, что Терешков после армии, женатый, у него маленький ребенок… Все это окутывало их с Нелли отношения легкой дымкой крамолы, даже таинственностью, необходимой для сближения… Это позже, в зимнем Минске, поблекнет, забудется очарование того деревенского тихого сентября, выцветут в памяти его пастельные краски, пока не превратится все в обычный «студенческо-картофельный» роман, «романчик», каких каждую осень сотни; которые для одних — «истории любви», а для других — «истории болезни»…

Но тогда, когда дни являлись всего лишь предвестниками вечеров, когда сентябрьские запахи были такими острыми, звезды на небе такими крупными, тени от белого месяца такими черными и длинными; когда они сидели, прижавшись друг к дружке, на скамейке и вчерашняя школьница, непривычная к деревенскому труду, запущенные ручки которой он держал в своих, доверчиво шептала, что «меня же отец легко мог бы отмазать от этой картошки, но я знала, чувствовала — что-то должно случиться, мы встретимся!..».

Терешков вздохнул. Ну да. Хорошо было тогда. И совсем не думалось, что придет день или, вот как теперь, вечер, когда не будешь знать, как от этих ручек избавиться.

— Съездить к твоей жене?

— Нелли, — сказал он и взял ее ладонь в свою. Нелли вспыхнула от радости, с благодарностью на него взглянула, но в этот момент пальцы ее нащупали кольцо, и она отдернула руку.

— Помнишь первый курс? — ничего не замечая (на самом деле он, конечно, замечал все), рассказывал Терешков. — Когда я с негром жил в одной комнате — помнишь его? Злобный такой негр, Нигуси звали, вечно хмурый, я еще побаивался его… Читаю газету, он подойдет тихонько сзади и через мое плечо тоже всматривается… Потом его переселили. А однажды в коридоре встретились, я говорю — машинально по-белорусски: «Как жизнь?» Он ворочает белками глаз, как наш Ведрич, и тоже на чистом белорусском языке, безо всякого акцента отвечает: «Это мне знакомо». Представляешь?! Оказывается, он, как попугай, заучивал наизусть названия газетных заголовков!

— Это все? — спросила Нелли.

— Все. Представляешь, злобный белорусскоязычный негр.

Она внимательно на него посмотрела…

— Нет. На тебя и в самом деле нельзя обижаться, — сказала она со вздохом.

7

Когда Ведрич с Труханом вышли на улицу, там зима хозяйничала уже вовсю. Снег, мороз, ветер… Пусто, одиноко… Лишь желтый свет чужих окон да синий — фонарей. Ведрич отвернулся от ветра, чтобы прикурить.

— Куда ты теперь? — спросил Трухан, втягивая в воротник шею, а руки пряча в рукава.

— Что значит куда? К тебе, конечно. Ты что, думал, я тебя так просто отпущу? Такое знакомство нужно и закончить как заведено, по-людски. Или ты против?

— Наоборот! Если хочешь — поехали. Вот только… — он замялся.

— Вахтерша? — помог Ведрич. — Так я с ними умею разговаривать.

— Не вахтерша, просто… А спать на чем? Тебе, я имею в виду.

— А кто сказал спать? Спать мы не будем.

— И вообще… я же не один в комнате… А он, ну, сосед то есть, тоже может быть не один…

— С девкой?

— Ну.

— Тем более, — сказал Ведрич. — Не будем мешать людям, найдем местечко, хоть набазаримся вволю.

Он вовсе не был похож на пьяного… Еще бы! — с завистью отметил Трухан, — что ему три рюмки? — как слону дробина.

— И еще — у меня же не как у Нелли. Угощать нечем…

— Слушай, что ты все отговорки ищешь? От чего страхуешься? Может, может. Может, авария в *метре* будет.

Трухан вздохнул. На «метре» проехали две остановки. За все время Ведрич не произнес ни слова. И только когда подходили к общежитию, на крыльце уже, спросил: «Так пустят?» — и вытащил из кармана какую-то красивую красную книжечку. Однако документ не понадобился. Вахтерша, которая обычно держала оборону между двух столов-баррикад, спокойно смотрела телевизор, сидя в уголке на диване, и на поздних гостей даже не взглянула.

— Европа! — сказал удивленный Ведрич. — Первый раз такое вижу. Иди кто хочет, бери что надо.

Дверь в комнату Трухан открыл ключом и сделал Ведричу знак, чтобы тот вел себя тише. Зашли в комнату. Трухан включил свет — не общий, а маленький ночничок над своей кроватью. Ведрич осмотрелся. Комната напоминала что-то среднее между больничной палатой и тюремной камерой. Была она рассчитана на двоих. Две кровати стояли вдоль стен. Две тумбочки. Придвинутый к подоконнику стол, два стула. Шкаф на две створки. Ведрич сел на кровать, которая прогнулась под ним, чуть не коснувшись пола, и заскрипела.

— Как ты тут спишь? Ну и дубар!

— Т-с-с! Так и сплю… Под двумя одеялами. Сверху оно ничего, нормально, только снизу, сквозь матрас продувает.

В этот момент зашевелился кто-то на соседней кровати. Ведрич посмотрел: голова на подушке была одна, а ног из-под одеяла торчало… четыре. Одна нога почесала другую. Трухан жестами попросил Ведрича подняться, осторожно стащил с кровати покрывало и, сложив вдвое, прикрыл все четыре ноги. «Идем на кухню, — прошептал, — там все есть!»

Кухня находилась дверь в дверь с комнатой. Но если в комнате гулял сквозняк, то здесь было тепло, даже душно.

— Плиту выключить забыли, — Ведрич пощелкал переключателем.

— Не старайся, испорченная.

— Сгорите вы так когда-нибудь!

Через трещину в оконном стекле намело снега на подоконник. Трухан смахнул его ладонью на пол. Ведрич сосредоточенно, как и комнату, осматривал эту кухню, словно сравнивая ее с кухней Нелли. Явно не в пользу Трухана было сравнение. Кроме испорченной плиты было еще два стола, обитых оцинкованной жестью, у стены — три мойки-раковины, из которых две не работали — колена-трубы снизу откручены и лужицы на полу под ними…

В углу стояла тумбочка с перекошенными дверцами. Ведрич открыл одну, едва успев придержать в последний момент, чтобы не отвалилась.

— Слушай, а тут вот: чай, и сахар, и стакан, — удивился он. — Вином воняет… Чье это?

— Ничье, общее.

— Завидую я вам, — сказал, поднимаясь со стаканом в руке, Ведрич. — И сквозняку, и ногам под одеялом, и коммунизму вашему кухонному… Золотые времена, Трухан. — И сразу же этот резкий (к которому, правда, Трухан начал привыкать уже) переход: — Нет, так не пойдет! Чаем голову не обманешь.

— Так нет ничего…

— Что значит нет? Нелли нашла — и ты найди.

— Где?

— Откуда я знаю? Купи, укради, отбери у кого-нибудь. У тебя гость! Человек первый раз твой порог переступил. Да я, когда ко мне…

— Постой, — Трухан наморщил лоб. — Может…

— Вот-вот, — помогал Ведрич. — Думай! На то и голова дана человеку, чтобы думать, где выпивку раздобыть.

— Ничего не обещаю, попробую…

Трухан ушел. Не было его довольно долго. Ведрич заварил чай, не в заварнике, а просто в стакане; стоя напротив окна, громко прихлебывал, курил, сморкался… На подоконник снова намело снега. Ведрич задумчиво наблюдал за хороводом снежинок: те кружились роем, мело их, ветром бросало во все стороны…

Вернулся Трухан. С пустыми руками, но возбужденный, даже радостный.

— В четыреста пятнадцатой, посоветовали! Если там не спят еще. И если есть там…

— Ты опять за свое? Может, да кабы, да если бы… Тебе страховым агентом надо работать.

Пошли вдвоем. По лестнице Ведрич поднимался быстро, а Трухан медленно, ни одной ступеньки не пропуская, — пока поднялся, Ведрич уже барабанил в дверь с номером «415». И раз, и еще, а на третий так, что штукатурка у косяка отлетела. За дверью послышались шаги.

— Вы что, совсем уже сдурели?! — спросил сонный девичий голос. — Вы знаете, который час?

— Выломаю дверь, — тихо пообещал Ведрич.

В ответ молчание. Ни звука. Трухан даже рад был этому.

— Вот видишь? Пошли!

— Стой.

Через минуту дверь приоткрылась и девичья рука просунула Ведричу бутылку. Тот уставился на этикетку.

— Чернило? И сколько?

Голос, помедлив, назвал сумму.

— Выгодней у таксистов брать. Хорошо, на деньги. И принеси еще четыре.

Снова подождали, снова все повторилось, только на этот раз голос у девушки подобрел:

— Это последняя. Правда.

А дверь не закрывалась, наверное, все же хотела девушка хоть одним глазом взглянуть, что за тип объявился в общежитии.

— Хочешь — идем с нами, — как старую знакомую позвал ее Ведрич.

Долгая пауза. Наконец послышался из-за двери почти уже ласковый и вместе с тем неуверенный голос:

— Не могу. Зачет завтра, нужно выспаться… Вы завтра приходите. Обязательно! Буду ждать!

8

— Чем же закусить тебе? — спросил Трухан, когда вернулись на кухню.

— Во-первых, не тебе, а нам, во-вторых, чернило никто не закусывает. А в-третьих, что у тебя за закуска? Яичница, как у Нелли? — Ведрич крепкими белыми зубами сорвал пластмассовую пробку с одной бутылки, со второй. — На, — протянул Трухану, — тяни.

— Да ты что?! Спасибо, конечно. И не хочу, а главное, не могу!

— Хочешь. Можешь. Потому что сейчас обижусь и уйду.

— Да говорю же — плохо будет!

— А не должно быть плохо. У нас не больница, не богадельня, больные нам не нужны. В нас никто не должен тыкать пальцем — мол, собрались убогие разные. Плохо ему… А мне хорошо? У меня, думаешь, голова не болит утром? Ты согласен, что и мне нелегко?

— Ну, согласен…

— А я пью! И ты пей.

Трухан хотел еще возразить, сказать, что врачи категорически запретили… А потом подумал — с отчаянной смелостью человека, которого зимой голым заставляют нырять в прорубь: «А, сколько той жизни!» — и приложился к бутылке. И сразу же понял, что стоило верить врачам, а не Ведричу. Закачался под ногами пол, потолок поехал в одну сторону, голова — в другую, и опять пот, и опять молотки в висках, и снова начали расплываться стены кухни, и Ведрич…

— Хватит, — отобрал бутылку заботливый Ведрич. — Живой? Или «скорую» вызывать?

— Дай лучше сигарету.

У Ведрича хватило ума не дать; сам он закурил.

— А теперь, когда мы одни, — сказал строго, важно, как следователь на допросе, — правду, Трухан, и только правду! Я хочу знать, кто ты. Что с тобой такое. Почему ты все время придуриваешься? Я же тебя насквозь вижу. Ты совсем не тот, за кого себя выдаешь.

— Да, — подтвердил Трухан. Ноздрями он жадно ловил чужой дым.

— Вот видишь. Я это сразу понял. Так слушаю. Кто ты на самом деле?

И Трухан, пьяный от вина, от непривычного собеседника, а больше от гордости, что вот выпил — и ничего не случилось с ним, впервые в жизни признался чужому человеку, что пишет.

— У тебя это на лбу отпечатано, — ничуть не удивившись, сказал Ведрич. — Прозу, конечно?

— Конечно… если можно назвать… по крайней мере, не в рифму…

— Убивал бы этих прозаиков! — сказал Ведрич, плюнул на пол и растер башмаком. — Веришь им, раскрываешься — а они, оказывается, очередную роль репетируют. В образ вживаются! Чтобы использовать потом в своих хреновеньких произведениях!

— Да я еще там, на балконе, хотел признаться… Просто — в чем? Я, честно, сам не знаю, что пишу. Сны, или фантазии, или реализм… Чепуха, короче!

Ведрич вдруг смягчился.

— Ладно, верю. Так и должно быть. Каждый писатель, если он в самом деле писатель, должен ломать, хотя бы стараться ломать эти жанры… Сны? Ну, пускай сны. Вся наша жизнь — один относительно длинный сон, а тем более творчество, это двойной сон, сон во сне… Но, — спохватился он, — тебя же еще проэкзаменовать нужно! Если ты такой умный, каким сам себя выставляешь…

— Да с чего ты взял?!

— …Если ты такой прозаик, тогда охарактеризуй нашу компанию: Нелли, меня, Терешкова… Или хотя бы меня одного — как литературный тип. Что я такое в чужих глазах? Только сразу, не думая, с чистого листа.

— Тебя?

Трухан задумался на миг. Вино — «чернильце» — возбуждало его с каждой минутой все больше и больше, оно, родимое, надиктовывало мысли и побуждало к действию. Он поймал себя на том, что в самом деле начинает понимать все вокруг: и Ведрича, и Нелли с Терешковым, и эту кухню, и бутылку в своей руке; не только понимать, но видеть между всем этим какую-то связь.

— По-моему, — сказал он, обходя Ведрича, как статую, и рассматривая его, как статую, — по-моему, ты прямой потомок всех этих Петефи, Калиновских, д'Арк, Костюшек, по-моему, ты — из когорты этих вечно неуемных, суетливых… шалопаев… которые есть в каждом народе, которые, если угадают родиться в нужное время, если оказываются востребованными своим народом — становятся национальными героями: освобождают родину от захватчиков, бросаются грудью на амбразуры, взрывают себя гранатами… иногда даже вместе с врагами, идут в партизаны, заводят врагов в болото…

— Кстати, — перебил Ведрич, который слушал с удовольствием, даже жмурился, как сытый кот, — знаешь оперу «Иван Сусанин»? Куда ты завел…

— Знаю. …Которым потом посвящают песни, легенды и баллады. Если же не повезло с эпохой, не угадали с рождением и время им досталось застойно-затхлое, как у нас теперь — вся эта энергия расходуется на ерунду, в лучшем случае, на *слова*, как ты сегодня на другой кухне абсолютно правильно заметил. Тогда такие, как ты, не знают, куда приткнуться. Они невостребованные, неудобные, все эти онегины, обдираловичи… С одной существенной разницей! У тех, классически лишних, было хоть что-то, за что они цеплялись: женщина, любовь к ней; у вас — таких, как ты, — нет даже этого, вы дальше пошли. Вас и любовь не спасает, уже и она кажется чем-то банальным, устаревшим, мелочью, не стоящей, чтобы на нее расходовали энергию и душу; это как силачу вместо многопудовой штанги подымать соломинку…

— Это правда, — подтвердил вдруг Ведрич. — У меня этих друзей так называемых как собак нерезаных. Любят меня! — по крайней мере говорят, что любят. А доведись умирать — думаешь, пожалеет кто-нибудь? Помню, болел раз, с кровати не мог подняться — хоть бы одна *пэ* за неделю порог переступила!

Услышав слово «болел», Трухан словно сжался. Глаза у него потухли.

— Все, — сказал он вяло.

— Как все?! А я только приготовился слушать. Хотя ты такую ахинею несешь, что уши вянут… Ну, так и быть, уговорил. Согласен почитать тебя.

— Ты что… подумал, я из-за этого?! Я не напрашивался! И не собираюсь никому показывать…

— Так соберись. Ну, давай. Я же знаю, ты мягкий, я тебя несколько раз уже уламывал сегодня.

— Только условие, — и правда, как-то быстро сдался Трухан. — При мне ты читаешь первый абзац! — И исчез. Ведрич не успел прикурить сигарету, как он уже вернулся с серой картонной папкой в руке.

— Вот, — похвалил Ведрич, — чтобы так следующий раз за «чернилом» бегал.

Аккуратным девичьим почерком сверху на папке было написано (Ведрич прочитал вслух): «Начато 10.10.1989; окончено…»

— А заглавие?

— Не знаю. Для меня заглавие — дело даже не десятое, а сотое. Может, просто — «Сквозь столетье зимы»?

— Календарь природы, что ли? — Ведрич раскрыл папку. — Ого, намахал. И как вам, прозаикам, не лень? Да меня бы под наганом никто не заставил не то что выдумать столько, а переписать механически. Эпиграф еще какой-то… «Именем Его Императорского Величества объявляю ревизию сему сумасшедшему дому», — Ведрич оторвался от рукописи. Взболтал бутылку с остатками вина. Допил. — Претензии у тебя, я скажу! Чему это ты объявляешь ревизию? Или кому?

— Читай!

— Тихо, тихо, не лезь. Ничего, мне нравится. Писатель должен быть с претензиями… Так… «Сегодня, в свою последнюю ночь в этой палате и в этом госпитале, Трухановичу не спалось…» Подожди, а что за Труханович? Ну, ты даешь! Если главный герой ты, так и пиши — я. Если нет — выдумай какую-нибудь фамилию, чтобы легко запоминалась…

— Хватит! — Трухан вырвал у него из рук папку. Он смотрел на Ведрича со страхом.

— Что случилось?

— Как ты читаешь?!

— А как нужно?

— Без интонации! Монотонно! Никаких логических пауз!

— Хорошо, хорошо… Дай папку. Ты, я вижу, слишком серьезно воспринимаешь. Это нужно читать в нормальной обстановке. С собой заберу, — а когда Трухан попытался отнять рукопись, спрятал руку с папкой за спину. — Да не бойся, я никому не скажу, что ты прозу пишешь!

— Бери, — Трухану и правда стало все равно. И очень захотелось спать.

— Проводи хоть до вахты, — сказал Ведрич, и пока спускались по темной, с устойчивым запахом тараканьей отравы лестнице, все бубнил: — Разочаровал ты меня, Трухан… Обидел, можно сказать. Я сдуру клюнул, обрадовался, поверил, что наконец человека нашел — настоящего, покладистого тюхтяя-белоруса… А ты такой же, как я, если не хитрее. Да еще и больной, да еще и сирота, да еще и прозу научился писать… Ужас!

Часть вторая

«Именем Его Императорского Величества…
…объявляю ревизию сему сумасшедшему дому!»

1

В ночь перед выпиской Трухановичу не спалось.

Он лежал на койке, сбросив на пол одеяло — все равно им больше не накрываться, и смотрел в потолок.

В палате было темно. И тепло, даже душно от натопленной до чада печки. И непривычно тихо. Не слышно даже поездов на близкой станции. На соседних койках спали мертвым сном еще двое таких же, как он, страдальцев, только, в отличие от него, легкого, который отбарабанил здесь свои два с половиной месяца и сегодня комиссуется, им еще лежать да лежать, мучиться да мучиться. От одного этого, от ощущения своего превосходства над ними, была на душе у Трухановича тихая радость. Они не могут подняться с койки — а он может. Им неизвестно сколько париться тут и, скорее всего, здесь же, в этом Богом забытом госпитале мучительно умирать, а ему — жить. Всего через несколько часов он увидит белесое сентябрьское небо, зеленый лес, синюю речку, серые хаты и новых людей (хотя как раз последних ему хотелось видеть меньше всего).

Не спалось. И не лежалось.

Он встал тихо, поднял с пола одеяло. Привычно ориентируясь в темноте, довольно быстро и ловко, одной левой (безжизненная правая рука была подвязана, он так и спал, не разгибая ее) заправил кровать. Нырнул в холодную гимнастерку и подался к окну, белея в темноте кальсонами.

Днем, когда светло, отсюда даже сквозь деревья госпитального садика отчетливо просматривалась железнодорожная станция. И когда проезжали поезда, стекла мелко и часто дребезжали, словно подпевая чугунным колесам, пол тоже дрожал, а вместе с ним и кровать. И если лечь и закрыть глаза, появлялось ощущение, что ты сам в вагоне, едешь куда-то далеко-далеко, а в открытое окно врывается пропахший паровозной гарью ветерок…

Хотя чего-чего, а гари в палате хватало. Напрасно окно старались открывать как можно реже: эту устойчивую угольно-паровозную вонь не перебивали даже больничные запахи: лекарств, йода, гноя, немытых человеческих тел, и никак невозможно было избавиться от него и выветрить — не помогали ни сквозняк, ни хлорка. На тумбочках, на столе, на стенах, если долго не прибирали в палате, можно было писать пальцем.

Сейчас за окном в темноте мутно светились огни станции. Донесся чуть слышный, двойными рамами приглушенный свист паровозика. Труханович прилег животом на широкий подоконник. Прилепился лбом к стеклу. Жесткая борода, отросшая за лето, шаркнула о стекло. Надо было бы побриться или хоть бы лицо водой ополоснуть, все же событие — выписка из госпиталя, выход на волю…

Побриться! Когда он уже привыкнет, где он и в каком времени находится! *Там* это просто: воткнул электробритву в розетку да побрился. Или ванну принял с экстрактом хвои и морской соли!

И дело даже не в этом. Можно, конечно, лишь бы захотел, попросить у нянечки кипятка, и мыло нашлось бы, и свечки огарок… Дело в том, что Труханович за два с половиной месяца опустился до неприличия. Причем, сознательно. Он давно единственной своей рукой махнул на такие штуки, как обязательное бритье, или ежедневная чистка зубов, или регулярное обрезание почерневших и твердых, как копыта, ногтей; занимался этим только тогда, когда доктор Портной делал замечание или когда совсем уж делать было нечего. Вся эта обязательная «гигиена» казалась ему лишней даже в *том* — будущем прошедшем времени, где были все условия, где люди носились со своим здоровьем как с писаной торбой.

Теперь же, в *этом* времени, да еще в его, Трухановича, положении, эта «гигиеническая»[1] суета лишней казалась и подавно, особенно по сравнению с главным. Не до бороды с ногтями, не до волос, когда голову… Потому что ни из какого госпиталя, если на то пошло, он теперь не выписывается! Нечего обманывать себя. И сравнение в его случае может быть разве что одно: с выпиской из роддома, где он пару месяцев назад появился на свет, успел за это время превратиться в двадцатилетнего мужчину Трухановича, повоевать, получить контузию, искалечить руку, потерять пальцы на ноге, перенести несколько операций по удалению осколков, отпустить бороду…

И вот, пожалуйста, — выписка! Такси только не хватает да матери, которая моложе своего два месяца назад рожденного чада, да счастливого отца, с букетом в руке и с отвисшей челюстью таращащегося на своего бородатого, неопрятного наследника, который выше его ростом!

---

[1] Труханович, конечно, не мог знать, что лет через 60 британский ученый Джон Стэнфорд откроет т. н. «микробактерию грязи», на основании которой создаст профилактическую при раковых заболеваниях «вакцину грязи». «Стерильное общество убивает своих граждан», — его утверждение. Если ему верить, вместе с грязью человек уничтожает целую армию полезных бактерий-помощников, чем ослабляет организм.

Он еще долго стоял у окна, нарочно не открывая форточку. Опасался сквозняком или шумом станции разбудить соседей. Стоял, пока во дворе не начало светать.

И когда обернулся, очертания невеселого его последнего пристанища выступили из недавней темноты. Палата, длинная и узкая, как лошадиная морда, с низким потолком, с четырьмя стенами, с тремя солдатскими (где я видел все это?!) койками… Труханович вернулся и присел на свою. То же самое: каждый прут был им здесь тысячи раз осмотрен и ощупан, знакома была каждая трещинка, щербина, выпуклость, каждая капелька засохшей краски на спинке.

Осторожно, чтобы не скрипнула койка, он повернулся и лег на бок. Однако предосторожность его была напрасной. За ним давно, оказывается, наблюдали.

— Не спится? — хрипло спросил Антонов. — Он подтянулся за спинку кровати и сел удобней, почти задницей на подушку. — Домой сегодня? Слышь, ты? — иначе, как «ты», он к Трухановичу не обращался, а за глаза именовал малахольным, контуженным, беспамятным или просто психом. — Ты! Слышишь?

— Доброе утро, — сказал Труханович.

И вдруг опять ему так радостно стало. Оттого, что слышит и видит все это в последний раз. Хоть бы и этого вот «товарища по несчастью», который просто допек его за целое почти лето своей тупостью, хамством, неумением терпеть, который просто задолбал то жалостным нытьем, то на всю палату стонами, то истерическим бабьим хохотом, то трусливым плачем (он очень боялся смерти), а чаще ругательствами, сложными, грязными, с неизменным упоминанием и Бога, и «духа святого» и всех двенадцати апостолов.

— Дуракам рай, — вздыхая, говорил сейчас Антонов (о Трухановиче). — А ты, Василек (себя имея в виду), лежи, мучайся (мать-мать-мать)…

Была какая-то высшая суровая справедливость в том, что и кара этого тупого богохульника и ругателя настигла соответствующая: гангрена обеих ног — ***антонов*** огонь, который никак не могли погасить. Началось все с невинных пятен на ступнях, а теперь ног у него не было выше коленей, хирурги отрезали их по частям, как бревно по поленцу, и все напрасно, огонь полз все выше и выше… «Приговор отрубить хвост по самую голову», — невольно вспоминал Труханович, когда после очередной операции это беспомощное и бессознательное тело, с каждым разом делавшееся все короче, приносили и сгружали на койку.

Сегодня Антонов был в настроении.

— Послушай, ты, — что скажу!

И наряду с радостью, что не увидит его больше, Трухановичу вдруг стало жалко этого человека, который не одной, а обеими своими укороченными ногами уходил в могилу, и захотелось даже что-то приятное сделать ему. Он достал из тумбочки три сухаря, твердых как камень, поднес и молча положил перед Антоновым на одеяло.

— Что это? Ты чего? — забеспокоился Антонов, опасаясь подвоха. Родни у него не было, никто к нему не приезжал и ничего не привозил, поэтому гостинцы были в новинку. — А, понимаю! Ты ж и дома пожрешь! Ну, давай, покрошу зубы…

— Спасибо, — сказал Труханович за него и за себя: — Крошите на здоровье.

Всякими «спасибо» да «пожалуйста» Антонов пренебрегал, считая их ненужными, они полностью отсутствовали в его небогатом лексиконе. Он сейчас же взялся грызть сухарь, со страшным треском на всю палату, словно и в самом деле вместе с пересушенным хлебом у него ломались зубы.

— Ты… вот… что…

В благодарность за угощение в паузах между хрустом и чавканьем он решил подучить Трухановича житейской мудрости.

— …Книжечка у тебя имеется, так? Грамоту не забыл, раз все пишешь что-то, все царапаешь? Хорошо! Ты слушаешь? Запоминай, запоминай! А лучше записывай… мать!

Труханович молчал. В таких случаях мнимая контузия здорово выручала его. Можно было прикинуться дураком и на глупые вопросы не отвечать.

— Следи за мыслью! У тебя же мозги отбитые, голова контуженная, ты же ни хрена не помнишь, так? Вот, скажем, женишься. Она тебя не покормит, а скажет: ты ел, только забыл. Тогда так: носи книжечку, карандаш и все чисто записывай. А потом *ревизию* проведи! А книжечку береги, хорошо прячь, — учил Антонов и одновременно грыз сухарь, периодически выпускал газы, сопровождая это разными прибаутками «Огонь по батареям!».

— Следишь за мыслью? Запоминай — пригодится. Дальше. Пойдет она, допустим, на б…ки, да? Нагуляет дитя, а скажет — твое! Я же с тобой спала! А ты хрен помнишь. Рай, а не житуха ей с тобой будет!

И запечалился Антонов, вздохнул, как бы завидуя той будущей жене, райской ее жизни…

— Слышишь, ты?

Вместо ответа Труханович присел перед тумбочкой, и Антонов притих, следя за ним, рассчитывая, вероятно, еще на один гостинец.

Из тумбочки Труханович достал небольшой пакет. Бережными движениями, словно прикасался к чему-то хрупкому, развернул грязную марлю. В ней оказалось несколько грубо сшитых по краям стопочек серой бумаги, каждая размером с карманный блокнот, а также два целых карандаша и один огрызок. Полюбовавшись своим богатством, Труханович взял огрызок и один из «блокнотов» и опять направился к окну. При ходьбе он заметно прихрамывал. У окна можно было уже свободно читать и писать. Широкий удобный подоконник служил ему столом. Труханович склонился над своей рукописью… Глаза его в сотый, в тысячный уже, наверное, раз впились в знакомые — до каждой черточки, до каждой буковки…

— Что ты там делаешь? — беспокоился за его спиной Антонов. — Ты, слышишь?

Труханович, вооруженный огрызком, читал самого себя, — и словно в сказке, будто по щучьему веленью, постепенно переставал ощущать пространство комнаты.

Отдалялся, затихал, пока, наконец, вовсе не исчез голос Антонова… В ушах зазвенел на разные голоса большой вечерний город.

По спине пробежал ветреный осенний холод… И даже ноздри Трухановича, показалось, вместо вони палаты ухватили запах «молодого» свежего снега, «который сыплется и не тает»…

2

Дочитав до конца, до слов «еще и прозу научился писать. Ужас», Труханович черкнул над последней точкой линию (получился восклицательный знак), затем аккуратно, как карты в колоду, сложил свои листки, спрятал их обратно в тумбочку и вышел в коридор.

По сравнению с относительно светлой палатой тут была самая настоящая ночь. Разве что в самом дальнем конце, у «смотрового» кабинета, того самого, где будет решаться сегодня его судьба, светилась печка, там же кашляли, бряцали кочергой, грохотали дровами.

На ощупь, держась здоровой рукой за стену, Труханович миновал этот длинный коридор: поворот, ступеньки, одна дверь, вторая. Он толкнул ее и очутился на пороге, во дворе. Рядом, под самой стеной их госпиталя-барака белела целая гора гипсовых ног и рук, использованных бинтов, марли, ваты… Сдерживая дыхание, словно оттуда воняло, Труханович быстро поковылял на улицу, вышел за калитку и стал у забора. Утро — сентябрьское, свежее — только занималось. После темных палаты и коридора глазам было больно от света, от простора.

Улица была ровной, широкой и длинной, с обыкновенными деревенскими хатами; никогда бы не сказал, что находишься в самом центре, на главном «проспекте» одного из крупнейших в Беларуси железнодорожных узлов, в местечке Калинковичи.

Сгорбленный человек с мешком на спине прошел по улице, оглянувшись на Трухановича. Телега проехала, скрипя колесами, в сторону базарной площади. Собака пробежала, за ней, через минуту, еще одна. Начинался новый день, начиналась новая жизнь. И пока, думалось Трухановичу, он себя к этой жизни готовит, она в свою очередь спешит принять его. В образе телеги — не той, что проехала, а которая только должна подъезжать к местечку... В облике чужого дядьки, который почему-то считает его своим сыном. Поднялся сегодня этот дядька еще ночью, куда раньше, чем он, Труханович. Жену разбудил. Ночь, темень… Лошадь покормил, сам поел. Собрался в дорогу, охапку сена в телегу положил, не забыл с собой торбочку «на перекус», да доктору Портному взятку, да коню овса… И вот — вместо того чтобы заниматься такой важной крестьянской работой, едет куда-то километров за двадцать! И не только сегодня… А до этого сколько раз приезжал! И не пустой — те же сухари, сало, даже колбасу привозил… Ему — чужому человеку, сыну, как он думает, «которому, бедняге, на войне бомбой мозги отбило, отчего ни отца, ни матери, ни себя не помнит!»…

Наслушается еще сегодня Труханович про эту свою якобы «отбитую память». На скорой и, слава Богу, кажется, наконец, последней комиссии. Где в сотый раз его разденут, ощупают, обстукают… Многозначительные переглядывания, перешептывания, латинские термины, среди которых самый частый — амнезия… Полная потеря памяти, редчайший (для того времени) случай, феномен! И обязательно найдется один, кто бросит резко, громко, так, чтобы и он слышал: «Симуляция!» И тогда смутится доктор Портной, и зачастит, оправдываясь сам и оправдывая своего любимого феноменального больного: «Уникальный случай… память как раз присутствует, но какая-то вывернутая… ему кажется, что он не прошедшее помнит, а… будущее! Вот, пожалуйста, у меня записано… Такое рассказывал, что ахнуть!» — «Да перестаньте. Они нарассказывают — лишь бы отпустили к бабе под юбку…»

И плевать им, конечно, на его «феномен» и «контузию», но как вы мертвую руку объясните, товарищи? А пальцы на ноге, что, корова языком слизала?

Труханович вернулся в коридор.

Госпиталь к тому времени зажил своими обычными (и постылыми, особенно после свежести утреннего воздуха) запахами и звуками. Бегали взадвперед как всегда шустро-озабоченные и как всегда бестолковые нянечки. Кого-то громко позвали, кто-то тихо и безнадежно застонал…

Труханович прислонился к печке, заложил ладонь за спину — чтобы не так пекло и чтобы не испачкаться, и терпеливо стал ждать. Ближе к восьми подошли еще двое — легкораненые, слабосильные и затурканные солдатики, но даже они в госпитальной иерархии стояли выше него, «беспамятного» Трухановича, поэтому с ним не поздоровались, только посмотрели с насмешкой и чувством превосходства. А вот наконец и свита в составе трех человек,

стуча в пол каблуками прошла в кабинет. Первый — Портной, в белом грязном халате, ключом отпер дверь, за ним двое незнакомых — один молодой, второй старый, оба в тужурках, перепоясанные ремнями до того туго, что своими талиями и оттопыренными задами напоминали женщин.

Не успела закрыться дверь за последним, как снова отворилась, и голос Портного позвал:

— Заходите! — забыв или не посчитав необходимым даже уточнить, кто именно им нужен.

Труханович уже взялся за ручку двери. Но интуиция заставила его оглянуться… Он повернулся и увидел, что по коридору спешит и жестами показывает ему подождать «отец», за ним еще какая-то рослая девушка или молодица... Пришлось помедлить, чтобы хоть поздороваться с ними. Когда те приблизились, он успел лишь пожать «отцу» руку (про себя отметив, что у того из голенища торчит кнут: признак зажиточности; то же самое, как теперь покручивать на пальце ключи от автомобиля) и кивнуть молодице. Глаза их встретились… Но тут снова, уже нетерпеливо, требовательно, позвал Портной, и Труханович поспешил в кабинет, неся с собой какое-то тревожно-радостное, неведомое и неизведанное доселе ощущение надежды, или лучше сказать, — события, которое то ли уже произошло у него с этой девушкой, то ли будет еще впереди…

Кабинет мало чем отличался от современных. Даже все необходимые медицинско-больничные атрибуты были в наличии: и таблица букв для проверки зрения, и умывальник в углу, и блестящие биксы для кипячения инструментов, и разные баночки за стеклом шкафа, и складная ширма, за которой раздеваются. Госпиталь был не только для военных, за определенную мзду здесь принимали и обычных местечковцев, и окрестных крестьян.

За столом сидели трое. На его «день добрый» никто не поднял головы. Понурые, озабоченные, шелестят бумагами, переговариваются тихо… И слово «амнезия», и слово «феномен» донеслись до Трухановича… Вот молодой сказал что-то, не поднимая головы. Труханович не сразу и понял, что это к нему обращаются.

— Фамилия, имя, — громче повторил молодой, немного картавя (как же без этого?), — звание.

— Трухан…ович, Алесь. Красноармеец.

— Садитесь.

Он сел на табурет, в котором посредине было овальное отверстие.

— Год рождения? — невинно спросил молодой, а сам напрягся в ожидании, и те подняли головы, вперились в Трухановича.

«Наконец-то! Может, поддаться? — мелькнуло в нем игривое. — Подразнить их немного?» Наверное, так и сделал бы, если бы минут десять назад начался этот допрос-консилиум, может, тогда и доставил бы им, оправдав надежды Портного, некоторую радость. Но теперь, когда все воспринималось им словно «через стекло» того девичьего, вроде бы что-то обещающего взгляда, ему хотелось поскорее этот цирк закончить.

— Тысяча… восемьсот… — сказал он, нарочно растягивая слова, чтобы облегчить записывание, потому что молодой уже нацелился карандашом в бумагу, — девяносто восьмого года рождения.

— Как..? — в голосе Портного были и растерянность, и разочарование.

А как ты хотел? Ты же сам вбивал мне два месяца в голову, кто я, что я — «С какого, парень, года, с какого парохода»… Научил на свою голову? Небось, не ожидал, что я окажусь таким способным учеником? Разлаживается, рассыпается спектакль-представление «феномена», в самый ординарный, выеденного яйца не стоящий случай превращается?

Двое в тужурках смотрели на доктора вопросительно. Портной дрожащими пальцами вытащил из нагрудного кармана халата и нацепил на нос пенсне.

— Подождите, — начал бормотать он, склоняясь над бумагами; пенсне сваливалось, и он прижимал его пальцем к переносице. — Но я же все записывал…

— До ваших записей мы еще доберемся, — молодой положил ладонь на лист. Обратился к Трухановичу: — Расскажите коротко свою биографию и чем занимались до ранения, — при его картавости прозвучала довольно остроумная инверсия — «ганения» вместо «ранения».

Немного напоминало это экзамен, где Труханович был в роли студента, а чекисты — с Портным — преподавателями; вот только ошибка на таком экзамене могла дорого стоить. Однако, вспомнив неплохую свою подготовку, Труханович короткими предложениями, приятным, в меру пафосным голосом, нажимая на конкретику дат и цифр, начал «отвечать на билет», иначе — нести самую разную, механически зазубренную ерунду. Тем более, пока требовали от него всего лишь сухих анкетных данных…<…>

Пожилой вдруг открыл глаза, которые оказались мутными, и быстро спросил каким-то булькающим басом:

— Какой сейчас год?

— Тысяча девятьсот двадцатый.

— День, месяц?

— Двадцать первое сентября.

— Что значит: не в свои сани не садись?

Боже ты мой! Трудно было чем-то удивить Трухановича, но сейчас он едва не свалился с табурета. Да это же… и по нынешнее — ***его*** — время таким же образом в военкоматах невропатологи проверяют призывников! На тех же «санях» ловят, причем, некоторые умудряются даже погореть на этом… Так вот, оказывается, откуда этот хвост!

Пожилой принял его заминку за обдумывание.

— Отвечать быстро!

— Это значит, — с вежливой улыбкой, устраивая поудобнее руку на перевязи, ответил Труханович, — знать свое место, не совать нос в чужое просо; из одного синонимического ряда: каждая свинья свое корыто хвалит, каждый кулик — свое…

— Что-что?!

Вот всполошились. Вот натопырился молодой, а доктор как ожил сразу! Нужно все же быть осторожнее, палку не перегибать, меньше дразнить их.

— Что за синонимический ряд? Что вы оканчивали?

— Це-пэ-ша… и курсы молодого бойца, — важно добавил Труханович. Мол, советская власть умеет учить.

— Так вы помните, где учились? Имена учителей! Преподавателей на курсах!

— Этого не помню, — Труханович тронул здоровой рукой голову.

Пошло — перешептывания, бумаг шорох… А затем снова посыпалось — один вопрос картавым голосом, другой — булькающе-похмельным: «Номер части? Как вас ранило? Где?»

— Не помню…

Какой кошмар, только теперь дошло до него: да это же они мне шпионство шьют. И очень просто. Если основные вехи биографии, с датами да цифрами, еще можно было по-попугайски, с чужой подачи заучить, то на мелочах, на деталях — какого цвета волосы на голове штабного писаря — его поймать — раз плюнуть. И вполне обоснованны их подозрения. Рассуждает о

синонимическом ряде и не помнит не то что ни одной фамилии однополчан, но даже имени родной матери!

Выход тут один: раз все равно не сможет он им ничего доказать — то и не нужно доказывать. «Контуженный» — так и спекулируй на контузии!

— Не помню, — повторил он. И далее, с виноватой улыбкой, проникновенным голосом, пафосным тоном: — Товарищи, я раненый человек. Кровь проливал и здоровье потерял за родную советскую власть. И не вина, а беда моя, что некоторые моменты я помню, а другие — нет… Пусть я не могу назвать или узнать одноклассников, учителей, односельчан — но они же меня узнают! Вот хотя бы у отца моего спросите… Он как раз тут, в коридоре, ждет… Неужели бы он ездил за столько километров ко мне — чужому? Позвать отца? — И с табуретки привстал, показывая готовность бежать.

— Сиди, — остудили его.

Ага, подействовало. Даже пожилой смягчился.

— Хорошо. Все это хорошо. Но как вы объясните… где оно, — молодой принялся искать в папке, — вот оно, — нашел несколько листков бумаги, исписанных доктора Портного почерком, показал Труханович у, еще и деликатно, ногтем мизинца подчеркивая строчки. — То, что здесь записано, правда? Вы говорили доктору Портному все это, всю эту вредную ересь? Например, что всемирная революция не только не произойдет, но и в одной отдельно взятой стране, в Советской России, невозможно будет построить коммунизм? Вы говорили, что через семьдесят лет вообще коммунистические идеалы будут поставлены под сомнение, подвергнутся переоценке, после чего и сама советская власть перестанет существовать?

Пожилой громко хмыкнул.

— Стопроцентная контрреволюция, — сказал он. — Но хорошо, хоть семьдесят дает!

— Вы в самом деле пророчили, пусть и в бессознательном бреду, что красный террор растянется на десятилетия и жертвами его станут десятки миллионов? Что будет вторая война с немцами? Что американцы придумают какую-то сверхбомбу и сбросят ее с аэроплана на Японию? Вы утверждали, что электричество будет поступать не с гидроплотин, а вырабатываться из атомов, для чего будут построены специальные станции, одна из которых взорвется?

Молодой спрашивал с улыбкой, всячески показывая, что сам не придает подобной ереси значения и другим не советует.

Труханович пошевелился на табуретке.

— Я…

— Говорили или нет?

— Я, товарищи, не спорю. После операции под морфием, без памяти, конечно, мог наговорить что угодно… Вот только почему вас не интересует, зачем доктору Портному понадобилось записывать все это? Можно задать ему вопрос?

Молодой кивнул.

— Вы материалист, доктор Портной?

(И пускай попробует ответить, что нет.)

— Я? — растерялся от неожиданности доктор, который, задумывая этот безобидный, как ему казалось, спектакль, вряд ли представлял, что все это может очень просто на его голову свалиться. — Я… материалист.

— Тогда почему вы придаете какое-то особенное значение обычному бреду? Или вы все же идеалист? Продолжаете верить в переселение душ, да в рай, да в ад, да в Бога?

Портной вытирал пот со лба. На него без жалости нельзя было смотреть. Чекисты слушали Трухановича с интересом и не перебивая. Того еще больше вдохновила эта молчаливая поддержка.

— Мы, люди нового времени, которые сбросили ярмо царизма, очистились от дурмана религий и разных там суеверий, — мы разве можем верить всяким ворожбитам, оракулам, всяким лжепророкам (вовремя спохватился), кроме, конечно, товарищей Ленина с Троцким… Мы — раскрепощенные люди новой страны, и мы будем творить жизнь согласно большевистским заветам, а не верить в разную мистику и предсказания!

Где-то совсем близко проехал поезд, и табурет под Трухановичем некоторое время приятно дрожал; победно отзвенели на столе и в шкафу склянки.

Убедил хоть немного? Кажется, да. Вот когда пригодилось, вот при каких условиях выручила его «пятерка», полученная по истории КПСС! А еще смеялись над этим предметом, так скептически к нему относились — не понимая практической ценности его.

— Хорошо, — одобрительно, даже с каким-то уважением в голосе сказал молодой. — Все это так. Мы верим вам. Хотя, если честно, не похоже, чтобы что-то у вас было с головой… Но забудем. Хоть и записан ваш вредный контрреволюционный бред на бумагу, а это официальный документ, — забудем, сделаем вид, что их не было. Вот, пожалуйста, можете забрать себе на память, покажете какому-нибудь писателю, вдруг использует… Если же серьезно, вы, насколько я понял, принимаете советскую власть, партию большевиков?

— А разве можно… иначе?

— Вступить не желаете?

— Никогда… в смысле, никогда не думал, что это возможно… что достоин…

— Почему? Вы грамотный человек. У вас вполне трезвые рассуждения, вполне пристойная для крестьянского сына эрудиция, вы стоите на правильных марксистских позициях…

«Еще бы!» — улыбнулся про себя Труханович. Просто идеальный для вас большевичок! Мозги чистые, ностальгией по царизму не засоренные…

— Разве что найдутся люди, которые дадут рекомендацию, — сказал он неуверенно вслух, а про себя потешаясь над этими клоунами, над которыми ощущал полную свою власть, потому что «через толщу десятилетий» ему ясно высвечивалась их кровавая бесславная перспектива.

— Подумайте, — советовал между тем молодой. — А пока что — вот ваши документы, — он протянул руку, и Портной сразу же выхватил из папки и подал ему несколько бумажек. Все было заранее подготовлено ими, оказывается, просто время тянули комиссионщики, неизвестно на что рассчитывая.

— И в любое время будьте готовы, что вас вызовут.

— А… рука? А… нога?

Тогда пожилой вдруг встал и без слов показал Трухановичу пустой рукав.

— И без рук найдется работа в советских органах.

— Все. Можете идти. Не сомневаюсь, что мы скоро увидимся, — сказал на прощание молодой. — И позовите следующего.

— Я на минутку. — Доктор, застегивая пуговицы халата, тоже вышел следом за Трухановичем в коридор.

— Следующий, — бросил он красноармейцам, которых уже с десяток собралось перед кабинетом. Шум, гам, смех сразу смолкли. — Что ж вы так? — с укором, жалостливо упрекнул Портной Трухановича.

— А вы что? — грубо ответил тот.

Продолжение следует.

Перевод с белорусского автора и Алексея Чероты.

ОЛЕГ САЛТУК

Куда ведет дорога

Печка

Задохнулась печка тягою —
Из трубы дымок дохнул,
И пошел гулять бродягою,
Что на все рукой махнул.

Перехваченный туманами,
С терпким запахом котлов,
Над озябшими полянами
Высоту свою нашел.

Что ж, туманы возвращаются,
Но нельзя вернуть дымы.
И по свету разлетаются,
И теряются, как мы.

И как мы, осиротевшие,
И все время на виду…
Печь, от стужи побелевшая,
Без трубы стоит в саду.

Двор

Что ж, всему настает пора,
Рано ль, поздно ль, но все проходит…
У ранета истлела кора,
Стол под ним ни на что не пригоден.

А когда-то тут, за столом,
Каждый вечер все собирались.
И над яблоневым стволом
Соком яблоки наливались.

Ни кола ни двора теперь,
Ничего — ни движенья, ни слова.
Пробежит лишь испуганный зверь
И в кустах заляжет лозовых.

Все проходит, и ясный топор
Рубанет по стволу с размахом,
И всем телом ствол рухнет во двор,
Лягут ветки на стол, как на плаху.

Настроение

Бывает, подступит такое,
О чем тяжело рассказать…
Над вечным и мудрым покоем
Незримо столетья летят.

Над лесом, над полем, над пожней —
Звучат журавлей голоса.
На сердце легко и тревожно,
И рвется душа в небеса.

Туда, где все ясно и просто,
Туда, где незваные мы…
Летит журавлиная почта —
Крылатая весть от зимы.

Сжимаешься внутренне, плачешь…
Невидимых слез не унять.
И все же за все неудачи
Не надо судьбу обвинять.

Над вечным и мудрым покоем
Столетья и птицы летят.
А к сердцу подступит такое,
О чем можно только молчать.

Дорога

Слепой ведет слепого
Глухой ведет глухого,
Немой ведет немого,
Хромой ведет хромого —
Страданий через край.
Куда ведет дорога?
И что там: пекло? рай?

В храме

Вновь зайду я в задумчивый храм
С куполами его золотыми,
И останусь надолго я там
Сам с собой и со всеми святыми.

Может, что посоветуют мне…
Иль предстанет на миг предо мною
Древний сумрачный лик на стене
И покажется бренным земное.

И проступят сквозь боль и сквозь бель
Очертания фрески нетленной.
Что я знаю, что мню о себе,
Я, пылинка в просторах Вселенной?

И живу, и молюсь, и грешу,
Что-то вечно ищу и… теряю.
И такое в душе я ношу,
Что никто никогда не узнает.

Озарение

Я отыскал потерянный покой,
Когда вчера увидел на рассвете:
Твоя рука лежала под щекой…
Так спят, наверно, маленькие дети.

Как ты спала… Спокойный этот сон
Старался я ничем не беспокоить.
Но новый день — в окно стучался он
Прохладною и светлою рукою.

И понял я тогда, что на пути
Так важно задержаться, обернуться,
Сквозь день пройти,
сквозь ночь еще пройти
И на рассвете вновь к тебе вернуться.

Чудо

Красавицы-девчатки босонож
Танцуют романтично на асфальте.
А дождь идет, веселый летний дождь,
И кружится березка с ними в вальсе.

Такая чистота стоит вокруг,
Что можно светлой радости напиться.
Горят глаза у девочек-подруг,
В глазах у них смех озорной искрится.

Играет на цимбалах добрый гром,
И радуга дугой своей играет.
И от нее на много верст кругом
В душе и сердце счастье расцветает.

Перевод с белорусского
Геннадия Авласенко.

НАУМ ЦИПИС

«Шел трамвай девятый номер...»

Рассказ

Положим, не девятый, это только в песенке когда-то так пелось. А номер, о пассажирах которого я хочу рассказать, и пожалуй, не только о пассажирах, был первый, маршрута «Химзавод—Электомережи». По-русски значит электросети.

Сегодня в нашем очень цивилизованном мире научились легко давать четыре ответа на один вопрос. В Виннице же, сколько себя помню, на один ответ задавалось четыре-пять вопросов. Этому не учились, с этим здесь рождались.

Расскажу вам о моей заурядной поездке в винницком трамвае (подавляющее большинство взрослого населения на нашем Замостье произносили это слово так: транавай) того самого маршрута. Ехать мне было от гинекологической замостянской больницы на улице Ворошилова до остановки «Музыкальный театр» в городе. Это — минут двадцать-тридцать.

Два старика-еврея на остановке, где я сажусь. Диалог:

— Что-то долго нет транавая... Вы не знаете, они ходят или, может, уже нет?

— Я знаю... Если ходят, то да, а если нет, то нет.

Между прочим, сразу после войны теперешняя 4-я гинекология была госпиталем военных летчиков, которым мы носили легальные свежие, минуту тому с дерева, прозрачные «мраморные» папировки — так у нас называли «белый налив», — и нелегальные чекушки из «Голубого дунайчика», через дорогу напротив. Вот уж повеселились бы пилоты, узнав, кто и почему будет лежать в их палатах всего через пятнадцать лет...

Наверное, так и будет ехать этот трамвай, с разговорами моих случайных попутчиков, с отступлениями, ассоциациями, «вставными номерами». К примеру: «Если ты, приехав в Винницу, подумал, что самый красивый, — это еще ничего. Но если ты подумал, что ты самый умный, — ты делаешь большую ошибку...»

«Шел трамвай девятый номер / А в трамвае кто-то помер...» О чем же еще писать, как не о «кусочке жизни». Дай-то Бог, чтобы вам услышались железные трамвайные колеса и увиделись глаза тех пассажиров...

Я ехал на встречу с моим другом Исааком Гершем, который тогда учился в горном институте в Днепре. Такое название Днепропетровска я впервые услышал от него. Я же прибыл из древнего русского города Курска, занимавшего в то время по статистике ЦК комсомола третье место по преступности в СССР. В этом доблестном городе я и был тогда прописан в качестве студента пединститута. Герш учился гидрогеологии, которой при желании можно было научиться. Я — русскому языку и литературе. Тогда я не знал, что этому научиться невозможно. С этим, как в Виннице, нужно родиться.

Поездка на трамвае с мотором «Российской электрической компании» выпуска 1898 года в медном кожухе — от 4-й дамской больницы до Музтеа-

тра — семь остановок. Тех, кто будет читать это до конца, прошу запомнить: семь. Запомнить для того, чтобы попытаться понять природу человека с винницкого Замостья, который всего за семь «транавайных» остановок попытался оставить «свой след» в самой суровой области человеческой деятельности, в области духа. И еще одно предупреждение, без него труднее почувствовать атмосферу в том трамвайном вагоне. Его так кидало из стороны в сторону, он так шатался, что еще немного и пойдет «транавай» гулять по траве и газонам без всяких рельсов. Пассажиры вынуждены были ежеминутно хвататься друг за друга, обниматься и вести себя прямо по родственному, по-винницки. И все эти — «мужчина, это не понравится моему мужу: он стоит рядом, с другой стороны...», «не надо ложиться на меня, мы еще мало знакомы...», «женщина, то мой карман... я боюсь, шо вы там найдёте не то, шо вам надо...», «откуда вы знаете, шо мне надо?», «если бы не мозоль, то я бы разрешил вам стоять на моей ноге до конечной...» — все это звучало не перебранкой, а разговором близких и понимающих людей.

Понятно, что в трамвае, даже если он везет вас от конечной до конечной, не может быть «производственного» плана на разговоры пассажиров, на их мысли; и сюжета быть не может. Могут быть неожиданности, удивления, глупости и короткий проблеск острого умного слова.

Еду стоя, держусь за брезентовую петлю. Внизу, прямо подо мной, сидят две девушки. Наверное молодые педагогини. Звучит как богини... Оно и переводится с очень древнего, как «ведущая детей».

Слышу:

— Задаю вопрос твоему двухметровому Каштельному...

— Коле? А он опять ждал меня у подъезда с цветами... Говорю, хватит обрывать клумбы. А он: Марина Витальевна, это — честные розы, я их купил на базаре.

— Взяла?

— Он такой трогательный...

— Смотри, из комсомола вылетите оба. Ему-то что... Пацан. А ты себе жизнь попортишь... Отшей его раз и навсегда!

— Посмотрим... Так, что ты его спросила?

— «Расскажи, почему американский президент Линкольн освободил негров от рабства?» Знаешь, что он выдал? «Линкольн, — говорит, — считал, что освобождение негров будет полезно американскому баскетболу».

Я не слышу, о чем дальше говорят эти девушки, я вспоминаю, как, не поступив в родной винницкий пединститут, — историю эту, с остро ощущаемым чувством мести советскому антисемитизму, я рассказывал уже не раз, — распродав уникальную библиотеку, поехал горевать к своим друзьям, поступившим в МГУ, и там увидел выступление впервые посетившей СССР баскетбольной команды «Глоуб троттерс». Мне перевели это так: дриблингом по земному шару.

Союз тогда обалдел от этих негритянских ребят: то, что они вытворяли с мячом, нельзя было увидеть даже в цирке. И тут я полностью был согласен с Колей Каштельным. Разве негры-рабы так играли бы в баскетбол, как играют ныне негры свободные? А еще неведомый Коля был мне симпатичен, потому что ломал каноны: ученик — а вот, дулю всем вам! — цветы учительнице. Надо сказать, красивой учительнице... Да что там, вспомните, как вы влюблялись в своих Марин Витальевных...

Жизнь она и в трамвае жизнь.

* * *

— Нас у мамы двое, и у каждого своя комната! — чистый детский голос звонко, громко, слышит весь трамвай. Люди ищут глазами ребенка, сообщившего редкую в то время реалию... Когда еще Никита Сергеевич партийно пообещает народу по отдельной комнате на брата, а тут оно уже в натуре есть. Живут же люди... Кто они? Конечно, не наши, не замостянские. Мы, к примеру, после войны проживали на четырнадцати метрах вшестером, а потом уже втроем. Мама и отец так и померли на этих барачных метрах с удобствами во дворе.

Преподносит трамвай сюрпризы. Хоть за детей порадуешься, только бы не покалечили их души эти отдельные комнаты. Это во мне говорит будущий учитель...

* * *

Я все время мигрирую по вагону, в зависимости от того, сколько людей вышло-вошло. Шаг вперед, два назад; два вперед — четыре назад... Сейчас «подо мной» два пожилых дядьки. По всему, встретились впервые, сидят рядом. Вспоминают войну и как с нее пришли. Удивляются, что остались жить. Мне почему-то запомнилось это:

— Вот раньше презерватив стоил три копейки, а пирожок с повидлом — пьять...

— Да... Это ж как можно было погулять на восемь копеек!

— Слушайте, а как вы спасаетесь от похмелья?

— От похмелья? А как всегда от этого спасаются умные люди? Сто грамм и квашеная капуста с рассолом. И если умная жена, то двери на клямку... Как рукой снимает!

— Ну то я вам сейчас скажу такое, шо вы будете долго смеяться... Прочитал в журнале «Вокруг света», внук выписует, интересное чтение получилося... Так там написано, шо древние ассирийцы толкли в ступе... шоб вы думали?! — клювы ласточек! Потом добавляли до этого сырые яйцы с уксусом, и это страхоття пили на похмелье...

— И шо? Помогало?

— За это не написано. Написано только, шо пили.

— Мало ёлопов на свете? Каждый шо-то придумует. Клювы с ласточек... Почему не вухи с кроликов? Есть водка, капуста и рассол — шо еще дуракам надо?

— Я с вами абсолютно согласный. Ручка есть? Нет? То усно запомните мой адрес: Буденного, четыре, возле самого стадиёна. Приходите, старуха любит гостей...

* * *

— Слушайте сюда. У меня есть зять от внучки. Я не знаю, как это назвать по-русски, кто он мне есть. Но ни у кого в Виннице нет такого зятя. Мало, шо принес в дом котенка... Конечно, деньги в дом лучше, но ладно, пусть будет котенок. Я не люблю, но для правнуков живое в доме — люди говорят, шо это хорошо. Теперь стал вопрос, как его назвать. Шо вы себе думаете? Они назвали его Изей! Кота назвать Изя?! Я им говорю, вы, что, сошли с ума? Кота — человеческим именем? Что, мало для кота есть имен? Сколько хочешь — Коля, Петя, я знаю, Ваня, наконец...

Полтрамвая лежит. Старая-старая еврейка ничего не понимает: шо такое, шо? Почему люди смеются. Она так и не поняла, что в этом трамвае, так слу-

чается в трамваях, ехали нормальные люди. Они простили даже еврейский шовинизм, потому что его выразителем была древняя еврейка. Они, кто знал, а кто интуитивно понял, сколько этой старухе досталось от рождения и до близкой уже смерти, — от погромов, войны, вечного антисемитизма и так называемого космополитизма — от истории и людей.

Я тоже немного посмеялся. Но и для печали осталось место. Мне вспомнились строчки еще и сегодня недооцененного поэта моего времени Константина Левина, к которым и добавить нечего:

Мы потихонечку стареем,
Мы приближаемся к золе.
Что вам сказать? Я был евреем
В такое время на земле.

Так и видится и слышится тот благородный смеющийся трамвай и недоуменное, составленное из одних морщин, — темное лицо еврейской старухи...

* * *

В том трамвае сидения размещались так: с одной стороны — скамейки на трех человек, а с другой — на одного. И вот, с той стороны, где сидели по одному, ударили сразу залпом. Кто говорил, мне видно не было, заслоняли плотно стоящие в проходе. Мой друг называл это временно сплоченным коллективом. Я мог только по голосу догадываться о говорящих. Времени прошло немало, но за смысл и колорит я и сегодня отвечу.

... — Что вы мене рассказываете за себя такие страхи, если я сама живу под лозунгом: «Беда не приходит одна, беда приходит две!» Так что? У обедвех сестер ушли мужья в один день? И в один день не вернулись? Вэй з мир... Я — женщина переживательная, я из-за ваших сестер теперь всю ночь не буду спать...

... — Ты помнишь Севу? Ну, что жил в «деревяшке»? Кило на сто двадцать... Да, именно он. Ты уже переехала на Вишенки, а он на второй день ушел от Гали! Ну да! Трое сопляков повесил на нею одну. А у нее же мама лежачая... До кого ушел? До молодой засранки со швейной фабрики. Красивая? Шо тебе сказать... Составлена с двух частей: голубые глаза, а остальное жопа. Об чем говорить: есть такие мужики, в которых г… больше, чем веса.

... — Ну, сели, как всегда, кинуть в «триньку» в сухую, на спички, побаловаться. Тут приходят хлопцы с базара. Игра пошла на интерес. А тут этот поц, доцент с пединститута. Он короля от валета не отличает. Попросился. Предъявил сармак. Пустили, показали, шо к чему. Разок сыграли товарищескую, для демонстрации правил. И — пошло! Шо тебе сказать? Я в карты играть начал, когда мама меня на горшок посадила. И другие хлопцы не вчера взяли в руки колоду. Сема! Он раздел нас всех за минут сорок. Я такого еще не видел. Все коны были его без промаха! Ему так везло, как будто он нашел подкову от слона!

... — Мужчина, шо вы смотрите на меня, кабу-то я уже голая! За такое смотрение есть две цены: или платить деньги, или получить по морде!

— Зупынка — вулыця Червоных курсантив! — объявила кондукторша, женщина средних лет с нормальной украинской грудью пятого размера. Трамвай остановился в квартале от цветущего сада Тюти, Юрки Цвиргуна, — и я вспомнил. Рассказывать воспоминания долго, а вспомнить — два мига. Пока трамвай стоял, я вспомнил...

Был в нашем городе почетный гражданин — генерал Стецько. Генерал этот, отважно сражавшийся всю войну и особо отличившийся при освобождении Винницы, поселился здесь после взятия Берлина, дослужился до генеральской пенсии и зажил почетной жизнью.

Генерал на год вперед оплачивал в каждом кинотеатре любимое кресло — девятое в одиннадцатом ряду, — и никто не имел права сесть в это кресло. Такова была прихоть генерала. Иногда он подзывал глянувшегося ему пацана и говорил:

— Сегодня можешь посмотреть кино в «Коцюбинского». Будет полезно... Скажешь, что генерал разрешил. Знаешь мое кресло?

Но кто не знал кресло генерала!

— Одиннадцатый ряд, номер девять!

Но чаще и с удовольствием он предлагал свое кресло красивым женщинам. Он к ним очень хорошо относился.

Была у генерала еще одна причуда: надев свой парадный мундир и все награды — зрелище внушительное, — он садился в трамвай и собирал дань уважения. Но не только. В трамваях он разговаривал с народом — читал лекции на всякие темы: международные, внутренние, моральные… Лекции были собраны из унифицированных «узлов» и рассчитаны как на временного пассажира — одна-две-три остановки, так и на пассажира постоянного — до конца маршрута. Ориентировался генерал мгновенно, имелся опыт оперативных действий.

И вот что еще о генерале необходимо знать: он был натуральный холостяк, то есть никогда не женился. Выглядел, несмотря на солидный возраст, молодцевато; к тому же систематически подкрашивал волосы, делал массаж и красиво, по-генеральски, ухаживал за молодыми женщинами. Вкус имел... «Падать — так с высокого коня!» — говорил он, увидев достойный объект. Женщины, посетившие его впервые, могли свидетельствовать, что чистота и аккуратность генеральской квартиры были идеальными. Они удивлялись, а он, на минуту опечалившись, отвечал: «Дорогая, одиночество — это когда ты всегда знаешь, где лежат твои вещи...» Отпуская гостью, обязательно дарил скромное золотое колечко. Деньгами не унижал.

В городе все знали Стецько, по-своему, по-винницки, любили его и уважали генеральские причуды. Фима-скрипач, в прошлом правый крайний легендарного винницкого «Динамо», а теперь бессменный руководитель маленького популярного оркестрика, игравшего в ресторане «Винница» свои очень душевные мелодии, при появлении генерала в дверях ресторана всегда исполнял туш, и все посетители дружно аплодировали. Генерал был доволен и махал всем рукой, Фиму же и в его лице весь оркестрик обнимал, прижимая к орденам и медалям, а потом садился за столик у самой эстрады. Выпивал немного и всегда коньяк. Пьяным генерала не видели. Обычно он бывал слегка подшофе.

И вот однажды в таком бесшабашно уверенном состоянии сел генерал в трамвай, в котором ехала из города на свое Замостье моя Бабушка. Она ехала с кладбища, где отдала дань близким усопшим, рассказав им о том, как без них идут дела на земле.

Генерал, окинув орлиным взором пассажиров вагона, оценив контингент, вдруг завелся на не совсем обычную тему: о том, что мужчине не надо жениться. Никогда и ни на ком!

— Посмотрите на меня! Разве дожил бы я до таких лет, разве выглядел так, если бы хоть раз женился? — громко и четко вопросил он трамвай. — Не женитесь, товарищи мужчины! Это вам мой стратегический, военно-полевой совет!..

Наверное, генерал, вошедший в холостяцкий раж, продолжил бы свою лекцию на эту интересную тему, но — раздался голос Бабушки:

— Ну и если бы вы на нас не женились, то кем бы ты командовал, старый дурень?

Пассажирам показалось, что трамвай, идущий с горки на мост, вдруг резко затормозил. Генерал замер с поднятой рукой, которой он дирижировал себе во время выступления. Несколько секунд было тихо, слышался только скрежет железных колес. Потом Старый город, Город и Замостье услышали хохот. Так смеяться умеют только в Виннице.

Надо отдать должное генералу: он смеялся громче всех. И тут все в трамвае увидели, каким молодым и красивым был генерал Стецько во время войны, каким он был лихим и веселым... И подошел он к Бабушке, и поцеловал ей руку, и на остановке вывел ее из трамвая. Потом генерал повернул голову к Бабушке и приглашающе согнул свою надежную генеральскую руку. Бабушка оперлась на нее, и они пошли...

И все пассажиры ошеломленно смотрели им вслед, потому что такого чуда они еще не видели: по улице Красных курсантов к цветущему белому острову Тютиного сада шли молодые седые мужчина и женщина. Он — высокий, стройный, сильный; она — маленькая, очень фигурная и женственная.

... — Наступна зупынка — «Дом Быту»! — и трамвай поехал дальше...

* * *

Был в то наше время на Украине писатель-юморист Остап Вишня. Можете не верить, но популярность его была просто ненормальной. Почти такой, какую недавно имел Жванецкий. Когда по радио читали его рассказы, особенно охотничьи, народ ложился. Не помню, кто тогда был вождем Украины — Каганович или Хрущев, — так вроде сказал: «Такой талант — не дает работать!» И Вишню запретили читать в рабочее время. Или раненько утром, или после шести ноль-ноль.

И вот в нашем винницком трамвае номер один слышу я от впереди сидящих — ну один к одному — ожившую охотничью интонацию Вишни и прямо-таки вижу картину Серова «Охотники на привале»:

— Понимаешь, когда он рассказывал, я, конечно, не верил. Ну, кто ж поверит! Ну, выпили, поговорили... Я не знаю, как ты, а я выпивши сразу большим героем становлюсь! Особенно по женской части... Прямо, переход Суворова через те Альпы. Сколько на ровном месте натерпелся от жены... Ну, я и думал, что он про свою собаку, как я про свои Альпы. А потом... Сам увидел! Могу на суде свидетелем быть!

То, Вася, была собака... Он за нее, как за машину, заплатил. На вид никогда не скажешь. А он же не только охотник, он и рыбак будь здоров! И вот, когда он на рыбалку уходит, оставляет ее дома. Зачем ему собака на рыбалке, правда? Кинет ей две булки хлеба — сам видел! — и говорит: «Дели как хочешь. Иду на три дня. Понял?» Собака кивает, мол, понял, иди, не беспокойся. Мы еще за порог не шагнули, а она уже начала делить буханку... Отакая была собака, Вася!..

— Бреши, но знай берег... Как собака может делить буханку?

— Как?! А так — ножа в зубы, лапой держит и режет на ровные куски. Понял?

Ближние пассажиры завелись:

— Ото брехун: а ни миллиметра не покраснел!

— Как же собака будет резать буханку, если одной лапой держать?

— Так, може, двомя?

— В этом транавае собралися одни ёлопы, я вам говорю!

— Граждане, — поднялся охотник, оглядевши вагон, сказал: — Граждане, я ж потому и рассказую, что сам видел этот небывалый случай!

— Ты сам с откудова? — красивый такой, бархатный баритон.

— С Замостья...

— Ну, то в таком разе, все Замостье — есть небывалый случай.

Мне бы сейчас встретить того баритона, я бы сказал ему, что сам он тоже «небывалый случай»: так точно угадать... А Остап Вишня, наверное, пожал бы руку всем и каждому в трамвае номер один.

* * *

Лавруху вспоминаю часто. Одно только, что был чемпионом Европы по обществу «Локомотив». Признаюсь: о том, что есть такое общество в европейском масштабе, я и узнал только потому, что мой друг Ларик стал его чемпионом. А в том, что он мой друг, — никаких сомнений. Даже в суде. Вот фотография: Лаврентий в немыслимом напряжении всех человеческих мышц, стоит на помосте и держит на вытянутых руках рекордную штангу, а сзади на стене висит транспарант на всех европейских языках. Правда, из фотографии вы не узнаете, что соревнования проходили в Бухаресте, об этом мне рассказал сам чемпион. А вот что мы с ним не просто знакомые, вы можете узнать, перевернув фото. Надпись свидетельствует: «Другу Кляну от друга Ларика. Навсегда». Надпись как бы уточняет качество наших отношений: из нее следует, что дружба наша обоюдна.

Лаврентий Долинский был в какой-то степени легендой Замостья. Ну ладно, малой легендой. Уточняю, потому что здесь родился, рос и стал многократным рекордсменом мира наш общий друг Толик Житецкий, который был большой легендой Замостья и даже Винницы. Оно и понято: мир больше Европы.

Толику удалось закончить физкультурный факультет Винницкого пединститута. Чтобы пояснить, как он туда поступил и как его закончил, надо сказать, что в то время не только в винницком вузе были такие спецнаборы... Ну не заставлять же чемпионов грызть науку в полном объеме, если они круглый учебный год то на сборах, то на соревнованиях. Если они защищают честь страны. Короче, Толик поступил. А все потому, что как-никак, но аттестат зрелости он имел.

А Ларик сумел закончить только семь классов, и все, — как обрезало. Дальше... Его можно было убить, но заставить учиться дальше — все равно что подушкой забивать гвозди.

Ларик носил за Толиком на тренировки его спортивный чемоданчик, потом попробовал поднять штангу, потом... Через полтора года был уже мастером спорта. А там — само пошло... Но что необходимо сказать, потому что не только правда, но и справедливость требует, — Лавруха пристрастился к чтению. Читал все подряд, иногда задавал мне неожиданные вопросы. По поводу Герасима, утопившего собаку: «Ему нема было шо делать?» Когда с трудом и консультациями осилил «Короля Лира», с недоумением спросил: «Скажи, неужели старому мало было себя, шоб ещё девкам портить ихнюю жизнь?»

Когда во всенародной книге «Как закалялась сталь» дошел до той страницы, где насквозь больной Павка в жуткую непогодь и в непролазных условиях строит узкоколейку, удивился: «Клян, им шо, тогда больничный не выдавали?»

...Почему я в трамвае вспомнил Лавруху? А потому, что увидел, как здоровый и красивый хлопец, наклонившись к тоненькой и красивой дивчине, — сказал:

— Вот все почему-то думают, шо штангисты тупые и необразованные болваны. А это совсем не так! Я вот читаю и Толстого, и Достоевского, и Шекспира... Только не понимаю ни хрена...

Девушка очаровательно улыбнулась:

— Если нравится, то понимать не обязательно.

Девушка была удивительно похожа на мою будущую жену. Но тогда я этого не знал. Да, господа, да: ассоциации бывают не только назад, но и вперед. «Если нравится, то понимать не обязательно»... Это, я вам скажу, не для всякого понимания. Такой ответ могла дать только женщина.

* * *

— Остановка «Гостиница «Пивденный Буг»!

Тут я был пойман той еще ассоциацией... Вы уже знаете, что ехал я на радостную встречу с Исааком Гершем, с Изей. Не виделись целый год. На зимние каникулы ни он, ни я приехать не могли — не было денег на билеты. А тут — почти два месяца не разлей вода. А вот она, остановка: «Гостиница «Южный Буг». И — то, о чем я уже сказал: ассоциация вперед. И одновременно — ассоциация назад.

Я вспомнил один «глупый» эпизод — начальные ноты нашей алкогольной героики — лет нам было по тринадцати — хотелось походить на героев нашего времени. Собрались у Герша, мама на работе, вишневой наливки в доме — два ведерных бутыля. Наливая в какой уж по счету раз в граненые стаканы сладкий липкий и хмельной напиток, не удержали бутыль... Помыли пол Гершу наливочкой. Запах... Преступления не спрятать. Остались вместе с Исааком грудью встречать его маму.

— Тетя Сара, мы тут... нечаянно разбили бутыль и помыли ваш пол вашей наливкой...

— Хорошо, дети, но следующий раз, когда вы захотите помыть мой пол, приносите свою наливку.

Хорошая мама и хороший совет. Запомнилось. Память чепухи не оставляет. А теперь ассоциация вперед.

Рассказал мне об этом, удивительно смущаясь, мой друг, когда мы были уже взрослыми — куда взрослее: женатые. Приехали с детьми, женами на «визит» к батькам. Оторвавшись от родных и родственников, на оперативном просторе родного города решили зайти в ресторан «Южного Буга» пообедать, выпить, поговорить, вспомнить...

Во время этой вольницы, уже слегка подшофе, с налетом легкой же печали сказал мне Герш:

— Это было здесь...

Он тогда мог выбирать. Его, молодого доктора наук, наперебой приглашали читать лекции во многие научные институты Союза. В Виннице только-только открылся такой — «кибернетический». Грех было не воспользоваться случаем: еще жива была старая мать Исаака. Он приехал из Москвы на своей машине и снял номер в «Южном Буге». В наших стандартных, хотя и двухэтажных бараках, не было не только туалетов и ванных комнат, но и горячей воды. Подольское лето — это жаркое лето, и даже винничанину, но отвыкшему от замостянской цивилизации, трудно было не освежиться хотя бы раз в день. Для того и снят был гостиничный номер.

«Одного разу», как говорили на Замостье, после лекции, по дороге домой, к маме, изнывая от жары, решил наш доктор принять в своем номере душ и — где наша не пропадала! — в прохладе гостиничного ресторана взять сто граммов охлажденной водки и — закусить их отварной осетриной с хреном! Такая вот шальная мысль пришла в ученую голову. Тогда в ресторане еще могло пофартить на такую закуску.

Вожделенно встал он под прохладные тугие струи, постанывая от удовольствия, медленно поворачиваясь, подставляя воде каждый квадратный сантиметр крепкого, налитого мужской силой тридцатилетнего тела. Промокнув воду малолитражным полотенцем, надел трусы и, выйдя на балкон, стал окончательно обсыхать. С седьмого этажа хорошо был виден город, красивый, зеленый. Прямо под гостиницей тяжелой теплой водой сплывал к Николаеву Буг...

Редкое чувство пребывания в раю на земле...

Панорама слева возвращала в нормальную реальность, такую еще близкую к войне... Латинские фавёлы, негритянское гетто, руины Брестской крепости, а на самом деле большой прибугский район винницких лачуг, над которыми возвышался уцелевший в войну кинотеатр «Подолье» и дореволюционной постройки облезлые корпуса знаменитой Винницкой конфетной фабрики. Она снабжала всю Винницу и не менее знаменитый замостянский базар дешевым ворованым шоколадом.

Упругий, молодой, излучающий, вошел Герш в прохладный гостиничный ресторан, где царила тишина и почти не было посетителей. Наш доктор был не тот книжно-киношный рассеянный ученый, который надевает два левых тапочка; глаз у нашего доктора был дай боже. Девушку он увидел еще с порога. Она сидела одна и ждала исполнения заказа. Он подошел и спросил, может ли составить компанию прелестной девушке. Она улыбнулась очаровательной улыбкой и сказала, что компанию ей столь галантный кавалер составить может.

Что и говорить... Она действительно была красива и, оказалось, умна. Работала инженером на соседнем с гостиницей заводе и зашла сюда пообедать. «В обеденное время здесь совсем не дорого», — с обезоруживающей простотой сказала она.

Вечером они встретились в том же ресторане, пили хороший армянский коньяк и редкое марочное вино «Изабелла». Ели всякие вкусные вещи, в том числе и любимую доктором отварную осетрину с хреном. Много танцевали... Во время танцев Исаак понял, что пропадает. Он не был обделен женским вниманием, но эта девушка оказалась его женщиной.

Долго еще после той встречи он не мог погасить жгучее желание все бросить, украсть ее и уехать куда угодно, только с ней...

После танцев они гуляли по-над Бугом... Он целовал ее так, словно никогда до этого не целовался. Она вся пахла какой-то горькой мятой и нежным жасмином. Они вернулись в его номер... Он был ошеломлен: она ни разу не сказала «не надо» и никак не сопротивлялась — хотя бы для приличия, — только в тот самый миг напряглась и почти неслышно простонала...

Она была девушкой. «Ну, что ты так испугался? Я не потребую жениться на мне и не буду писать жалобу в партком твоего института. У меня через неделю свадьба. Если ты не против, я эту неделю проведу с тобой».

Можете представить состояние моего друга, в душе которого ураганно смешались все возможные чувства. Он ничего не понимал, а все оказалось простым, потому что было жизнью. Жизнью того времени.

Они жили в старой хибаре, вросшей в землю, — мать и четыре дочери. Она была старшей. К моменту событий, о которых идет речь, ей было двад-

цать пять лет. Четвертая сестра появилась на свет в сорок пятом: ее зачали, когда отец после ранения получил месяц отпуска. Дочь он не увидел — погиб уже после победы, в Чехословакии.

Даже в то время, на том фоне, эта семья жила непередаваемо бедно. Соседи приносили им какую-то еду, девочки ходили в обносках соседских детей. Как могла, помогала школа. «Есть хотелось постоянно...» — сказала она.

Мать, еврейская мать, выстилаясь на бухгалтерской работе в какой-то инвалидной артели, понимала: если что и спасет младших, то только образование старшей или ее состоятельный муж. Она готовила старшую к закланию. Так Фаина стала инженером и невестой немолодого уже и некрасивого человека, который заведовал областной овощной базой. Сваха, древняя еврейка, сказала матери: «Мадам Цейтина, богаче его бывал только Потоцкий. Вашая дочь будет купаться в чем захочет. А мне вы, с Божьей помощью, дадите только пятьдесят рублей». Учитывая, что инженер получал тогда сто двадцать, сваха не нахальничала. Скорее всего, это был ее взнос в спасение этой семьи.

Познакомившись с женихом, который готов был на все, только бы иметь такую жену, Фаина, увидев глаза матери, дала согласие. Свадьбу назначили через неделю в ресторане «Пивдённого Буга». «Раз у меня такая невеста — гулять будет вся Винница!» — сказал лысоватый жених, и глаза его блеснули.

Ночью она отпаивала мать валерьянкой, а та билась в истерике и причитала: «Что я с тобой сделала, майн кинд!» Утром, после зарядки, — еще недавно девушка была гимнасткой-перворазрядницей, — она сказала себе: «Если мое тело будет принадлежать ему всю жизнь, то моя девственность и одна неделя — тому, кто первый мне понравится и захочет меня. Это будет справедливо».

Таким первым оказался мой друг Исаак Герш.

— Как своё отдавал в чужие руки... И так долго помнится... — сказал он мне. Если бы не короткий «трамвайный» жанр, эта высокая и горькая история могла бы стать полноценным романом об одном мгновении сбывшейся, но не состоявшейся любви.

* * *

Народу поменьшало, после «Пивдённого Буга» многие вышли. Вагон стал прозрачным. Освободились места. Я сел. Напротив оказался уставший старик. Он смотрел в окно. Вагон кидало так, что невольно возникала мысль: сейчас соскочит с рельсов... Видя, как меня мотает, старик сказал:

— Машина еще ничего, хотя мотор с одна тысяча восемьсот девяносто шестого года Петербургской электрической компании. А рельсы давно не перекладывали... С войны. Старики, конечно, выдерживают. А молодых жалко... Правда, до войны было, с этого поворота и разгона прямо с моста вагон нырнул в Буг. Нет, никто не утоп, только трамвай... А после войны еще не нырял... А вы знаете, что в Виннице есть много счастливых людей. Они живут свою жизнь с женами и детьми, а у многих есть и внуки...

Откуда взялся этот старик с памятью о ныряющем трамвае, с жалостью к молодым, которым бы его пожалеть и которые трамвайной тряски не замечают, потому что рядом с ними и напротив них такие загорелые девичьи ноги и такие свежие, как только что с яблоневой ветки, груди...

Старик посмотрел на одну из студенток, и лицо его сморщилось, а глаза стали далекими...

Кто он, откуда?

...Он видел в своей жизни много счастливых людей — был гравером. В Виннице было много граверов. Мы привыкли, а приезжему человеку могло

показаться, что каждый житель города хотел оставить кому-то на память хотя бы один подарок с вечной надписью. Я встречал такие: «Ясного неба и скибочку хлеба!» — это на дне суповой тарелки. На лезвии самодельной финки с наборной пластмассовой ручкой: «Вася, вспомни суку Гитлера!» Или: «Чтоб все ночи я снился тебе очень», — на одном из металлических шаров, навинченных на спинку кровати.

Старик видел много счастливых людей: он гравировал формулы счастья к юбилеям, дням рождения, свадьбам, праздникам.

Его жену уморили в гетто, а он остался жить. Оба его сына погибли на войне, а он остался жить... И ему осталось оплакивать чужих людей. Может ли быть что-нибудь печальнее и окончательнее?

Однажды ему дали путевку в дом отдыха. Он ехал и не понимал, куда и зачем. Он устал жить и хотел поскорее встретиться с женой и мальчиками.

...Он ехал в трамвае и смотрел на загорелые девичьи ноги, но это не имело никакого отношения к чувствам, возникающим у мужчин, когда они видят молодых женщин. Это было воспоминание о самой жизни, о радости каждого дня, о том времени, когда он знал свое счастье. Сейчас он уже не жил — он был свидетелем чужого счастья. Одна из девушек посмотрела на него, и он почувствовал удар в сердце... Нет, то была не боль, как при инфаркте, которую он уже испытал. То было последнее, судорожное движение умершего собственного счастья; последняя попытка погасшего вулкана рвануться кверху мощью и светом чувств, — но огня уже не было.

«Как счастлив тот, кто ждет эту девочку дома...» Странное, давно забытое переживал сейчас старый гравер: он смотрел на девушку, и ему хотелось заплакать, но плакать он уже не умел...

Кто он, откуда? Я столько раз ошибался во многом, что прожил, но, наверное, в этом старике, придумывая ему жизнь, не ошибся — он пришел к нам из справедливости, такой редкой субстанции Космоса. Чтобы напомнить.

* * *

До моей остается две остановки. Обрывки-осколки разговоров в трамвае номер один:

... — И шоб сад был большой, обязательно. И вишенья шоб было много. Оно, когда цветет, то на душе свадьба.

... — Вера? А шо ей сделается. Торгует газировкой, экономит сироп и газ. Крутись колесико — бежи сармак. Только вот ноги опухают: стоять надо много и на жаре... А так — шо ей сделается. Уже двух дочек выдала.

... — Когда ко мне приходят гости, то я радуюсь, а если нет, то я радуюсь еще больше.

... — Ты не права. Безвыходное положение, это из которого есть-таки один выход.

... — Слишком трезвый в этом мире не жилец, надо быть немного выше прагматизма.

... — Дядя Меер... Как хто? Зямин папа, который экспедитор на складе. Так он всегда празднует День шахтера. А-а... Потому, что все может достать из-под земли.

... — Прочитала «Повесть о настоящем человеке» на английском языке — совсем не то...

— А это потому, что наши беды на другой язык не переводятся.

... — Понимаешь... с одной женщиной чувствуешь себя как-то одиноко...

— А это потому, что форма женщины и есть ее содержание. Содержание надоесть не может, а форма — может. Отсюда и чувство одиночества...

... — Надо читать науку логику. Я усвоила только два правила и один вывод и — живу счастливой жизнью. Слушай, подруга, и запоминай. Первое: мелкие тревоги — это пустяки. Второе: все тревоги — мелкие. Вывод: все тревоги — пустяки. Жизнь прекрасна!

... — Боря, я нашел новый способ разбогатеть!

— Ша, у меня ты уже одалживал...

... — Клара сказала, шо будут делать какой-то рентген и какую-то кардиограмму... Это очень больно?

... — О! Так ваши пьют до зеленых человечиков, а мой пьет еще и с ними.

И тут на весь трамвай прозвучал лозунг, видимо, подвыпившего баритона:

— Сильнее, выше, трезвее!

Трамвай зааплодировал — трамвай имел юмор: он ехал по главной улице моей Винницы.

Я встал и, как предписывают трамвайные правила, приготовился к выходу. И тут кто-то легонько дотронулся до моего плеча. Это была та старая еврейка, которая не соглашалась с решением зятя назвать котенка Изей.

— Вы на следующей выходите?

— Да.

— А куда вы потом пойдете?

К тому времени я уже некоторое время жил не в Виннице и, надо сказать правду, несколько потерял в скорости реакции. Через секунду ответил:

— В парк...

— И шо вы там будете делать?

— Меня там ждет школьный друг, с которым мы давно не виделись.

— Ой, как интересно! Ваш друг из порядочной семьи?

— Очень. Мама уборщица, а папу убили на войне.

— Да, это порядочная семья... Вэй з мир... Куда ни посмотри — везде война... А шо вы будете делать в парке?

— Найдем девочек, угостим их мороженым и пойдем танцевать.

— Таки правильно! Только смотрите, шоб с этих танцев не получились дети, а то будет еще одна забота вашим мамам.

Трамвай в это время проезжал мимо «Муров» — так назывались остатки стены средневековой крепости. На серых нетесаных камнях белилами было выведено: «Вася, shop ты сдох! Ленка! будет! моей!» Вот так, с восклицательными знаками. И никаких сомнений!

— Тислах лану... — сказала старуха, когда я выходил. На древнееврейском языке это означало: «Благослови нас».



ЛЮДМИЛА ШАДУКАЕВА

Два кубка

Разговор

Юрию Кузнецову

Спрошу: «Ты жил в янтарном веке?»
Ответишь: «Жил».
— Кого любил ты, ясноликий?
— Я всех любил.
— Для одного — не слишком много?
— О! Вовсе нет!
— Ужель не встретил недотрогу?
— Их просто нет.
— Хвастун. Позволь мне усомниться.
— Тогда — вопрос.
— Ведь есть одна, что только снится?
— В венке из роз.
— И сколько лет ты так вот бьешься?
— Сто тысяч лет.
— И все никак не разберешься?
— Как видишь, нет.

Спрошу: «Встречал в янтарном веке?..»
Ответишь: «Да».
— И он похож на человека?
— Как дважды два.
— Ты говорил с ним о заветном?
— Да, говорил.
— Что он ответил? Был ли светлым?
— Он все забыл.

Спрошу: «Когда тебе обратно?»
Ответишь: «В ночь».
— Возьмешь с собой? Вот будет знатно!
— С дороги прочь!
— Как неучтив ты, ясноликий.
— Знать, быть зиме.
— Что довело тебя до крика?
— Любовь к тебе.

Два кубка

Стоят на нижней полке,
(блажь ведь чистая)
два кубка…
Неоконченный мой спор.
Фантазия прозрачная,
искристая.
Один — хрусталь,
другой — хрустальный вор.

Стоят давно.
Покупка-неожиданность.
Изучены
от края и до дна.
Один размер,
одна и та же видимость,
узор один,
вместительность одна.

И только, если вдруг,
совсем нечаянно,
заденешь —
зазвучат не в унисон.
Один, волнуясь
прямо до отчаянья,
другой лишь звяк —
и в равнодушный сон.

В свой мир, в свой блеск
и в самосозерцание.
Что, мол, кому-то
до моей души?
А первый —
все еще само звучание,
смеется ль, плачет,
и звучит, звучит…

О, сколько раз
я от обиды плакала!
Настраиваясь долго
и светло,
ждала хрусталь,
а под рукою звякало
простое,
не поющее стекло.

А то, наоборот,
щелчком презрительным
ударю по красивому стеклу,
оно же чисто,
звонко, доверительно,
так щедро —
по нахальству моему.

Как различить?..
Должна же быть заметочка:
вот здесь — стекло,
а это вот — хрусталь.
И знаком этим
розовую веточку
я ставлю в звонкий
песенный бокал.

Ну вот и все…
И выброшу сомнения.
А память сердца,
как шальной магнит,
вдруг подтянула к горлу
озарение —
ведь в людях точно так
душа звенит.

Дэн

Когда бы жизнь собой не удивляла,
Не поднимала, не сбивала с ног,
Держу пари, тогда б не сорвала я
Горсть этих странных,
очень нужных строк.

А так, стремясь исполнить
предсказанье,
Не знаю уж каких там бурь и гроз,
То ли в награду, то ли в наказанье
Мне был подарен расчудесный пес.

Он был сначала мягкою игрушкой,
Подаренный мне в складчину щенок.
Так сладко спал на розовой подушке!
Так лаял на рождественский венок!

И всюду лез своим прохладным носом,
И обувь грыз, и рвал обивку стен.
Он вырос,
но не стал ни злым, ни грозным
Ротвейлер мой с красивой кличкой Дэн.

Как часто, по небрежности, перчатку
Бросала я на стол или бюро
И, вспомнив о его собачьей хватке,
Спасать летела замшу и шевро.

Но вместо утонченного шедевра,
Воспетого поэтами в веках,
Я находила ком горячих нервов
В его открытых молодых зубах.

И с горечью я тот комок бросала
В один из черных ящиков стола,
Где строчки стихотворные устало,
Осколки колдовского ремесла,

Томились в ожиданьи лучших весен,
И лучших лет моих, и даже зим…
И говорила я: давай-ка бросим
Мы все?..
Но ты, мой пес, неисправим.

И измочалив в ярости перчатку,
Ты звал меня из дома в лучший край.
С души моей и с глаз срывал заплатку
Твой чистый, звонкий и свободный лай.

Мы открывали двери цитадели
И шли гулять, надев и взяв с собой
Все то, что сгрызть, по счастью,
не успели.
И не успели сжечь в обиде злой.

Колдунья

Лечил от стихов любимый,
Завистник лечил и поэт.
Да только напрасно все, мимо…
Спасения не было, нет.

К колдунье ходила: «Ведунья,
Избавь от болезни, лечи».
Смотрела в глаза мне колдунья,
Калила железо в печи.

Железом водила по строкам:
Анапест за трех голосил,
Горел амфибрахий высоко…
Смотреть на то не было сил.

Всю душу каленым железом
Два дня выжигала она,
Пугала и Богом, и бесом…
На третий меня прогнала.

Сказала: «Иди без огляда!
Нет силы моей и травы.
Иди себе… Денег не надо.
Не плачь… Помолись и живи».



НИНА МАЕВСКАЯ

Нарисуй мне ветер

Рассказы

Счастье

Вы снова об этом... Знаете, чтобы рассуждать на такие темы, надо быть философом — не иначе, а я — просто женщина, да и только. Но по-своему, по-женски рассудив, скажу вам, что счастье — это... младенец, такой милый, нежный, ты его прижимаешь к груди, ласкаешь, а рукам нет веры — не сделать бы больно, не уронить бы. Гости пришли — свои все, хочется вынести, показать... И боязно — кабы не сглазили. Вот и я, не будь такая суеверная, не живи во мне извечная, затаенная язычница, я, вероятно бы, сказала, что счастлива. Постучу сейчас косточками пальцев по дереву...

Счастье — птица вольная и пугливая. Неосторожное слово, движение — фыр и улетела. Не догонишь, не вернешь. Горько и досадно его терять, а еще горше самой сглазить, отпугнуть...

Господи, какой жуткий страх вдруг окутывает душу, что-то изнутри подсказывает: не говори, не пиши, вынь сию же минуту из машинки этот, еще почти чистый лист бумаги, изорви его в клочки, не береди душу, не говори об этом никогда! Замри и замолкни!

Посижу молча, отвлекусь, прогоню страх и стряхну наваждение, гляну в окно на свинцовый разлив Свислочи, на островок с одинокой часовенкой. Сюда иногда, и все почему-то в непогоду, заглядывают молодожены. Вон невеста — как ветер рвет ее фату! — дрожа от холода, роняет букетик кроваво-красных гвоздик, будто тоже суеверно откупается от той далекой, а потому чужой войны. Погибшим на ней и возведен этот памятник. За руку жениха и — быстрее отсюда к свадебному эскорту машин — на свой праздник, к своему счастью.

А я ухвачусь взглядом за острые, зазеленелые шпили Свято-Духова собора, вырвавшегося в небо над обновленной стариной Троицкого предместья, устремлюсь к крестам Червоного костела — Бог один — и, скрестив на груди руки, шепотом — Он услышит — выскажу, выпрошу потаенное.

«Господи, милостивый и милосердный, прости меня, грешную, что тревожу тебя, ведь не за себя прошу, прошу за душу чистую и светлую. Защити и сбереги его, укрой от лихой беды, от болезней и напастей, от злых людей и зверя хищного! Сбереги от холодной жестокости любовь и приязнь нашу, наше взаимопонимание».

Признаюсь и вам: меня не любил так ни один мужчина. Ни один... И я вновь живу, я — воскресла, я — радуюсь, я — волнуюсь, я на крыльях лечу на встречу с ним. Обычно это происходит по пятницам. Наступает удивительное время, когда я забываю обо всем. Очереди, цены, политики, парламенты — это все такая мелочь, не стоящая внимания. Главное он — мой ненаглядный. Мы гуляем в парках и скверах, а в дождь — под одним зонтиком, смеемся, рассказывая друг другу забавные истории, говорим, говорим — не наговоримся... А потом он предлагает: пойдем к тебе. И мы идем или едем

в небольшую уютную квартиру, окна которой глядят на Свислочь, в глубокое вечернее время до дна просвеченную лучами электрических огней. В полутьме он любит смотреть на реку, на это необычайное свечение, словно северное сияние, отраженное в воде. Моя же душа молчит: я знаю — река грязная. Я окунула в нее руки, когда мы гуляли на том островке, да еще взяла на ладонь прибитые волной к песчаному берегу ракушки, присела, стала полоскать их в воде, прежде чем показать ему. Острый смрад заставил отпрянуть, и рука моя, как я ни терла пожухлой осенней травой, носовым платком, воняла, словно я чистила свинарник. Это мне наказание за желание пощупать, дотронуться руками. Смотри и радуйся: плывет, поблескивая на солнце, река, что больше надо. Но я помню, всегда помню — река отравлена. И смотрю на нее, как на пластмассовый цветок. Кстати, у него на этот счет удивительный иммунитет. Увидев как-то в моей руке ромашку, он прежде всего спросил: не искусственная ли она. А может, это просто мужское представление о мире. Им, видно, не так тяжело разочаровываться, как нам, женщинам.

Нет, меня не любил так ни один мужчина — так чисто, так нежно, так преданно. Потому так милы мне наши субботние пробуждения, когда не надо никуда торопиться, можно немножко понежиться в постели. И сон, и не сон, а легкая и сладкая, как мечты, дремота еще качает меня на своих плавных волнах, а он, жаворонок мой, просыпается рано, обвивает рукою мою шею. Его дыхание, как шелест нежных крыльев бабочки, что села на цветок и раскачала его у самого моего уха.

«Королева, — шепчет он ласково, чтобы разбудить меня, потом повторяет погромче: — Королева…».

Глаза мои не раскрываются, боясь света или досматривая чудесный сон, руки же тянутся ему навстречу, ищут его в белой пене простыней. Сухими губами я касаюсь его щеки.

«Целуй меня еще», — просит он и подставляет другую щеку. Обнявшись, мы затихаем на какой-то миг, передавая друг другу свою несказанную нежность, свою радость от встречи в новом дне. Он отодвигается и хитро заглядывает в разрез ночной сорочки. «Я знаю, что у тебя там, — не прячь. Там два пакета молока». И мы смеемся, возимся, шутим. «Королева, не пора ли вставать? Иди, пожалуйста, вари кашу». Ну как ты не вскочишь после таких слов и, накинув на сорочку халат, не помчишься на кухню. За завтраком мы решаем, в какой сегодня сходить театр — оперный или музкомедии. А если оказывается, что все мы слушали и смотрели, да не один раз, просто идем гулять. Гуляем по набережной — неважно, идет снег или дождь, а солнце светит, так и сам Бог велел, — гуляем в парке, где у нас свои заветные уголки, или просто бродим по узким улочкам и лесенкам Троицкого предместья, дышим стариной, рассматриваем узорчатые, как кружева, решетки на окнах, кованые тяжелые ворота, маленькие, будто игрушечные домики с мансардами, заходим в корчму. О, это и вправду сказочное место! Не здесь ли ночевал мальчик, что нес домой петушка Золотое горлышко. А потом через парк выходим на проспект Скорины. Он следит за машинами, благо они теперь разные — сбежались сюда со всего мира. «Смотри, пошла какая красавица... Тебе какие больше нравятся — светлые или?..» — «Мне? Цвета вишни». — «Хорошо. Покажи мне, если встретится. А марки какие — «БМВ» или «мерседесы?» — «Сказала бы, да не знаю. Наверное, «Жигули». — «Знаешь, я скоро подарю тебе машину, какую ты захочешь. И поедем... Куда мы с тобой поедем?» — «Не знаю». — «А я знаю — к морю. В Анапу или Мисхор». — «О, теперь билет туда очень дорого». — «А зачем нам билет? Мы поедем на машине. И я буду за рулем...» — «Хорошо, мой милый. А теперь

вылезай из машины, зайдем в булочную — у нас нет хлеба», — говорю ему, смеясь. Зашли и купили. Идем дальше.

«Давай еще зайдем в банк». Я колеблюсь: зачем, у меня там — никаких дел, за квартиру заплатила, на счет не кладу, денег нет, а те (да, я когда-то была богата!), что там лежат, превратились в пыль. Но он открывает дверь. «Почему ты не хочешь зайти в мой банк? Заходи, не бойся. Мы только посмотрим, как там работают. И цветы... Видишь, растут, как деревья». Правда, цветов, вазонов в банке много, растут они, как в джунглях, только миниатюрных. Видно, у кого-то из служащих добрая рука, которая отдыхает от мерзкого подсчета чужих денег, поливая эти цветы. «Я и не знала, что у тебя свой банк». — «Рядом у меня еще и аптека, и почта. Но мне нужен магазин. Я обязательно его тут построю». — «У меня нет сомнений. С твоей энергией...» — «Дети будут рады. Правда? Мороженое, жвачки, шоколад — пожалуйста!»

Ему очень нравится это «пожалуйста». Он несколько раз счастливо и с удовольствием повторяет это чудесное слово, разводя и протягивая руки, будто раздает сласти: пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста...

Я так люблю, когда он веселый, в хорошем настроении он такой разговорчивый, и я узнаю много нового. Он ведь охотно говорит с каждой собакой, встречающейся нам на пути. «Собака, собака, ты куда идешь одна? Нельзя собакам ходить по городу без хозяина. Заберет кто-нибудь чужой — будешь скучать». С вороном, что сидит, нахохлившись, на дереве. «Ворона, слышишь, держись крепче лапами. Уснешь и свалишься». Ворон только моргнет мудрым старческим оком, мол, чудак, и снова погружается в забытье. А он подойдет в парке к самому красивому (на его взгляд) и могучему дереву, обнимет его, прижмется щекой к шершавой, обветренной коре и попросит: «Дерево, дерево, дай мне силу». Постоит секунду, обняв его, отстранится, глянет, запрокинув голову, на вершину, будто в лицо дереву, погладит ласково на прощанье: «Спасибо, дерево!»

Вот такой он, мой любимый. При каждой встрече я открываю в нем что-либо новое. И эти открытия — глоток радости, от которой теплеет моя ожившая душа. Но извечный суеверный страх не позволяет мне радоваться так непринужденно и открыто, как радуется он. Иной раз это вызывает у него тревогу, закрадываются сомнения. «Я так ждал тебя, — шепчет он, прижимаясь к моей щеке, целуя ее. — Я думал, ты не придешь». — «Ну как же? Я ведь люблю тебя!» — «Я тоже тебя люблю, очень люблю».

Наши объятия и признания бесконечны. «Я скучал без тебя. Думал — ты испугаешься дождя». — «Разве я когда-нибудь чего-нибудь боялась?» — «Ты очень смелая — я знаю. Помнишь, поднялся такой ветер... Вырвал у тебя из рук зонтик...» — «Да, помню. Началась жуткая гроза, мы едва успели спрятаться в маленьком кафе». — «Это было чудесно. Хозяин нас угощал пирожными. И я думал: пусть этот дождь никогда не кончается, а мы будем сидеть и смотреть телевизор». — «Вот он и идет...»

И мы выходим в зачастивший в это лето дождь. Но что ему дождь. Его поэтическую натуру охватывает радость, и снова проглядывает нежность ко всему на свете, живому и неживому. А дождь забивается в щели, тонкими спицами, как минер, проверяет газоны. «Дождик, дождик, что ты ищешь тут, на грядке? Может, морковку?»

Я вспоминаю прошлую осень, дачу, наклоненные ветром кусты цветущих хризантем, опустевшие грядки, только на одной — вымытая дождем, как коралл в темной воде, оранжевая морковка. Мы приникли к окну. По стеклам, как по щекам, текут безутешные слезы, мешая смотреть на мокрый сад, потемневший и унылый, как последний нищий в отрепье когда-то богатых и шикар-

ных одежд. Мы молча прощаемся с ним до будущей весны, ждем машину, которая увезет нас, озябших и грустных, в город, в чуточку забытую, но привычную жизнь. «Давай никуда не поедем. Будем с тобой здесь жить». Голос его набряк грустью, глаза — дождем. «Осень... Потом — зима, холод...» — не соглашаюсь я. «Ну и пусть. Я буду топить печку, согревать тебя». — «Нам будет тоскливо...» — «Мне никогда не бывает тоскливо с тобою, — руки его обвивают мою шею. — А если, — глаза засветились новой идеей, — а если станет скучно, мы возьмем к себе соседскую собаку. Они, может, оставят ее здесь...» — «И все же давай быстренько собираться. Ах, какие холодные у тебя руки. В городе уже включили отопление». — «Тогда я поеду прямо к тебе».

Он берет в руки гитару, старую, расстроенную гитару, которую, как и другие ненужные, но дорогие сердцу вещи, свезли на дачу. Он терзает ослабленные струны, не желающие подавать ни звука, натягивает их.

«Давай споем, — и начинает первый. — В саду гуляла, цветы сбирала, кого любила, причаровала...» — «Причаровала сердце и душу. Кого любила, любити мушу...» — сливаются наши голоса, тихие, чуточку грустные и слаженные. Мы часто поем эту песню — то задорно и озорно, будто весело танцуем что-то вроде польки, то тягуче, как два утомленных путника, поддерживающих друг друга в нелегкой дороге, а теперь — будто перед нами зажженная свечечка, и мы еле дышим, чтобы не слетел трепетный лепесток ее пламени и не утонул в темноте ночи. И все же допеваем до конца. Бывает, кто-либо, слыша наше пение, удивляется, что мы знаем все слова такой длиннющей песни. Да, песня, как жизнь, ее надо петь до конца.

Мы минуту молчим. Он обнимает меня, заглядывает в глаза. «Какие у тебя глаза?!» Не знаю, спрашивает он или удивляется. «Вероятно, зеленые». — «Да, зеленые-зеленые. Я никогда не видел такие глаза. Как салюты». — «Это и есть салюты. Моя душа в них торжествует, что ты со мной». Я прижимаю его к груди. Он освобождается, снова смотрит мне в глаза. «А ты не разлюбишь меня? Никогда-никогда?» — «Да, никогда-никогда. Обещаю. — Целую его в горячую щеку. — А ты?» — «И я тоже. Честное слово. Давай никогда друг друга не разлюбливать. И никогда-никогда не умирать!» — «Давай». Мы нежно обнимаемся и целуемся. «Ты — мое счастье», — шепчу я. «А ты — мое», — тоже шепотом говорит он.

А под окном урчит машина — приехал Петрович. Мы, одетые, выходим на крыльцо, запираем дверь.

«Спасибо тебе, добрый наш дом!» — говорит он. А я под порывами ветра, смешанного с дождем, поднимаю с земли сиреневый куст хризантем. Удивительные цветы — дождь и слякоть, а они цветут. Хочется сказать: как и я, но говорить о себе так — нескромно.

Снова я жду вечерних звонков и наших встреч по пятницам.

А сегодня он очень серьезен и чем-то недоволен: «Все, начинаем работать. Мне надо немного пописать. И ты садись, пиши свои сказы-пересказы. Может, подаришь мне мотоцикл».

Да, я обещала ему купить мотоцикл, когда получу гонорар. Но вот беда — жизнь поворачивается так, что мотоциклы на быстрых скоростях цен мчат от нас дальше и дальше, а гонорары только печально смотрят им вслед. Но чувствую, что дело вовсе не в мотоцикле. Волнует его что-то иное. Но что? Мы молча сидим каждый над своими бумагами, и вдруг он не выдерживает молчания: «Ты совсем не занимаешься воспитанием своего сына!» — «Он чем-то тебя обидел? Чем?» — «Я не хочу говорить». Он отводит взгляд. Так ведет себя человек гордый, знающий себе цену. Потом снова обращается ко мне: «Ты знаешь — он снова начал курить. И курит по утрам, по дороге на

работу. Я наблюдал...» — «Говоришь, он курит? Сидит день у компьютера, да еще и курит! — возмущаюсь я. — Губит здоровье!» — «Я ему тоже это говорил: курить вредно! А еще он покупает самые дорогие сигареты, с верблюдами на пачках. Лучше бы жвачку жевал...» — «Ну, это тоже не очень полезно — набивать слюной желудок». — «Покупал бы «Орбит» без сахара. Это полезно для зубов». — «Ты тоже веришь всякой рекламе. А это хорошо, что ты мне сказал, — я с ним поговорю». — «Да, тебе надо больше заниматься его воспитанием. Он в последнее время вообще стал невыносим». — «Послушай, может, у него неприятности на работе? Он ничего не говорил?» — «Нет». Он задумывается, потом предлагает: «Может, мне позвонить его начальнику?» — «Думаю, что не стоит. Я сначала сама поговорю с сыном, а ты уж сразу звонить начальнику». — «Вчера даже хотел позвонить президенту». — «Отчего же?» — «Что он там себе думает. Цены просто взбесились. Скоро вообще будет коллапс». — «Мы же с тобою договорились — ни слова о политике». — «Но все вокруг говорят». — «Ну и пусть, что нам до того. Нам до этого нет дела, потому что... — я жду его подсказки, — потому что...» — «…мы любим друг друга!» — радостно дополняет он, обнимая меня.

И правда, для меня ничего не существует: ни взбесившихся цен, ни политических интриг и разборок, ни магазинов, ни транспортной суеты. Все это настолько мизерное, что незачем в такие неповторимые часы об этом думать. Как не думают, видно, те, что едут по улице на украшенных лентами машинах. Едет свадьба... Он провожает взглядом эскорт машин. «Как бы ты хотела украсить свою машину — лентами или шарами?» — спрашивает он. «Зачем?» — «Как это зачем? Мы ведь будем с тобою жениться». — «Но я... замужем». — «Значит, Петрович твой муж? Вы с ним женились и вот так же ехали на украшенной машине. Потом у вас родился сын?» — «Да. Только мы шли пешком, потому что у нас не было тогда машины». Долгое молчание. Мой спутник о чем-то думает. «Он тебя не любит, — грустно, со вздохом говорит он. Я только бросаю вопросительный взгляд. — Поздно возвращается с работы. А по пятницам вообще бросает тебя — идет в баньку. И по городу на машине не катает, а только возит на дачу». Мы снова молчим. Тут есть над чем подумать. «Но я все равно хочу на тебе жениться, чтобы быть всегда с тобой. И ты поговори с Петровичем, — и помолчав, решает: — Ладно, я сам с ним поговорю».

Вечером я слышу их разговор: он все-таки осмелился. «Но ведь она моя жена. Я знал ее еще девочкой. Она и теперь мне нравится», — говорит ему Петрович. В голосе его искренность, которой я тоже всегда верю. Но вот Петрович не выдерживает серьезности разговора: «Зачем тебе эта старуха?» — «Ведь если я на ней женюсь, она будет молодеть и молодеть. И снова превратится в кудрявую девочку, о которой ты рассказывал», — горячо доказывает он. Петрович тяжело вздыхает: «Мальчик мой, если бы это было так, я отдал бы ее тебе навсегда. Если бы это было так!» И меня тоже трогает та несказанная грусть, прозвучавшая в его голосе.

Когда я захожу в спальню, они уже безмятежно спят. И может быть, видят во сне светловолосую кудрявую девочку. А та девочка садится перед трюмо и тихонько, чтобы не потревожить их сон, разглаживает морщинки, причесывает белые — неужто седина? — волосы и удивляется: как же быстро промчалось время, а она даже не заметила.

Вероятно, вы догадались, кто он, мой любимый, мое счастье. Но я суеверная и имени его все равно не назову. Скажу только — знакома я с ним уже четыре года. Когда он был совсем маленький и мы жили вместе с семьей сына, каждое утро слышала — топ, топ, топ — идет к нам в спаль-

ню ранехонько (дети пробуждаются с солнцем), карабкается на кровать. «Кто ты?» — спрашиваю. «Счастье». — «Чье?» — «Мамино». — «Так чего же ты пришел ко мне, иди к ней». — «Хочу быть твое счастье». И добился-таки, стал.

Это настоящее счастье. И буду просить у деревьев и птиц, у моря и ветра, буду беспокоить своей мольбою самого недоступного мне, язычнице, всемогущего Бога: «Святый Господи, Господи Милосердный, заступник наш, сбереги мое счастье, расправь его крылья на полный взмах, дай ему разум и силы пройти жизненными дорогами смело и уверенно, свершить великое добро, большие дела, чего не смогла, не сумела я. Господи, это не просто счастье — это продолжение рода моего. И не только за свое прошу, Господи, сбереги каждый росток человеческий на нашей многострадальной земле.

Нарисуй мне ветер

Е**ва** кончиками пальцев ощутила, как трепещут вены на горячих висках. Сидела так долго. Ах, какие счастливые это были дни! Вот именно — счастливые... Она работала с наслаждением, с каким-то небывалым подъемом, будто шла среди упругого ветра, который почти нес ее, когда кажется, что это не ветер, а крылья за спиной. И вот все кончено... И она на земле. А перед ней вместо рисунка, который видела в мечтах столько дней, просто беспомощная мазня серо-зеленого цвета. А перед глазами — под лучами восходящего солнца — колыхался туман, сникал, цепляясь за тонкие стебельки маков. Лепестки, которые только что увидели свет, еще измятые, вздрагивали, как губы, в которых жила улыбка. В хрустале росы трава у стежек, на том кусочке земли, где она выросла в низком доме, на крыше которого, как пропеллер, вертелся флюгер. Она, бывало, просила отца разбудить ее на заре, когда расцветают маки.

Там, в огороде, где она девочкой рвала молодые, еще набитые ватой стручки бобов, у отца ее, местного метеоролога, стояла на толстом столбике белая алюминиевая тарелка. Ева не спрашивала, для чего это. Она следила, как по кругу упрямо идет божья коровка. Круг за кругом идет и идет.

И Еве очень интересно: сколько можно вот так кружить?

Вот и у нее: каждый день одно и то же, одно и то же, жизнь идет в одном ритме, будто недоученный деревенский гармонист играет «на одно колено», и невозможно выбиться из этого ритма, а выбьешься — не знаешь, что делать, начинаешь топтаться на месте, чтобы снова попасть в такт.

— Ну, о чем думаешь? В понедельник совет. Отдашь?

Ева подняла глаза на Марину Львовну.

— Подумаю, — ответила она. Торопливо свернула рисунок и положила его на полочку над столом. В этом ответе было почти отрицание, но ей просто не хотелось сразу сказать «нет». Она сомневалась и сама: захочет ли кто-нибудь сшить себе платье из такой ткани?

Марина Львовна стояла у кульмана. Рисовала, время от времени подходила к столу, затягиваясь сигаретой. Впервые Ева видела, что Марина Львовна использует геометрию. Обычно она рисует цветы. Марина Львовна стояла к Еве спиной, но говорила так, будто видела ее лицо.

— Ах, Ева, мне кажется, ты еще не представляешь себе до конца своего назначения. Ты художник шелкоткацкой фабрики. Это значит — никакой философии. Мы рисуем ткани…

Ева молчала. Она смотрела в широкую спину Марины Львовны, туго обтянутую шелковым платьем в красные, желтые, коричневые цветочки. «Это, вероятно, тоже она рисовала». Ева уже знала, что Марина Львовна всегда шила себе на память платье со своим рисунком.

Она думала о себе. Откуда эта неудовлетворенность собой? Помнит ту встречу с первой своей самостоятельной работой. Ее высоко оценили на художественном совете, одобрили сотрудники. Но как полыхнуло краской стыда лицо, когда встретила девушку в платье из этой ткани. Какой стала тягостной эта встреча. Почему, не знает сама...

На сердце у Евы было тяжело. Рассказала как-то мужу о своих сомнениях. Об этом неодолимом желании писать что-то значительное. Кажется, тогда он ее понял, сказал: «Подрастет сын, получим квартиру, все бросишь, будешь писать». А недавно упрекнул: «Вбила дурь в голову, что не такая, как все. Что ты талант. А ты просто эгоистка, страшная эгоистка...»

Больно хлестнули ее эти слова… Она замкнулась, как улитка в своем домике, стала недоверчивой и холодной с ним.

— Ева, телефон! — зычный голос Марины Львовны прервав ее мысли.

Узнала знакомый голос. Он говорил тихо, ласково, будто просил прощения. Она прижала к уху холодную трубку.

— Что ты сегодня будешь делать? — спросил он.

Этот вопрос был неожиданным.

— Как — что? — не поняла она.

— Не хочешь ли куда-нибудь пойти? Я могу сегодня забрать Егорку, побыть с ним.

«Да, это последствия вчерашней ссоры», — поняла она.

— Нет, — сказала.

— Тогда пойдем в кино...

— Хорошо, — не дала она договорить. — Бери билеты. Мы будем ждать тебя на трамвайной остановке.

Неровная асфальтированная тропинка извилистым ручьем бежала от штопаного-перештопаного шоссе, где громыхали трамваи, в низину, к стройным соснам. Откуда пришли сюда, к трамвайной остановке, такие горделивые красавицы, которых можно встретить только в настоящем лесу? Нет, это город пришел к ним. Они даже не смотрели на серые коробки домов, только выше заламывали руки, поднятые к небу. Они тихо, без стона умирали, как люди с больным сердцем.

И правда, сухих сосен стояло много. Ева только теперь обратила на это внимание. Хотя и странно — народу столько снует! Каждую минуту останавливаются автобусы, трамваи, и люди направляются по узким, выбитым, узловатым тропкам, что веером расходятся от остановки! Там, за лесопарком, микрорайон с новыми магазинами и еще одно стремительное шоссе.

Ева и Егорка следили за трамваями, но папы не было. Егорка ползал по траве, искал букашек: он очень любил их ловить. Прятал в кармашки, чтобы потом показать детям. А когда начинал хвастаться своими невольниками, их уже не было в карманах, и мальчишки ему не верили.

Ева села на серый пень и смотрела то на красные трамваи, то на Егорку, который уже гонялся за голубями. «Глупенький, верит, что поймает... Детская наивность. Вспотеет только».

— Егорка, — позвала она.

Он подбежал, дернул ее за руку:

— Мама, поймай!

— Не могу я. Что ты, милый!

Она провела ладонью по его потному лобику, и короткий беленький чубчик оттопырился.

— А ты вот так: подкрадывайся, подкрадывайся... — сгорбясь, показывал Егорка.

— Идем, вон папа приехал, — обманула она.

Скрипя тормозами, остановился автобус. Люди расходились — у каждого своя дорожка. Ева глядела им вслед.

Они не интересовали ее. Мелькание машин утомляло, и она отвернулась от дороги. Вдруг вздрогнула, будто ступила на оголенный провод. На мгновение замерло, а потом часто-часто забилось сердце. «Неужели это он? Может, я ошиблась? Ведь я не видела его лица». Она провожала взглядом полного, в светлом костюме мужчину. Держа за руку сына, пошла следом за ним. Сердце билось уже в каждой ее жилке. «Как давно я не видела его...» — удивилась она. И призналась себе, что все эти годы невольно искала его в шумной толпе, на тихих улицах, все надеялась встретить. Просто посмотреть, такой ли, как тогда. Теперь ей показалось, что если не догонит, то снова утратит его надолго, может быть, навсегда.

— Быстрее, сынок, — тащила она Егорку. А он бежал, ничего не понимая, заглядывая ей в лицо.

Ева крепко сжимала руку сына. Егорка, зацепившись за толстые, связанные узлом корни, упал, заплакал. Ева остановилась, подхватила малыша на руки. Вытерла платочком заплаканное лицо.

— Мама, это же не папа! — сказал он.

— Да, я ошиблась, — утешала она сына, грустно глядя на такую знакомую фигуру, что скрывалась за поворотом.

Тихо посапывая, спал Егорка. Ева рисовала, поглядывая то на него, то на лист бумаги. Казалось, она рисует его, но на бумагу ложились легкие линии упрямого подбородка, сжатых губ... Она рисовала почти каждый вечер. Разбухала выцветшая папка. Здесь, на белых листах, были черты знакомых и незнакомых, мелькнувших где-то лиц, детских и взрослых. Ее все больше влекло к сюжетному рисунку. Казалось, что только в нем она могла отобразить что-то значительное — свое, то, что не дает ей покоя, тревожит.

«А что, если связаться с каким-нибудь издательством, взять на оформление книжку?..»

— Ты не спишь? — удивился Анатолий. Ева слышала, что он пришел, слышала, как скрипнула дверь, как стряхнул он дождинки с плаща.

Он стоял у нее за спиной.

— Что за шедевр? — спросил, отбросил край простыни и сел на тахту, где сладко спал Егорка.

Ева отодвинула рисунок, чтобы дать ему получше рассмотреть.

— Ну-к... — пожал он плечами и добавил: — Спать тебе надо больше. Под глазами синяки.

— Знаешь, Анатолий, я решила... — и она рассказала ему о своей идее.

Он слушал внимательно. Потом сказал:

— Ах, Ева, ты наивная, как ребенок. Думаешь, все это так просто. Ты пришла, посмотрели на твои красивые глазки и сказали: «Мы вас давно ждали». Пойми, там тебя никто не знает.

— Я им принесу вот это, — она показала на папку.

— Ну, допустим, тебе поверят. И когда ты все это будешь делать?

— Вечерами.

— А мы с сыном начнем ходить по столовым... Ева, опустись на землю, пойми, ты такая же, как все, только немножко позже других задержалась в небе. В юности все витают в облаках, представляя, что созданы для каких-то высоких идей и свершений, потом потихоньку опускаются. И чем быстрее, тем мягче посадка. Ева, учись ходить по земле!

Она посмотрела на него влажными глазами.

— …И помни, ты, кроме всего, женщина, мать, жена. Мне нужна хорошая жена...

Он попытался обнять ее, но она отстранилась. Губы ее задрожали.

— Ты... Все только ты... Самое главное в жизни — это твои формулы, твои станки, приспособления. Ты из-за них не видишь света. Ты слепой и глухой ко всему, — злым шепотом сказала она.

— Пойми, не так все плохо, — он повысил голос.

— Тс-с-с, — приложила она палец к губам, потому что заворочался и забормотал Егорка.

— Ты работаешь, приносишь людям добро. Егорка ходит в фабричный садик. Я не понимаю, чего ты хочешь, Ева? — тихо спросил он.

— Ты никогда не поймешь.

— Ну, давай бросай рисовать, как ты говоришь, опостылевшие цветочки, рисуй шедевры.

Она встала.

— Идем ужинать.

Он ел. Она сидела и думала о своем. Молчала.

— Ничего, Ева, вот подрастим Егорку, получим квартиру, тогда мы дадим тебе волю. Подожди немножко.

Она не ответила.

«Надо посоветоваться с ним», — решила она.

По проволоке от телеграфного столба и до дома навстречу друг другу, как циркачи, стремясь удержать равновесие, двигались крупные капли. В центре они встречались, сливались и падали вниз одной крупной каплей. Некоторые не доходили до середины, срывались. Чем больше крепчал дождь, тем меньше было надежды на встречу. Она знала, что он любит работать в такие дни. Ева видела его маленькую мастерскую в тихом Западном переулке с приветливой веткой клена в окне. Работал он там не один, а с художником Тихотским, лысым, веселым добряком. Таким он показался ей тогда, когда они зашли переждать грозу. Ах, как она хотела его видеть! Нет, нет, просто так, чтобы убедиться, что жив, здоров. Надо было с ним посоветоваться. Может быть, этим она оправдывала свое желание встретиться? Сколько раз она обещала себе не думать о нем! Но как только выходила на улицу, искала его, надеясь на случайную встречу. «А в самом деле, почему бы не встретиться случайно? Бывало ведь это раньше». Можно сейчас же набрать номер и услышать его голос. «В самом деле, почему бы не позвонить ему? Звонила же раньше». И отнимала руку от телефона. Вдруг он не узнает ее голоса, а может, и вовсе забыл, что она есть на свете.

— Марина Львовна, давайте зайдем на минутку, посмотрим, что теперь земляки наши пишут. А заодно и дождь переждем, — предложила Ева.

На стенах и расписанных под мрамор колоннах висели картины, этюды. Пестрые, написанные большими мазками осенние пейзажи. Ева отошла,

чтобы посмотреть на них издали. Вдруг взгляд ее нащупал в правом углу зала что-то светлое, будто где-то виденное. Она направилась туда. Марина Львовна взяла ее за плечи.

— Ева, это удивительное сходство. Рыжие волосы, черты лица...

Еву охватило волнение, к сердцу подкралась теплота, будто мягкий, пушистый котенок приласкался. Дрожащими губами прочла она надпись: «Художник А. Мирский».

— Вы знакомы? — спросила Марина Львовна.

Ева отрицательно покачала головой. Почему-то не хотелось говорить правду, хотя она понимала, что ей не поверят. «Не может быть, чтобы это было написано тогда? Теперь?! Значит, не забыл, помнит». Радостно забилось сердце, лицо вспыхнуло ярким румянцем. Это сразу заметил цепкий взгляд Марины Львовны. И Ева будто отвечала на ее немые вопросы.

«Любила его?»

«Думала, конец света, когда узнала, что женат».

«Разве не говорил он?»

«Я не спрашивала. Это не приходило мне в голову, он был так молод».

«Разве не собиралась за него?»

«Просто не успела об этом подумать. Все было так мгновенно, будто сверкнула молния, и глаза еще никак не свыкнутся с темнотой».

Они вышли на улицу. Дождь прекратился, только мокрые липы отряхивали крупные капли. Радостно светило солнце.

Встретились они случайно, лицом к лицу.

— Здравствуй, — тихо сказала Ева.

— Здравствуй, — ответил он.

Они остановились на ступенях крыльца. Оба молчали. Неугомонный ветер трепал ее волосы, закрывая лицо, глаза. Она не убирала. Тогда он поправил их сам. Они пошли улицей.

— Вот и хорошо, что вы пришли. — Бабка Мария сразу заторопилась домой. — Отвыкла я с дитем сидеть. Да и не играется он со мной: диковатый очень.

— А где же Ева?

— Спешила куда-то, попросила посидеть, спать его уложить. А баловень не слушается. Говорит, маму буду ждать. Вот и хорошо, что вы пришли.

Анатолия удивило отсутствие Евы. Привык, что она всегда дома, ждет его. На мгновение возникла тревога, потом — досада, что не сможет сегодня закончить свои дела.

Анатолий взял на руки сына.

— Где же мама?

— Сам не знаю. Сказала, скоро придет.

— Ну, ничего, придет. Только давай условимся. Ты сейчас же ляжешь спать, потому что мне нужно работать. Договорились?

Егорка лег. Свернулся калачиком. Анатолий укрыл его, подоткнул одеяло, поцеловал в щеку, тихо закрыл за собой дверь. Сам убрал со стола, разложил книги.

В комнате скупо светила настольная лампа, в стекла окон барабанил дождь. Егорка притих. Мягко льнула к щеке подушка, и от нее шел одному ему известный запах. Так пахнет по утрам, когда мама смоченным в духи пальцем дотрагивается до мочки уха. Егорка уткнулся носом в подушку. Запах был такой сладкий, приятный...

— Папа! — позвал он.

— Почему ты не спишь? — ласково погладил его по голове Анатолий.

— Я не могу уснуть. Где мама?

Анатолий прилег возле сына: так быстрее уснет. Они помолчали.

— Папа, ты тоже слышишь, как пахнут мамины духи? — прошептал Егорка.

— Да. Ты спи.

Егорка притих, уткнувшись носом в подушку, закрыл глаза и тихо засопел.

Ева вскочила в трамвай. Он пересек людную улицу и принялся будить тихий переулок. Летел навстречу той остановке, где стоит дом под пышным кленом. Остановка была все ближе и ближе. Еве хотелось теперь отдалить встречу, еще немножко подумать, послушать сердце, спросить разум. Она вышла из трамвая. «Хорошо, что еще нужно идти. Уймется сердце». Не узнавала она тихий переулок. Старые деревянные домишки отошли в сторону, их закрыли высотные здания. Снесен деревянный заборчик и у мастерской. Теперь можно подойти и посмотреть в окно. Ева остановилась. Она чувствовала, как росло в груди сердце, как становилось тяжело дышать. «Немножко постою», — подумала и подошла ближе к полоске света. Украдкой глянула в окно. Он работал. Ева видела его лицо — серьезное, задумчивое. Она смотрела на него несколько минут, а он не поднимал глаз. «Работает, — вздохнула она. — А я помешаю». Ей было хорошо смотреть на него.

Она пошла к трамвайной остановке. В лицо ей хлестал колючий осенний дождь, ко лбу прилипали волосы.

Домой она явилась поздно. Подавленная, промокшая. Анатолий ничего не спрашивал. Помог раздеться, повесил ее мокрый плащ, заварил чай, налил ей большую чашку. Рассказывал, что никак не мог уснуть Егорка — ему пахло мамой…

— И мне тоже, — он обнял Еву, поцеловал в губы, щеки, нос.

Она заплакала.

— Мамочка, я не могу уснуть. Кто-то стучит и стучит в окно. — Егорка со страхом в узких полусонных глазах смотрел на цветастую штору, которой было занавешено окно. Она чуть-чуть колыхалась: в невидимые щели проникал ветер.

Мать погладила мягкие волосики сына.

— Это ветер. Не бойся. Закрой глаза и спи.

— Я хочу посмотреть на ветер.

Ева взяла его на руки, поднесла к окну, отдернула штору. Крепчал ветер, и казалось, что у окна летает большая белая птица.

— Такой белый ветер... Совсем белый, — удивился Егорка.

Ева укрыла его одеялом, села рядом и ласково поглаживала сына по головке, а он, свернувшись, лежал тихонько.

— Мама, а какой еще бывает ветер? — спросил он.

— Ветры бывают разные, — тихо сказала она. — Только ты спи.

— А расскажи мне о ветре... — попросил он.

— Ветер бывает голубой. Он очень ласковый и добрый. Он учит летать птенцов, зовет их высоко-высоко в синее небо. А ночью натрясет тебе в саду самых вкусных, самых спелых яблок.

На мгновение она умолкла. Сквозь сон Егорка прошептал:

— А желтый?

— Он прилетает осенью. Помашет на прощанье птицам желтым платком....

Егорка зашевелился.

— Спи, сынок, этот ветер для взрослых. Есть на свете еще белый ветер. Белый ветер очень мудрый. Заметет он тропинки былых тревог, успокоит сердце, развеет сомнения. А вечером будет петь тебе колыбельные, чтобы ты спал и рос быстрее.

— Мама, нарисуй мне ветер, который отрясает яблони...

Возьми мой платок…

Люба пошла быстро, подставив лицо ветру, который обдавал ее косым, холодным дождем, но, взволнованная, она не замечала этого. Только движением руки отвела прилипшие к влажной, горячей щеке волосы да застегнула пуговицы шуршащего легкого плащика. Но через несколько шагов не утерпела, оглянулась. Авдоля стояла на том же месте, в белом ситцевом платочке на голове, коричневый шерстяной все еще держала в руках. Любе показалось, что она вновь подалась к ней, протянула платок. Стало немного жаль ее, хотела даже крикнуть свекрови: «Идите домой!» — но не крикнула, только круто повернулась и ускорила шаги.

…Сначала Любе даже понравилось в этом чистом, убранном доме. Между рамами на окнах в сероватой вате — блестящие елочные игрушки (как ей хотелось выставить двойники да открыть окна), за рамками с фотографиями пучки шершавых полевых бессмертников, видно, еще позапрошлогодних или даже более давних. В углу на чистой половине, обрамленные белыми тонкой работы льняными рушниками, висели иконы — долгим укоряющим взглядом пронизывает Божья Матерь. От этого взгляда становилось не по себе, неуютно, казалось, взгляд винил в чем-то. Но скоро Люба научилась смотреть ей прямо в глаза, потому что не было у нее никакой вины, не за что было просить пощады. Таким же взглядом, только с оттенком любопытства, смотрела на Любу Авдоля, Костина мать. Это была молчаливая, замкнутая женщина. Она все делала молча, ничего не приказывала Любе, но и не перечила, когда та бралась помогать. Люба видела, что ни одно ее движение не остается без внимания. Она то смотрит искоса, то наблюдает как-то вороවато, исподлобья. Она и ходила по дому осторожно, будто боялась кого-то разбудить, потревожить.

По натуре веселая, подвижная, полная ей противоположность, Люба чувствовала себя скованной ее молчанием, виноватой, что не вяжется разговор. Она терялась даже, и случалось, лихорадочно искала, что бы рассказать ей, напрягала память, как бы каким-нибудь смешным случаем развеселить ее, чтобы не видеть опечаленных глаз. Люба рассказывала ей о себе, своих подружках.

Авдоля слушала внимательно, с интересом, иногда Люба замечала, как теплеют ее глаза. От самой же редко можно было услышать слово, а работала как шальная, будто не будет больше дня. Даже тогда, когда шастал в огороде дождь, она накрывалась мешковиной и полола гряды.

Любу манил лес. Говорили, что появились первые грибы, колосовики. Она несколько раз просила свекровь, ведь здешнего леса не знала, отложить все дела и пробежаться по лесу часика три. Но Авдоля бросала на нее такой взгляд, будто пугалась даже этакой мысли. На словах будто и не возражала, но находила незначительную причину: «Ах, говорят, ничего нет. Дети перетолкли все». — «Так хотя бы походим по лесу, там ведь хорошо», — говорила Люба.

Эти ее слова больше всего удивляли Авдолю. Как это — ходить, любоваться, если работы столько?

«Что ты, — говорила она, — свиньи будут некормленые. Грешно морить живое».

Одной идти было как-то не с руки. Тянулись дни, временами скучные, хоть дел хватало. Она успокаивала себя: привыкну, скоро на работу пойду. Обещал председатель пристроить на ферму. Казалось, даже обрадовался, когда она сказала, что учится заочно в сельскохозяйственном техникуме.

К вечеру ждала с работы Костю (он трудился шофером в колхозе), проверяла, есть ли вода в умывальнике, который был прибит на заборе напротив сеней. Выносила рушник, стояла, пока он умывался, спрашивала: где был, что делал, что видел? Может, даже не потому, что стремилась все знать о нем, а так, чтобы о чем-то говорить. Но ответы получала скупые, короткие. Костя был понурый, как мать, слова из него не вытянешь, ничего, казалось бы, его не волновало, не было нужды делиться мыслями и впечатлениями. А как-то он даже сказал: «Вот проверяешь ты меня».

Первое время Люба думала, что это обычная застенчивость перед родителями. Но когда она стоит перед ним с рушником наготове в сумрачных сенях (в дождь он умывается в сенях), почему не привлечет к себе, не поцелует? Однажды она это сказал ему.

«Но разве мы с тобою влюбляемся? Мы ведь женаты…» — ответил он.

Тихое, уютное счастье, которое Люба выбрала на всю жизнь, вдруг померкло, потонуло в печали.

Часто Костя приходил выпивши. Когда же она допытывалась, где и с кем пил, он злился, считая, что это не бабье дело, что у него свои друзья, личная жизнь, в которую она не должна вмешиваться. Люба тосковала. Она много думала. Жизнь, которая казалась ей подвластной, только хорошо возьми под уздцы, заупрямилась, дорога начертанной ей судьбы, такая гладкая и ровная, вдруг стала ухабистой и шаткой, как гребля[1]. Хотелось сходить домой, в Забродье, навестить мать, сбегать на ферму, увидеться с подружками. Но разве она могла им сказать, что перепутались нити ее гаруса, не тот вяжется узор.

Авдоля, вероятно, почувствовала, что с Любой творится что-то неладное, льстиво заговаривала с ней.

«Выпила бы кружечку молока», — говорила она. Однажды за ужином, глядя на примолкнувшую невестку, забыв про мужа, которому все угождала, подвинула сковородку с глазуньей ближе к Любе. Это, видимо, перечило давним обычаям этой семьи, потому что хозяин надменно, гневно сказал: «Будет, Авдолька, война в Европе!» Авдоля вздрогнула, двинула глазунью назад, взглядом винясь перед мужем и невесткою.

То короткое время, что Люба жила в этой семье, она стремилась разгадать Авдолю. И пришла к мысли, что не уродилась она такая, а молчаливость ее — от боязни и даже глубоко спрятанной ненависти к Левону, своему мужу. Существование рядом с ним, понурым и злобным, угнетало ее, но выхода она не видела. Авдоля страшилась и ненавидела его. Боязнь проявлялась всегда, даже когда она хотела что-либо сказать Любе в минуты откровения, что в последнее время случалось с ней. Она трусцой подбегала к печи, отдергивала занавеску, открывала чистую половину, совала голову туда и, убедившись, что нет Левона, говорила, случалось, даже то, о чем думала. Но при нем делалась совсем другая, менялась вся — изнутри и снаружи, — тревожно заглядывала ему в глаза, стараясь угадать его настроение, поддакивала, страшась разозлить.

---

[1] Дорога, мощенная в болоте.

Ее небольшенькая, подвижная фигурка суетилась перед Левоном. Она выполняла все его приказы, сказанные намеком. Он разговаривал мало, а если и развязывался язык, то только после рюмки. И то не говорил, как все люди, а с далеким прицелом, как бы делал только выводы из своих потаенных мыслей, все кому-то мстил, угрожал. Чужой человек ни за что не догадался бы, о чем речь. Бывало, что он, неведомо отчего, надувался и мог по месяцу не разговаривать, не шел даже есть.

Когда Костя был мал, да и потом, до армии, все как-то обходилось. Костя был между ними как бы переводчиком, будто они говорили на разных языках. Все свои желания и указания он передавал через Костю. Тот приходил к матери и говорил: «Отец сказал, что завтра с утра — сено ворошить». — «Так пусть грабли наладит», — говорила мать.

И Костя шел к отцу: «Мать говорит, что грабли сломались».

Если бы не было Кости, он бы, наверное, тихонько пошел один на болото, а она бы выследила его, ведь знала: не догадаешься — еще месяц будет молчать, дуться. Собрала бы в сумку полдник и засеменила за ним.

Сначала Косте нравилось, что как будто он всеми в семье верховодит, все тут на нем держится, но потом ему осточертело, наскучило. Однажды, когда отец давал через него очередной указ, он сказал: «Все, переводчиком я вам больше не буду! Иди сам и скажи».

Отец даже побелел со зла, перестал разговаривать и с сыном, умолк.

Любу свекор как будто избегал или не замечал, не то стесняясь ее, не то уважая, где его поймешь? Вел себя так, будто невежда, негостеприимный хозяин вынужден быть вежливым перед гостем. Она никогда не видела, чтоб в этом доме хозяева в тихо-мирной беседе за столом или на чистой половине перед сном, вечерами, что-либо планировали на завтра, мечтали. Все тут шло как-то само собой. Сеяли люди, сеяли и они, косили — косили, гребли — гребли. Не было задушевного разговора о семье, о будущем, пусть маленьком. Она никогда не видела, чтобы свекор улыбался. Он был то хмурый, недовольный, то предупредительно вежлив, как-то ненатурально, что никак не вязалось с его лютым характером.

Однажды, правда, Люба видела его улыбку. Эта радость показалась ей страшной — улыбка, с которой он хвастался мешком ворованного ячменя. Оскалив ряд металлических зубов, красноречиво глядел на Авдолю и Костю. Люба впервые заметила, что челюсть у него вставная. И эта металлическая улыбка показалась ей страшной и гадкой.

Авдоля стояла неподвижно. Она не ответила взглядом на его радость. Больше того, она, видимо, отрицательно отнеслась к этому, но ничего не сказала, провожая его взглядом, в котором за долгие годы жизни с ним научилась прятать свои чувства. Бесстрастным взглядом человека, которому, казалось, все равно, хоть разверзнись тут земля или начнись потоп. Зато Костя с какой-то даже радостью сказал: «Будет водка». — «Какая водка?» — не поняла Люба. «Выжмет отец», — подмигнул он.

Водка. Люба боялась даже этого слова. Она знала, наблюдала за людьми, соседями, родственниками. Водку все пили в праздники, по причине крестин или свадьбы. А тут вдруг поняла, что пьют тогда, когда она есть. А когда ее нет, стараются заиметь, выжать.

Старый Левон любил выпить, правда, редко кто его видел пьяным. Кроме какой-нибудь свадьбы или крестин, где он закладывал по девять стаканчиков и крепко стоял на ногах, только однажды свалился, идя с какой-то беседы, в ров и потерял вставную челюсть.

Он почти не разговаривал с Любой, а если и приходилось, слова его были льстивые. Это было не что иное, как доказательство, что она для него чело-

век чужой, и ему, хочешь не хочешь, а нужно перевоплощаться. Это злило его самого. Без видимой причины он гневался на Авдолю, отводя душу, бил собаку или коров на пастбище, когда подходила очередь пасти. А видел, что в доме одна Люба, не заходил, а ковырялся где-нибудь в сарае или в пристройке. Когда же не находил работы, просто сидел там и курил.

«Ну что, так и будешь возле отца, как кот в запечье? — однажды злобно, а может, и умышленно твердо, чтобы услышала Люба, сказал он. — Стройся!» Люба поняла, что этот разговор не новый, потому что Костя почесал затылок, промолчал. «А-а-а, — протянул он, будто радуясь. — Ты думал — отец тебе враг. Говорил же: бери Дмитракову или Дроздову — и девки ладные, и дома стоят наготове». — «Тебе бы все на чужое. Сами построим, и ты нигде не денешься — поможешь!» — рассердился Костя. «Всю жизнь рублик к рублику складывал не для того, чтобы ты пустил на ветер! Не жди!» — «Для чего ты нас морил, зачем?» — Костя, вероятно, очень разозлился. Люба никогда не слышала, чтобы он так разговаривал, почти кричал. «Для чего, зачем? Возьму да вместо обоев выклею. Неслуху не отдам, и бездельникам — фигу».

Левон поплелся к сараю, Костя остался сидеть на бревнах у дровяника. Люба подошла к нему и, желая как-то подбодрить, провела рукою по волосам. Но Костя отчужденно отвел ее руку, встал и пошел в дом, не сказав ни слова. Вероятно, он был расстроен размолвкой с отцом и еще не отошла горечь от этой стычки.

Люба потихоньку осваивалась, привыкала к новой семье. Но чем дальше, все больше проявляла свой независимый характер. Она стала перечить свекру, доброта свекрови была ей неприятной и оскорбительной.

Единственный, кого она ждала днями, был Костя. Но желанный он был лучше, чем тогда, когда приходил, особенно подвыпив. Тогда или заваливался сразу спать, или шел к соседу играть в карты. Любе было одиноко и тягостно в такие часы. Не давала покоя мысль, что она обманула себя, умышленно обманула.

«Не нравится мне эта водка, не принесет она добра», — сказала она мужу. «Чего ты жалеешь? Не за твои и не за свои…» — успокаивал он ее, пряча раздражение. «Разговор вовсе не о том, — мягко убеждала Люба. — Я хочу, чтобы ты был трезвый, простой, добрый».

Это все у нее вырвалось как-то само собою, как признание. Она даже заволновалась, ожидая ответа. Казалось ей: Костя возьмет за руки, обнимет, скажет: «Не буду, Любка». Но он вскипел: «Так что же, уже даже за чужие выпить нельзя? Запрячь хочешь»? — «Не о том ты говоришь, — огорчилась Люба, — ничего я не хочу. Просто можно вечером пройти к клубу, возле речки с тобою…»

Костя смотрел на нее удивленно, даже перестав злиться: «Смешная ты какая-то. Что, за руку поплетемся и ходить будем людям на смех?..»

Стены дворца, который возвела она в мечтах своих, рушились прямо на глазах, не оставалось следа от той возвышенности, которой она была полна недавно. Она была несчастлива тем несчастьем, которое неожиданно, но уже очевидно вставало впереди. Впервые она заплакала, оплакивая себя, детей своих, которых мечтала растить тихо и уютно, а они у нее обязательно должны были быть. И не знала, кому рассказать о своей беде? Матери? Она стеснялась говорить с ней о таком. Да мать и тогда не советовала ей идти за Костю. Говорила — подожди, осмотрись. Ей не нравилось, что Костя молчаливый.

…С утра подхватился ветер, будто хотел высвободить из плена дымных облаков солнце. Но оно было будто не радо, тускло и холодно смотрело на

землю. К полудню стал шугать полосою косой, жидкий дождь. Люба еще подумала: к спеху ли ей, чтобы идти в дождь. Скоро и дорога превратится в грязное месиво, а до автобуса километра три. Она неторопливо крутила старую обшарпанную ручку машинки: шила ситцевые наволочки. Когда предложила сделать это, свекровь отнеслась с недоверием. Сначала все сидела рядом и смотрела, как она аккуратно размеряла ситец, следила за каждым движением. Люба сама волновалась: что если испортит ткань? Она заметила, что в последнее время стала какая-то неуверенная. Может, оттого, что так следит за ней всегда свекровь. Тихо стрекотала машинка, думалось о доме, о жизни, о Косте. Хотелось оставить работу, пойти за ширму, где спит Костя, приластиться к нему, поговорить: может, переехать в Забродье (если бы только он согласился), там и работа у нее была хорошая, лаборанткою на ферме, и колхоз их богаче, молодоженам квартиры дают. А как быть с техникумом? Надо же учиться, контрольные пора высылать…

«Костя дома?»

За мыслями Люба не заметила, как кто-то вошел в хату. Парень был молодой, но лысоватый, в дерматиновой тужурке.

«Да, он дома. Костя! — позвала она. — К тебе пришли. А вы проходите, садитесь».

Люба поставила табурет, но парень не присаживался. Костя вышел в майке, не набросив рубашку.

«А, Иван, а я слышу — голос знакомый. Ну, здравствуй, садись. На отдых приехал?!» — «Давно не виделись… — Иван смотрел на Костю, усмехался. — Тебя не узнать». Костя хлопнул его по плечу: «А ты все такой же скалозуб». — «А чего мне грустить… Ну, приходи сегодня, посидим. Так придешь?» — вместо прощания переспросил он.

Костя начал собираться. Он побрился, приготовил чистую рубашку, галстук.

«Я думала, — ласково, как всегда, сказала Люба, — поехать к маме, да дождь не утихает, так пусть в другой раз. Ведь и к товарищу твоему пойдем. Далеко ли он живет?» — «Как это — пойдем? Тебя не звали», — без тени хитрости ответил он. «Как это не звали? Если тебя звали, так, наверное же, и меня…» — растерялась Люба и в смятении закусила губу. «Ты же сама слышала». — «Как же так? Почему ты не сказал, что…» — она не договорила. Комок горечи и обиды сдавил горло. Даже хотелось закричать от боли. Но она молчала. Только все смотрела на него, как бы пронзала взглядом, пока глаза не затуманились крупными слезами. Тогда сорвалась с места и быстро стала собираться. Ей хотелось в этот же миг пойти отсюда, вот так, как стоит, только подсознательно помнила, что на улице дождь. Натянула болоньевый плащик, дрожащими руками перебирала какую-то мелочь в сумочке. «Ты не можешь так, так не делают в порядочных семьях! Так никто не поступает…»

Костя смотрел на нее в недоразумении, он не мог понять, из-за чего все это волнение, и беспомощно злился на нее.

В какой-то момент она одумалась: и если бы он подошел, приласкал, попросил прощения — она бы покорилась. Весь вечер вот так бы, как до сих пор, просидела за шитьем. Но он этого не сделал. Не понимал своей вины и ее волнения. Впервые он видел ее слезы, которым не знал причины, не понимал, не соображал, что делать. И эта беспомощность его еще больше вводила в зло. Он крикнул: «Вот дура! Чего ты хочешь, скажи?» — «Теперь ничего», — тихо ответила она. «Что я плохого делаю, к любовнице иду, что ли? Что, мне уже с друзьями встречаться нельзя?»

Авдоля вошла в хату и, услышав размолвку, остановилась на пороге. Она, моргая, смотрела то на одну, то на другого, стараясь понять, что произошло. Но и поняв, не вмешалась, не рассудила. Люба и не ждала от нее помощи. Она знала, что Авдоля никогда не посмеет сказать в глаза то, что думает, кого бы это ни касалось. Она заметила, что иногда, когда и ею бывала недовольна, то вымещала это на кошке, отталкивая ее ногой.

За деревней дорога пошла перелеском, но затишья не было. Дождь хлестал в лицо. Какая-то упрямая сила гнала Любу вперед. Она услышала, что ее кто-то зовет. Оглянулась, но не убавила шаг, внезапно дошло, что догоняет ее свекровь. «Чего она?» Люба остановилась. Авдоля шла торопливо, рысцой, задыхаясь. На ходу снимала коричневый платок, оставаясь в белом, ситцевом.

— Люба, возьми мой платок! Холодно! Ветер!

Люба стояла. Перед нею Авдоля, виноватая, растерянная. Глаза ее просили пощады, в них были такая печаль и страдание, что у Любы зашлось сердце. Авдоля все стояла и смотрела ей в глаза, как дитя, которое очень хочет, но не осмеливается что-то сказать.

— Может, вернись… Разве я тебя не жалела? Я тебе и помидорок красненьких припрятала.

Ей, вероятно, тяжело было говорить эти слова, откровение и нежность стоили ей немалых сил, да, видимо, и устала, догоняя. Она осмотрелась кругом и присела на сломанное, лежащее у дороги дерево. Люба, задумавшись, последовала за ней.

— Не любит он меня… — тихо и горько сказала она.

— Не говори так, он жалеет тебя. Давеча говорю, пусть бы Люба поехала с нами на мельницу, так он как вызверится: сами сделаете, не большие паны.

Они сидели и молчали. Молчание становилось тягостным, как тревожная тишина.

— Не сердись на него. Он в отца пошел. Тот и молодой был, ни разу меня не обнял. Только раз пьяный руку мне на шею положил. Так всю ночь и пролежала. Боялась пошевелиться. Мышь по ногам бежала (мы еще во времянке жили, хату строили), так и от страха не пошевелилась…

— А я не хочу жить так… Не хочу! Это варварство, издевательство над собой, над жизнью, над человечностью. И я не понимаю вас. Неужели вы вот так и прожили свой век?

Авдоля молчала, задумчиво, отчужденно глядя под ноги.

— Это же самоубийство, вы потихоньку отравляли себя, свое сердце, ум. Разве вам не хотелось когда-либо бросить все, ну хотя бы разозлиться, раскричаться, выговориться?

— Что ты говоришь? Ты не знаешь его. Он все может… Вот такие люди будто созданы для войны. Ого, ты не знаешь его, — Авдоля воровато огляделась, глаза ее забегали, ища, нет ли лишних ушей. — Он как взъестся на кого, и не подумаешь, что сделает. Боже мой, никто не знает того, что я знаю. Это он на людях такой, «пожалуйста, пожалуйста», милый человек, — она передразнила его и снова оглянулась, — а так зверь зверем. А думаешь, кто Виригов сарай поджег? Он, — уже шепотом говорила она, — и корову Дмитрокову травил — он. Одна я знаю…

Люба сидела с широко открытыми глазами:

— И вы терпите?

— А что ты сделаешь? В меня как-то даже топором запустил. Хорошо, что вильнула в сторону.

— За что же? — страшась, спросила Люба.

— Не знаю. Он такой уродился, — будто оправдывая его, сказала Авдоля. — А Костя хороший. И ты напрасно так. Надо же немного и покоряться. А как же жить? — учила невестку Авдоля.

— Почему я должна покоряться, угождать? Почему? — загорячилась Люба.

— А если дитенок у тебя будет? — убеждала ее Авдоля.

— Не пропаду, выращу. А вот так, как вы, жить не хочу! Не хочу…

— И я не хотела. А вот как-то так и прижилась, — грустно, даже горестно сказала Авдоля.

Они молча сидели на сваленном бурей трухлявом дереве. Любе было жаль свекровь. И не жаль ее. Эти два чувства боролись в ней, как два богатыря равной силы. И она не могла ей ничего сказать, особенно сейчас, когда не было чувства-победителя. И эта неуверенность в себе гнала ее еще быстрей, будто бежала она от зверя, еще не видя его, но слухом, душою чувствуя его близость, ужасный вид.

Люба пошла быстро, подставив лицо ветру, который обдал ее косым, холодным дождем. Но, взволнованная, она не замечала этого. Только движением руки отвела прилипшие к влажной, горячей щеке волосы да застегнула пуговицы шуршащего легкого плащика, но через несколько шагов не утерпела, оглянулась. Авдоля стояла на том же месте в белом ситцевом платочке на голове, коричневый шерстяной она все еще держала в руках. Любе показалось, что она вновь подалась к ней, протянула платок. Стало немного жаль ее, хотела даже крикнуть свекрови: «Идите домой!» Но не крикнула, только круто повернулась и ускорила шаги.



ПАВЕЛ СИМОНОВ

Эхо времени

Весна

Растает лед невзгод и огорчений,
Безмолвия обрушится стена,
И сразу станет в жилах горячее,
Когда весной повеет из окна.

И трубы прочищая вздохом тяжким,
Сорвавшись с мели под напором вод,
Вдруг пароход моей пятиэтажки
В безоблачное завтра уплывет…

Жизнь как спринтерская дистанция

Бежим, бежим, не ведая куда,
От скуки убегаем и инфаркта,
Ушедшие мы ловим поезда,
Метаясь меж «де-юре» и «де-факто».

Когда скребутся кошки на душе
И плющит грудь булыжником тревога,
Мы замедляем бег на вираже
И тихо просим помощи у Бога.

И снова без печали и стыда
Под солнцем отвоевывая место,
Спешим, спешим неведомо куда,
Хоть, в общем-то, дистанция известна…

* * *

А хотите, я вам подарю
Яркую, заветную и чистую,
Пахнущую свежестью зарю
Над лугами, от росы лучистыми?

Я умею собирать мечты
Из-под снега стынущими пальцами,

Вышивать из снов цветных холсты
На рифмованных и ловких пяльцах.

Раскрывайте крылья за спиной —
И летим диковинными птицами —
Под большой серебряной луной
Целоваться с юными зарницами.

Вечерняя охота

Томится плоть под новыми колготками,
И в кофточку застегнута душа —
Меж столиков с закусками и водками
Силки она раскинет не спеша.

Разгоряченный выпивкой халявною,
Почуяв ее легкие «туше»,
Поверю я, что в жизни моей главное —
Глаза ее и ноги «от ушей».

И съемную квартиру на окраине
Мы раскачаем так туда-сюда,
Что месяц за окошком птицей раненой
Падет с небес, сгорая от стыда.

На целое мгновенье нам покажется,
Что две судьбы слились в ночи не зря.
…А утром на постели вдруг окажутся
Два призрака. И слижет их заря…

Станционный романс

Случайный пассажир
На станции в буфете,
Мешаю ложечкой остывшую печаль,
А за окном дрожит
Развод нахальный света,
Постылой ночью дню оставленный на чай.

Унылый бомж в углу
Роняет грузно тело,
Привычно погружаясь в свой угар,
И, расчехлив метлу,
Еще не улетела
В чепце буфетчицы сварливая карга.

Бутылками бренчит
На паперти перрона
Усталая торговка, сумку теребя,
Готовая всучить

За гривны или кроны
Вчерашний пирожок, пол-литра и себя.

Вот-вот по тишине
Гудок ударит грозный,
По рельсам застучит веселый перезвон…
Но поезда все нет —
Бежав от вечной прозы,
Твой силуэт в окне везет другому он.

Египетская рапсодия

Охраняет грозный зверь
Тайну странную Каира —
Миллионы, верь не верь,
Здесь живут в подземных дырах.

И, кондеями в жару
Разгоняя воздух спертый,
Оживает поутру,
Словно Феникс, Город мертвых.

То с футболки на груди,
То с рекламы макаронов
Сквозь столетия глядит
Смертный лик Тутанхамона.

Будто в прежние века,
Бедуины-полиглоты
На различных языках
Торг ведут, срывая глотки.

Над холмами пирамид
И долинами Луксора
Эхо времени гремит:
«Брат, постой, бери за сорок…»

Запоздалые мысли

«Давайте будем думать о хорошем,
Не вспоминая подлости и лжи,
Обиды корку черствую раскрошим,
Скормив ветрам над пропастью во ржи.

Давайте помнить каждое мгновенье —
Которое сквозь пальцы как вода…
Дыхания любимых дуновенье
Согреет пусть в холодные года.

Давайте жить, не сталкиваясь лбами
И улыбаясь зеркалу с утра…» —

Уже оцепеневшими губами
Шептал старик со смертного одра.

Мужики уходят по утрам

Мужики уходят по утрам.
Как большие раненые птицы,
Отдаваясь неземным ветрам,
Исчезают скорбной вереницей.

В час, когда рассвет едва дрожит,
В новый день привычно превращаясь,
Мужикам еще бы жить да жить,
А они уходят, не прощаясь.

Не махнув для храбрости «сто грамм»,
Сбрасывают бренные оковы…
Чтобы не реветь по вечерам,
Бабы, берегите мужиков вы!

Знайте: наши души и тела
Плавятся до срока не за злато —
Ради вас сгораем мы дотла,
Получая крест в земле в уплату.



АЛЕСЬ БАДАК

По ту сторону отражения

Рассказ

Мой дядя Юзик был сумасшедшим. О родстве с такими обычно говорят неохотно. Хоть, если собрать всех сумасшедших мира, получилось бы целое государство. И кто знает, может, это был бы наилучший пример всеобщей гармонии (пусть себе в пределах одного государства), к которой человечество все время, и пока что безуспешно, стремится.

Надо сказать, были дни, когда разум к дяде возвращался, наполняя собой его сознание так же незаметно и неожиданно для всех нас, кто с ним жил, как бесплодные после грозы тучи вновь наполняются дождем. Тогда — обычно такое случалось во время наших прогулок по берегу Свислочи, рядом с которой, на улице Янки Купалы, мы жили, — дядя часто рассказывал про моих близких и дальних родственников, живых и умерших. И хоть некоторые истории были слишком уж невероятными, чтобы в них сразу поверить, слушая его, я не раз повторял самому себе: «Порой Бог, давая человеку мудрость, взамен забирает у него разум».

Одну из тех историй я помню и сегодня, хоть прошло уже девятнадцать лет как дядя покинул этот мир, так и не найдя свой дом, разбомбленный немецкой авиацией в последнюю войну, на поиски которого на берег Свислочи он отправлялся почти ежедневно, со мной или с кем-то другим.

У дяди Юзика, кроме моего отца, был еще один родной брат, Василь, старший из всех детей Опанаса Матусевича и Марии Загорской. Год рождения Василя Матусевича — 1908-й — мне запомнился легко и на всю жизнь, поскольку как раз тогда в шестиэтажном отеле «Европа» установили первый в Минске лифт, а мой дед по отцовской линии имел непосредственное отношение к этому знаменательному для города событию. Да и сам я сегодня, в некоторой степени, отвечаю, в том числе и за лифтовую систему столицы. В такой степени, когда знать историю минского лифтостроения совсем не повредит.

Вообще в нашем роду все мужчины имели дело или с техникой, или со строительством, все, кроме дяди Василя. Он писал стихи. Этому предшествовало раннее взросление, которому сильно поспособствовало время, посылающее на Минск один за другим вихри перемен, вызванных, с одной стороны, Первой мировой войной, с другой — российской революцией. Горожане еще только начинали привыкать к большевистским лозунгам, которые так же легко было прочитать на их лицах, как и на кумачовых плакатах, однако менее чем через четыре месяца после провозглашения того, что вся власть в Минске перешла в руки городского Совета рабочих и солдатских депутатов, в ночь с 18 на 19 февраля 1918 года, большевики город вынуждены были оставить, а через два дня сюда вошли немцы. После капитуляции Германии перед Антантой и вывода ее войск с захваченных территорий в декабре восемнадцатого года большевики возвратились в Минск, чтобы 8 августа следующего года снова оставить его — уже, правда, полякам. Однако через месяц поляки

отдают город назад большевикам, но 15 сентября 1920 года заявляются сюда еще раз, ровно на неделю, окончательно сбив с панталыку горожан, которым в этом военном и политическом кавардаке рехнуться было легче, чем сохранить ясный ум. Наконец, чем-то ненормальным (хоть, на самом деле, это, наоборот, свидетельствовало о начале выздоровления нации) кое-кому казалось тогда другое. В начале двадцатых самопровозглашенных поэтов в Минске было столько, что у впечатлительного Купалы, который еще недавно в отчаяньи писал: «белорусы никого не имеют» и которого могло необычайно расчувствовать появление очередного нового таланта, глаза не успевали просыхать от слез радости. Правда, подавляющее большинство поэтов были приезжими провинциалами, из деревень и местечек. Их было так много, что создавалось впечатление, будто единственное, что мешало белорусам превратиться в писательскую нацию, — неважное владение жителями крупных городов белорусским языком. По крайней мере, Василю Матусевичу это обстоятельство да еще прирожденная скромность и вправду загородили дорогу на страницы газет и журналов. Выслушав как-то в одной из редакций достаточно жесткую критику своих стихов, он перестал даже записывать их на бумагу, а носил в себе отдельными, нередко незавершенными строками, которые в нем рождались и умирали быстрее, чем меняется небо в ветреную погоду, и так часто меняли свой смысл, что казались бессмысленными. Воображаемый мир, созданный поэтическими образами, и мир реальный в голове его перепутывались, и часто было не понять, в каком из этих миров рождались мысли, когда он говорил:

— Я сегодня видел человека с двумя языками. Одним он слизывал огонь с остатков уничтоженного костела, который он сам же и спалил вместе с товарищами, а другим утешал мать.

Василь не знал, что от рифмованных образов время от времени надо избавляться, отдавать их бумаге, иначе в голове их станет слишком много, и уже не ты будешь управлять ими, а они тобой. Так и случилось.

«Ему двадцать три года, а его совсем не интересуют женщины», — жаловался отец и, зная, что ключ от чужого сердца легче найти в столе, чем на кончике языка, однажды открыл ящик сынова стола, но не нашел в нем ничего, кроме папки с газетными вырезками и большим портретом Купалы сверху. Это были стихи и статьи поэта, интервью с ним, короткие сообщения о том, где и когда он выступал. А под кипой вырезок лежала тетрадка, на первой странице которой было записано:

«26.04.30.

Я все время сдерживал себя от того, чтобы вести дневник, но который день ношу в себе, под сердцем, без малого как беременная женщина, сказанное Им после того, как я, вместе с другими, помогал Ему спасать домашний скарб от наводнения. Он сказал: «Спасибо, миленький!» И когда я, разволновавшись, ватными губами прошептал: «Я Вас так люблю», Он обнял меня и повторил: «Спасибо, миленький, спасибо!»

В те весны Свислочь в Минске любила показывать горожанам свой норов, затапливая многие дома, в том числе и дом Купалы на Октябрьской улице. Охотников помочь поэту с временной эвакуацией (хоть при этом чаще всего имущество всего лишь поднималось на чердак), и правда, всегда хватало, особенно среди молодых поэтов.

Про папку и дневник, найденные в ящике стола, отец Василю не сказал, а все попытки поговорить с сыном о его личной жизни ничего не дали. Василь еще больше замкнулся в себе и только Юзику как-то признался:

— Порою мне кажется, что у меня два сердца. Одно наяву, а другое во сне. И я не знаю, какое из них настоящее и где я настоящий. Только знаю, что

во сне я совсем другой, даже внешне, хоть и никогда себя там не видел. Но если бы я мог взять туда с собой зеркало…

Вскоре после этого он купил на базаре и повесил на стене возле своей кровати большое зеркало, которое помнило лица не одного поколения бывших хозяев, но никак не мог забрать его с собою в сны.

20 ноября 1930 года страшная весть облетела Минск: Купала хотел покончить жизнь самоубийством и порезал себя перочинным ножиком. Встревоженный, испуганный, Василь весь вечер не поднимался с постели. Он плакал. А ночью ему приснилось наводнение на Свислочи. Задыхаясь, он прибежал к Купаловскому дому, куда подступала вода. Как ни странно, Купала был один, даже без жены, тети Влади, и совершенно равнодушный к тому, что творилось с рекой. Левой рукой он держался за живот, пряча рану, словно хотел, чтобы ее никто не видел. «Наводнение! — закричал Василь во сне и наяву, разбудив Юзика. — Иван Доминикович, вода затопит Ваш дом! Надо выносить вещи!» — «Ну что ж, — спокойно сказал Купала, — если хочешь, выноси».

Свободной рукой он взял нечто, что стояло у стены, и протянул Василю. Василь обеими руками схватил предмет и только тогда понял, что ему подал Купала: это было зеркало, в котором он увидел себя…

Той же ночью, так и не освободившись от своего сна, Василь умер.

Мне казалось, что требовать от дяди доказательств правдивости этой истории, в которую я сам мало верил, по меньшей мере некрасиво, учитывая его состояние. Поэтому я сказал достаточно неопределенно:

— Это просто невероятно, и не каждый в такое поверит.

Дядя долго молчал, а потом проговорил:

— Перед тем как внести в квартиру гроб, мама завесила темным платком зеркало. А ночью я не выдержал и отвернул край платка. Я увидел в зеркале живого Василя. Только лицом он был как-то не похож на себя. Если бы у нас была сестра, я бы подумал, что это она смотрела оттуда на меня. Но что меня поразило и испугало — Василь был там радостным! Не улыбался, но весь светился. Я аж отскочил, и пока не сняли платка, к зеркалу больше не подходил.

Дядя снова помолчал, а потом сказал:

— Когда-то я тоже увидел себя во сне в зеркале. И мне кажется, что я тогда навсегда остался там. Так и живу — во сне и в зеркале.

Я знал, когда это случилось. 5 марта 1953 года, в день смерти Сталина, дядя тоже плакал. А назавтра поехал в Москву, не подозревая, что каждый, кто тогда попадал на Трубную площадь, уходил с нее другим человеком. В день похорон он попал в самую давку, в которой погибли сотни людей. Обезумевшая от горя и любопытства толпа пронесла его сквозь земное чистилище, и когда он через неделю вернулся домой, глаза его светились кротостью, словно перед ними раскрылись таинства рая.

Надо сказать, что я и сегодня не очень-то верю в эти истории с зеркалом, которое теперь висит в моей спальне на стене, в своей стадии переступив тот рубеж, за которым каждая новая трещина на деревянной рамке только добавляет ему красоты. И все же, когда, ложась спать, я думаю о том, что в снах можно увидеть кого угодно, но не себя самого, мое сердце начинает биться сильней. Может, потому, что теперь мне очень тяжело, и кажется, что я вот-вот не сдержусь и заплачу...

Перевод с белорусского Андрея Тявловского.

ОЛЬГА ЗЛОТНИКОВА

Маятник жизни

Снегурочка

Я сегодня тебе, мой нежный,
Мой случайный и кроткий друг,
Расскажу, как была я снежной
И холодной подругой вьюг.

Расскажу, как сбылось проклятье,
И к тебе через сотню лет
Постучалась я в снежном платье,
Чтобы встретить с тобой рассвет.

Чтобы с первым лучом растаять.
(По весне меня не зови.)
Я останусь в тебе, как память
О холодной моей любви.

Реквием

Я сижу на асфальте голая.
Чем бы Бог ни шутил, а жаль,
Что душа моя окрыленная,
Не стерпев, превратилась в сталь.

Не об этом ли плачет облако,
Не об этом ли стонет ночь,
Что душа, как церковный колокол,
Отзвенела и вышла прочь.

То, что я от себя оставила, —
Куча мусора, ерунда.
Только искренностью приправила,
Чтоб не мучиться от стыда.

* * *

Стонет мой ветер. Обиженно
Рвет занавески в бреду.
Осень дождями острижена.
Больше к тебе не приду.

Что же ты, грусть моя — пленница,
Все побросала в огонь?
Осень туманами стелется,
Листья кладет на ладонь.

Маятник жизни качается,
В сумерках тлеют костры.
Осень с туманом венчается
В платье из палой листвы.

* * *

Что здесь всего дороже?
Судьбы веретено…
Самих себя моложе
Нам стать не суждено.

За синими морями
Нас ждали берега.
Мы были кораблями,
Попавшими в снега.

Быть может, только дали
За ветхою кормой
Вперед кораблик гнали
Холодною зимой.

Ты спросишь, в чем же счастье?
В свободе и любви.
По жизни с той же страстью
Корабликом плыви.

Звездочет

Не дари мне чужих звезд.
Их сиянье — пустой блеск.
Белобровый поет дрозд,
И задумчив ветвей треск.

Звездочетом тебе быть
На рассвете тяжел труд.
Незаметно цветет сныть.
И тебя на земле ждут.

Ты со звездами будь прям.
Их сердцами поет твердь.
Звезд чужих не понять нам,
И загадочна их смерть.

* * *

Как я сгораю, не чувствуя меры,
Память о прошлом надежно храня,
Так обреченной улыбкой Венеры
Небо встречает рождение дня.

Где-то на грани потери рассудка
Я в темноту отпускаю слова…
Друг мой единственный, нежный и чуткий,
Знаешь, от правды болит голова.

* * *

Расплавленный асфальт. Удушье тротуаров.
Далекое «люблю» и близкое «зачем?».
Искусственный восторг дешевых мемуаров,
Каких-то лживых слов, каких-то вздорных схем.

Зачем тебе миры, в которых нет пространства,
Зачем тебе пески непризнанных времен,
В которых «да» и «нет» не ищут постоянства
И каждый новый шаг собой обременен?

Мне страшно быть одной, когда ты снова болен,
Когда ты оглушен сознаньем тишины,
И стаями летят с далеких колоколен
Предвестники твоей непрошеной войны.

А здесь, в кромешной тьме всеобщего затменья,
Себя и остальных уже не различишь.
И страшно понимать: сейчас всего лишь тень я
Каких-то серых стен, каких-то ржавых крыш.

* * *

Люблю одиночество скал
И эхо их грозных наречий,
Их полузвериный оскал
И хохот, почти человечий.

Скала, покорившись ветрам,
Возвысится гордой предтечей
Почти человеческих драм.
Расправит холодные плечи.

Я знаю, что будет со мной:
Для всех неизбежно далекой,
Останусь холодной стеной,
Возвышусь скалой одинокой.

ОЛЬГА ПЕРЕВЕРЗЕВА

Семнадцать непрожитых лет

Короткие рассказы

Два окна

Окна наших городских домов всегда куда-нибудь смотрят. У кого-то — на зеленое одеяло парка или скверика. У кого-то — на витиеватые ленты дорог в обрамлении неоновых бусинок фонарей. У кого-то — на переполненные «муравейники» магазинов, вокзалов, стадионов, театров... Но чаще всего, и это стало совершенно привычным, — на окна соседних домов. Мы редко, к сожалению, в обычной жизни заглядываем друг другу в глаза. И при этом, к такому же сожалению, мы часто оказываемся невольными свидетелями чужих жизней, глядя в окна соседних домов…

Сто экранов. Сто судеб. Сто разлук и встреч. Сто страстей, смертей, праздников и будней. Чьи-то играющие дети, чья-то любовь или ссора. Или забытые всеми старички-родители, которые часто подходят к окнам и подолгу неподвижно стоят, внимательно и безнадежно глядя на дорогу. Окна домов. Это разноцветные «глаза», загорающиеся светом и жизнью, когда кто-то, невидимый тебе, по возвращении включает в них свет. Или квадратные темные «глазницы», притягивающие или отталкивающие своей темнотой и непроглядностью. Обычно так пугают черные пустые «глазницы» новостроек. В них нет жизни. Еще пока нет жизни. И, как-то незаметно, по прошествии очень малого времени, чужие окна вдруг становятся частью твоей собственной жизни. Ты привыкаешь к ним.

Ты привыкаешь к чьим-то все время плотно задернутым шторам с тонюсеньким лучиком света — словно блестящее лезвие, разрезающее ровное полотно. К чьей-то ярко освещенной «детской» и прилежно занимающимся в ней мальчиком за столом каждый вечер. К чьей-то, постоянно сидящей у окошка, бабушке в белом платке с прогуливающимся рыжим котом по подоконнику... Ты видишь, наблюдаешь это изо дня в день. Это — часть тебя самой. Точно так же, наверное, как и ты, и «окно» твоей жизни — для них. Мы смотрим друг другу в окна. Мы смотрим друг другу в «глаза». Мы смотрим друг другу в душу глазами окон. Невольно видим. Или сознательно подглядываем.

…Мы повстречались почти год назад. Его звали Митя. Он застал меня «врасплох» своим вниманием и корректностью, уступчивостью и ненавязчивостью. Именно застал. Потому что в тот период жизни я, казалось, неуверенно балансировала на куда-то манящем краю пропасти. Пропасти одиночества, безысходности и отчаяния. Я была на пороге расставания. Вернее, только что рассталась с человеком, с которым на протяжении последних трех лет было прожито и пережито слишком многое. Точнее — все: он был той надежной и крепкой нитью, которая связывала меня с Жизнью, Судьбой, Любовью. Он — был. И по какому-то странному стечению обстоятельств (или иронии судьбы) его тоже звали Митя. Но — мы расстались. Сменив

ажурный «поводок» следствий на «цепь» осмысленных причин, мы расстались навсегда. Спустя недели четыре с этим, «нынешним», Митей мы и познакомились.

Сами себя мы очень редко воспринимаем точно так же, как окружающие люди, особенно близкие, видят нас в действительности со стороны. Поэтому сперва мне было очень странно наблюдать, как «новый» Митя с какой-то особой осторожностью, мягкостью и даже с опаской ухаживает за мной. Будто доктор — за «тяжелобольной», прочитав смертельный диагноз и зная, что все остальные врачи давно от меня отказались. Может быть, именно так я и выглядела со стороны. Но сама этого не замечала. Или не хотела замечать.

Митя был привлекательным интеллигентным мужчиной сорока трех лет, интересным и добрым человеком, преуспевающим и уверенным бизнесменом. Что, вроде бы, еще для счастья надо? Оказалось, нужна было «малюсенькая мелочь» — мне — перестать сравнивать. И оказалось, что эта «мелочь» — мне не по силам, по крайней мере, — пока.

«Новый» Митя жил на 17-м этаже недавно построенного «шикарного» дома. Шикарным он мне казался только благодаря панораме, открывающейся изо всех окон большой четырехкомнатной квартиры. Просыпающееся солнце заглядывало в эти окна уже ранним утром и в течение дня словно «облизывало» дом, постепенно заходя в каждую комнату. Город был как на ладони. Прямо от Митиного дома начиналась большая парковая зона. И поэтому следующий за ней микрорайон казался уже, по меньшей мере, другим городом. Но с высоты 17-го этажа все равно было все очень хорошо видно, даже, наверное, отчетливей. Потому что одновременно видишь и крыши домов, и лавочки у подъездов. Мне даже иногда казалось, что это какой-то сказочный бумажный макет, какие я когда-то видела на столах архитекторов. Я могла часами безмолвно стоять у этих окон и, купаясь в багровых лучах закатного солнца, смотреть, как где-то за лесопарком, в домах, как туфельки ночных светлячков, зажигаются чужие окна. Там, далеко, был дом Мити. «Прежнего» Мити. Его окна находила легко и сразу. Я прожила там почти три года. Наверное, я «жила» там и сейчас. Даже, в данную минуту, стоя здесь, на 17-м этаже шикарного дома. И чувствуя за спиной молчаливо стоящего в двери комнаты «нынешнего» Митю, я вдруг резко отошла от окна.

— Я тебя напугал? — осторожно спросил Митя.

— Не хочу, чтобы на меня смотрели, — как-то неуверенно и не сразу ответила и села в кресло у стены.

— Но вокруг лес. И это 17-й этаж, — последовало спокойное возражение.

— Высокий этаж — это не самое обязательное условие рая, — неожиданно сказала я и зачем-то снова подошла к окну.

— В ладонь, зажатую в кулак, ничего не положишь, — грустно произнес он. — Я могу и хотел бы превратить твою жизнь в рай, но ты сама это не позволяешь сделать, — серьезно добавил Митя и вышел из комнаты.

Я посмотрела на «далекое окно». Закрыла глаза. И заплакала. «Моя маленькая жизнь в раю — ТЫ», — больно стучало в висках. Эти слова мне когда-то давно-давно любил повторять Митя. Тот, «прежний». И, видимо, ни к какому другому раю я была не готова. Или просто его не хотела, он был мне не нужен.

Открыла глаза. Неожиданно свет в «далеком окне» погас. Я провела рукавом по мокрым глазам. «Моя маленькая жизнь в раю — ТЫ», — отворачиваясь от окна, тихим эхом-шепотом повторила я, в последний раз. Выключила свет. Зажгла свечу. Снова закрыла глаза. Попробовала улыбнуться. И позвала Митю...

Сибирское лето

...Не судите, да не судимы будете...

Его глаза всегда спорили с небом. Они словно вбирали, впитывали небесную синь ясного безоблачного дня или натягивали грозовые предчувствия, становясь глубинной пугающей пучиной с тревожной стальной непроницаемостью. Он любил рисовать небо. Он был художником. И часто, едва заметно, грустно улыбаясь только уголочками глаз, любил повторять: «Самое честное и красивое небо — в Сибири». Я впервые увидела это сибирское небо больше 30 лет назад: он нежно поднял меня на руки, приблизил свое лицо, и я в первый раз вдохнула пронзительную чистоту яркой синевы, неожиданно разливающейся надо мной необъятной лазуревой вселенной. Его глаза — и стали с тех пор моим сибирским небом, «самым честным и самым красивым»… навсегда. По крайней мере, тогда мне так казалось. Тогда еще не знала, что спустя чуть больше 30 лет, я возьму билет на самолет «Минск—Омск» и полечу, чтобы попрощаться с ним навсегда, навеки. Полечу, чтобы самой закрыть любимые небесные глаза.

Омский аэропорт. Чужой родной город за лобовым стеклом такси. Больница на окраине города. Неприятный и натянутый разговор с главврачом. Диагноз безнадежности — рак позвоночника. «…Сколько у него времени?»… доктор смотрит в пол… И… любимые глаза… полные осенних дождей и какого-то щемящего отчаяния… пугающей неизвестности и осторожно обреченного ожидания, невыносимой, кричащей боли и такой же невыносимой, молчаливой радости… «Здравствуй... я думал, ты уже никогда не приедешь»… «я же тебя люблю»… «ты на этот раз надолго?»… «надолго»… Он сжимает мне ладонь… и я ДОЛЖНА смотреть в его умоляюще строгие глаза, но в них живет мое «самое честное небо»… и значит, я ДОЛЖНА ему сказать: «Я буду здесь, пока ты не умре…». Господи! Зачем я здесь?! Зачем мне эта боль?! Словно раненый волчонок, с глазами подкидыша, я кладу обе свои ладошки на его похудевшую, но пока еще по-прежнему горячую и крепкую руку… и четыре коротких долгих месяца мы уже больше ни на день не расстаемся. И четыре долгих коротких месяца он безжалостно перелистывает передо мной и, улыбаясь усталой грустью, отрывает пожелтевшие от времени, цвета выжженного лета, листки календаря своей судьбы. Он хочет успеть перелистать ее передо мной всю, пока он… Долгая и короткая судьба несостоявшегося художника, рисовавшего всю свою жизнь небо и впитавшего все его тона, полутона, оттенки и настроения, и его четырех женщин, четырех жен (и грустно, и странно, и смешно) с одинаковым именем — Лида.

Его четыре Лиды. Словно четыре, сменяющие друг друга, Времени его Года.

Лида-Зима была первой. Он был молод и весел, талантлив и беззаботен, его небо было еще легким, безмятежным и прозрачным. Он точно знал, сколько пенно-голубых волн в нем было, и даже, наверное, знал, сколько их там еще оставалось. Она, ясноглазая, улыбчивая красавица с темными волосами, подарила ему сына. Он был счастлив. Лида-Зима была «долгой», как и полагается сибирским зимам. Но Сибирь она почему-то не любила и однажды взяла и увезла его с сыном в Беларусь. Он не сопротивлялся. Ведь он был счастлив. Но знала ли она тогда, что там, в Минске, он вскоре встретит ДРУГУЮ… а она будет одна растить сына и лишь спустя почти 10 лет сможет снова быть счастливой, хоть и ненадолго, родив еще дочь от второго брака, так и не простив Первой Измены… и спустя еще какое-то небольшое время — умрет от рака,

так и не узнав, слава богу, что Он, когда-то давно ее ПРЕДАВШИЙ, уже перед своей собственной смертью (то ли от злобы и отчаяния, то ли от боли и безысходности) отречется и проклянет своего первенца — ее сына… Она была зимним солнцем, поселившимся отныне в его когда-то всегда веселых глазах…

Лида-Весна, душа-хохотушка, с терракотовыми, смешливыми глазами и каштановыми непокорными волнами волос, ворвалась в его жизнь стремительно, как стремглав летящая ласточка, рассекающая низкое небо перед дождем. Он увез ее в Сибирь. Она родила ему сына и спустя 2 года — дочь. Он был снова счастлив. Но гордая красавица, Лида-Весна заслоняла так любимое им его небо — гордое и свободное (стремительно парящая ласточка перечеркнула своим полетом его небо). И она, забрав детей и оставив его наедине с опустевшим небом, уехала в Минск. Откуда ей было знать, что он, измучившись, будет неоднократно брать билеты на самолет и прилетать в Минск лишь только для того, чтобы, спрятавшись за зеленой оградой детского сада, подсматривать, как играют и подрастают его дети… а она, так никогда его и не простившая, никогда больше не выйдет замуж, поднимая на ноги сына и дочь в одиночку, при этом никогда не произнося его имени и ничего о нем не рассказывая… а спустя 15 лет после расставания с ним она умрет от рака груди, так и не пожелав даже поговорить о нем с детьми… а ее дети по междугородной справочной, зная только имя и фамилию отца, разыщут его, чтобы сказать только одно: «мама умерла» и просто назвать несмело свои имена в холодную равнодушную трубку телефона… услышав на другом конце провода незнакомый чужой родной голос… и что еще через месяц, когда его дочь, прилетев после двадцатилетней разлуки, будет идти по полю аэродрома — он пройдет мимо и не узнает ее, они просто пройдут мимо друг друга, как совершенно чужие люди… и еще через год, приехав на свадьбу к сыну Лиды-Весны, он, сидя на кладбище перед ее могилой, скажет только: «Ну, вот и встретились, Лидочка…» и не проронит больше ни слова… и снова уедет в Сибирь, увозя увиденное в глазах его вновь обретенных детей ЕЕ НЕПРОЩЕНИЕ и сжигающие сердце слова повзрослевшей без него дочери: «…я больше жменями, как в детстве, небо не ем»… Лида-Весна навсегда заберет с собой теплое пробуждение и цветение трепетной весны из его глаз…

Лида-Лето — была, как это и бывает в Сибири, «короткой и жаркой». Это было самое короткое Время его Года. Они даже не успели пожениться. Он выпил с ней свое небо залпом… Грузовик, разворачиваясь, давал «задний ход». Она стояла у каменной стены. Водитель не мог ее видеть за кузовом (она оказалась в «мертвой зоне») и, выжав педаль до пола, дал «назад»… Она не забрала лето из его глаз… нет, она просто высушила, обескровила живительную струящуюся голубизну его потрескавшегося неба… она словно обесцветила пронзительно лучистую синь его взгляда… Его небо было уже практически испито до дна, почти совсем иссякло… когда ему повстречалась последняя Лида —

Лида-Осень… плодородная, золотая, последняя. Веселая и говорливая, заводная поющая хохлушка с чайными глазами и темными, с серебряными ниточками, волосами, любительница собирать грибы и ягоды, ходить на рыбалку… он поначалу любил рисовать места, где они бывали вместе с ней, но вот только с ее сыновьями никак не ладил, ругались «до топора» — она терпела. Но, наверное, он был счастлив. Или привык так думать. Не мог он тогда знать, что спустя всего лишь год после его смерти она легко расстанется с его картинами, продав свою квартиру, чтобы угодить сыновним желаниям. Рисовал он все меньше, больше пил и тосковал, печально вглядываясь осиротевшими глазами в свое бледно остывающее небо, цвета разбавленной лазури. Что-то навсегда из него ушло. И глаза его стали похожими на глубокие моря

и океаны — глаза Земли, — вечно полные человеческих слез; с таким же вечно холодным отражением неба на своей, переполненной страданиями земными, остекленевшей глади. Не вдруг, а постепенно его небо умирало. И теперь умирал он сам, вместе с ним. Не простивший никому… и никем не прощенный…

— Я умираю? — тихо, но со злостью спросил он, сжав добела мои пальцы, и резанул холодным «синим лучом» по моим глазам.

— Все мы когда-нибудь умрем, — так же тихо, сдерживая предательские слезы, прошептала я и сознательно остановила свой взгляд на его глазах. Я чувствовала острую, как глубокие уколы миллиона игл, боль, так что ледяные мурашки озимью пробежали по спине. Он отвел затуманившийся изморосью взгляд первым.

— Похорони… — он плакал, — похорони меня… (упрямо, уставившись в окно, в котором хрустело морозное ясное ноябрьское утро, он не поворачивал ко мне голову) похорони меня… с Лидой…

«Прости меня, господи, — сукин сын! С которой?!» — я захлебнулась собственной злобой: он умирал — он злился — я оставалась жить — я злилась еще больше… и… промолчала…

Он умер в 3 часа ночи. Он обманул небо, с которым всегда спорил, когда оно спало, и было непроглядно черным. Так же, как он обманул, наверное, и четырех своих Лид, не простивших его, любивших и не прощенных им, но так горячо любимых когда-то. Он унес с собой ту непревзойденную небесную синь, которая была моим «самым честным и самым красивым» небом на земле. Он не дал своему небу ни одного шанса… с умершими не спорят. Их или помнят и любят, все простив, или — забывают…

Да как же я, черт возьми, могу забыть (хоть бы и сама того желала)! Когда каждый день, где бы ни находилась, поднимая голову вверх, я все равно вижу твое… мое «самое честное и самое красивое сибирское небо»… будто случайно и ненадолго забытое тобой, или нарочно оставленное в моих глазах… навсегда. Наверное, я простила тебя, папа…

Голубое солнышко

Работа с Лорандом сегодня заканчивалась. Мне нравилось работать у него переводчиком: короткие контракты, хорошие деньги, прекрасное взаимопонимание. Перед отъездом вечером он неожиданно позвонил и спросил, не соглашусь ли отработать еще один контракт — шесть дней в Праге. Господи, он еще спрашивает?! В Праге! Да! Да! Да!

— На сборы два дня. Я буду ждать тебя на вокзале в Варшаве, а оттуда поедем на машине в Прагу. Все обсудим по дороге. До встречи, — и положил трубку.

Я вышла на вокзал в Варшаве и тут же увидела незнакомого мужчину, держащего табличку с моим именем. «Лоранд передал вам это». В конверте были деньги и записка: «Не успеваю приехать утренним поездом. Буду вечерним. Погуляй по Варшаве. Встретимся на вокзале в 19.00». Незнакомец испарился. Когда я подняла глаза, прочитав записку, передо мной, очаровательно улыбаясь и спрятав глаза за зеркальные, с синим перламутром очки, стоял второй незнакомец. Он держал в руках мой жакет. Выходя из поезда, я перекинула его через сумку, и видимо, он выскользнул на перрон, пока разбиралась с первым незнакомцем. «Спасибо», — поблагодарила я по-русски. «Пожалуйста», — ответил он по-немецки и слегка приподнял очки за дужки. Я перестала дышать. Недосягаемо-манящий глубиной, цвет влекущей мор-

ской пучины. Глаза были не голубыми и не синими. Наверное, они были завораживающего цвета оперенья синей птицы, о которой все мечтают, но никто никогда не видел. Его кто-то окликнул. Он, еще раз улыбнувшись, коснулся теплой ладонью моей руки (извините, мне пора) и поспешил к выходу. Перед самой дверью обернулся, пропуская своего спутника вперед, и они исчезли.

До приезда Лоранда, заколдованная «синим волшебством» глаз незнакомца, я гуляла по нешироким варшавским улицам с каким-то странным настроением «маленького солнышка» в груди...

Шел четвертый день работы с Лорандом в Праге. Лоранд, подписав сделку с партнерами на два дня раньше намеченного, собирался вечером уезжать домой в Берлин.

— Ты приносишь мне удачу. Хочу тебя отблагодарить. Вот твой гонорар (дал мне конверт), а это оплаченный счет еще на семь дней твоего пребывания в гостинице с полным обслуживанием. Если, конечно, ты не против? — Я не удержалась от радости и поцеловала его. — Русская, — только и сказал он, расплываясь в улыбке. И уехал.

У меня было все: сказочная Прага и оплаченная гостиница, деньги на какие-то безделушки и масса свободного времени! И еще было «маленькое солнышко» в груди от воспоминаний о «синем волшебстве» на перроне в Варшаве.

На второй день после отъезда Лоранда я, купив билет на автобус, решила съездить на денек в Карловы Вары.

Пристроившись к русской группе, выслушала историю последней любви Гете, стоя на узкой изогнутой улочке чудесного знаменитого городка, побродила по миниатюрным скверикам и мостикам и, искупавшись в бассейне с минеральной водой, уселась за столик открытого кафе на площади.

— Вина? — спросили меня по-немецки из-за спины. Меня обожгло и одновременно проморозило всю насквозь! Это Его голос! Я даже зажмурилась, словно боялась, открыв глаза, быть обманутой. — Вы говорите по-немецки? — он сидел уже напротив.

— По-английски, — выдохнула, не узнав собственный голос. И время прекратило свое существование. Вся вселенная теперь заключалась для меня в бездонной глубине, необъяснимо зовущей притягательности его глаз. Глаза Берни…

Берни приезжал ко мне в Прагу каждый день на машине. Он привез своего отца на лечение минеральными источниками и должен был каждый вечер возвращаться к нему в Карловы Вары. А днем Берни нежно брал мою ладошку, лаская теплой морской волной взгляда, и мы шли бродить по булыжным улочкам старой Праги. Проходя как-то по Карлову мосту между разложенными прямо на тротуаре сувенирами, картинками и прочими побрякушками для туристов, мы одновременно остановились перед стойкой с переливающимися на солнце стекляшками на кожаных шнурках. Мы оба смотрели на маленькое, размером с монетку, искусно дутое солнышко в серебряной, ажурной оправе. Солнышко было кристально-прозрачного небесно-голубого цвета. Мы собирались купить два, но оказалось, что все фигурки есть лишь в единичном экземпляре. Чуть не поругавшись (кто кому дарит), Берни все же настоял на своем: голубое солнышко теперь красовалось на груди у меня. В Карловы Вары к отцу Берни в тот вечер не уехал. А через день — должна была уезжать я.

Прощаясь утром, Берни обещал вернуться вечером: «Буду ждать тебя в костеле Святого Вита в шесть часов». Он не пришел. Администратор сообщила, что он, не застав меня в номере, просил передать: с отцом плохо, он должен везти его домой в Германию, но обязательно приедет завтра меня проводить.

Не приехал. Я оставила, не знаю зачем, администратору свои координаты. Ни телефона, ни адреса Берни у меня не было. И, сжимая в кулачке теплую стекляшку голубого солнышка, уехала…

Прошло два года. Я снова по работе в Праге. Те же компаньоны. Та же гостиница. Мы с Лорандом собираемся подняться на свой этаж. В кабину лифта входят еще двое.

— Какая милая штучка, — тихо по-английски шепчет Она, указывая глазами своему спутнику на мой медальон.

— Медовый месяц? — с доброй улыбкой вежливо интересуется у нее Лоранд.

— Да, — звенит в ответ «счастливый колокольчик».

— Пусть ваш муж сам наденет вам это, — не отрывая взгляда от непроницаемой морской глубины глаз, выдыхаю я, снова не узнавая собственного голоса, развязываю шнурок на шее и кладу свое голубое солнышко на ладонь Берни…

Забавы ради...

Он был старше ее на одну давнюю законную любовь. Законную для его сердца и давнюю для паспорта. На двадцать один год и на двух взрослых сыновей. Взрослых настолько, что старший мог бы легко претендовать на ее руку и сердце, будь все хоть чуть-чуть иначе. Но все было так, как было, как само по себе сложилось, случайно или предначертанно…

— Забава, — улыбаясь, сказала она и подала ему в виде приветствия желтую розу.

— Тогда — гений. И попрошу сразу учесть, очень серьезный гений, — он хотел поцеловать ей руку, но она быстро спрятала ее за спину. — Вы выбрали себе не очень удачный псевдоним. Он подошел бы больше плаксивым сладеньким стишкам а-ля «моя морковь — моя любовь», а не тем глубоким и серьезным стихам, которые мне передали от вашего имени.

— Забава — это мое имя. Просто имя. По паспорту…

Уже не раз за свои чуть больше 35-ти ей приходилось говорить эти слова. Ей ее имя казалось обычным, она к нему привыкла. Так же как привыкла не обращать внимания на непристойности, которые приходилось иногда слышать от незнакомых людей, когда ее имя произносили. Когда-то давно в детстве ей очень понравился мультфильм про Забаву Путятишну, которая мудростью вызволила своего ненаглядного мужа русского князя от хитрого и злого татарского хана. Так что близкие друзья иногда и называли ее Забава Путятишна, особенно когда нужна была помощь или совет в каком-нибудь деле. Хотя подсознательно она, конечно же, понимала и сама, что каким-то образом (и иногда это было слишком очевидным) это имя уже давно часть ее натуры и характера, природный подтекст и даже, пожалуй, оправдание многим ее мыслям и поступкам. Но в тот день, когда она пришла к нему обсудить свои работы, это было просто ее имя. Должен же он как-то к ней обращаться. Как его звали, она, безусловно, знала, но после их первой встречи так и продолжала «за глаза» называть его Гений. Вслух же ни разу ему этого не сказала (хотя он этого, безусловно, заслуживал). Противная гордость, видимо, так и не позволила и не смогла, признав кого-то гением, назвать себя забавой…

И Гений влюбился в Забаву. Отчаянно, искренне и безоглядно. Он посвящал ей на протяжении долгих лет стихи, время и свою жизнь. Она все эти годы дарила ему улыбки, розы и вечное «нет» взамен, легко позволяя ему

любить себя на расстоянии, всякий раз скромно, но кокетливо подставляя щеку для прощального поцелуя. Наверное, так же легко, как и позволяла себе долго ему не звонить или, едва закрыв дверь его дома, совершать немыслимые глупости…

— В такое время маршрутки уже не ходят, как вы думаете? Давайте пройдемся вместе до метро, если не возражаете? Наверное, еще успеем на последний поезд, — спросил Забаву ночной незнакомец, случайный попутчик с двумя очаровательными ямочками на щеках, которые делали его и без того юное лицо еще моложе. — Курите? — он уже держал наготове зажигалку, прикрывая ее рукой, потому что огонь то и дело гас от порывов ветра. — Поворачиваемся, — отчетливо и практически по слогам сказал он, заслоняя собой уже не только гаснущую зажигалку, но и Забаву.

— Вы ходите в клуб бальных танцев «Для тех, кому за 20»? — Забаву рассмешила поставленная интонация его голоса и само произнесенное слово. Она почему-то тотчас представила себя бестолковой ученицей на уроке у строгого преподавателя бальных танцев и совершенно безотчетно протянула ему руку. — Забава.

— Бальные танцы отнюдь не забава, а красивое удовольствие и тяжелый труд. Я преподаю бальные танцы в ДК, и не только тем, кому за 20, но и за 30, и за 50.

— Я вовсе не собиралась вас обидеть. Забава — это мое имя.

— Правда? — как-то недоверчиво произнес он. — А меня друзья Танцором называют, — как будто оправдываясь, сказал он. — Тут рядом в гостинице есть довольно неплохое кафе. Зайдем?

Забава посмотрела на него внимательней: другого имени у него действительно быть не могло.

— Поехали ко мне, — спокойно выдохнула она, безжалостно не оставив своему имени ни одного шанса быть просто именем… она забыла, как ее зовут…

Она дарила ему мечты, себя и подарки. Он принимал все как есть. Когда был. И когда был пойман ее телефонным звонком между делами, вальсами и девочками или случайной встречей с ней в метро между станциями и месяцами ожидания его звонка… какой-то непредсказуемый пустяк все время мешал Забаве мешать самой себе думать о Танцоре… какая-то странная важность ерунды в безоружном сердце… забавы ради, потехи для…

— Мне невыносимо пусто без тебя, Забава… а ты сбегаешь от меня все время, не помня имени своего, — с ненавязчивой укоризной, горькой иронией и безнадежной надеждой в голосе повторял всякий раз Гений, когда Забава все же изредка появлялась на пороге его дома. — Словно объявили «белый танец», музыка уже играет, а ты боишься не успеть пригласить своего кавалера?

— Так и есть, — грустно улыбаясь и торопясь привычно подставить щеку для прощального поцелуя, отвечала Забава и снова спешила догнать вечно ускользающую от нее музыку чужого вальса…

— Забава, ну что ты дуешься? Меня не было в городе на этой неделе, возил свою группу на конкурс. Не с твоим именем грустить, давай увидимся сегодня, повеселимся, — легко врал Танцор, не предполагая, что к нему давно ходит дочка одной из подруг Забавы, и вчера у нее было занятие, после которого девочка взахлеб рассказывала по телефону тете Забаве, как красиво она уже умеет танцевать «Ча-ча-ча».

— Устала веселиться. Прости. Да и дел много, через две недели уезжаю по работе на три месяца в Германию, — спокойным голосом ответила Забава

и почувствовала какое-то неожиданное облегчение от впервые сказанного Танцору «нет». — Устала забавлять.

— Я буду без тебя грустить, — тоже впервые каким-то серьезным голосом произнес Танцор и, как-то вдруг растерявшись или не зная, что сказать, повесил трубку…

…Через три месяца Забава не вернулась. Продлили контракт на полгода, а потом и еще на три месяца. Поначалу она писала длинные письма Гению, полные скомканной грусти, непонятной печали и запутанных рассуждений. Он отвечал всегда и сразу, с нескрываемой радостью и удовольствием. И чем реже приходили ее письма, тем длиннее и нежнее были его ответы, которые неизменно заканчивались оборванной есенинской строкой: «мне осталась одна забава…» и начинались так же неизменными «невыносимо пусто без тебя»… Но последние его два письма так и остались без ответа. Она перестала писать совсем…

Танцору Забава звонила первые три месяца каждую неделю. Он был всегда чем-то или кем-то занят, но неподдельно рад слышать ее голос (или Забаве так хотелось думать). Он позвонил один раз — в день ее рождения — и, куда-то очень торопясь, почему-то полушепотом сказал: «Грустно без тебя, Забава», — и больше ничего не добавив и не прощаясь, положил трубку. Потом она начала звонить раз в две недели, потом раз в месяц… и перестала звонить вовсе…

За три недели до окончания контракта неожиданно позвонила подруга:

— Забава, не знаю, может, мне не нужно было тебе звонить, но… твой Танцор… так все нелепо произошло… мы с мужем были у него на похоронах, наша дочка его очень любила, мы ее с собой не брали, мала еще…

Танцор начал жутко пить. Его отстраняли несколько раз от работы, он не приходил на занятия, соседи находили его спящим под дверью собственной квартиры, ему было все равно, с кем и где пить, как он выглядит или что о нем подумают. Он просто запил. В тот вечер он забрался на крышу пятиэтажного дома с компанией случайных собутыльников и после очередного стакана под аплодисменты пьяных дружков начал вытанцовывать на бордюре крыши с низеньким оградительным заборчиком. Кто-то из всей этой бесшабашной компании (он-то и рассказал потом подруге Забавы на похоронах, как все было) пытался успокоить его или хотя бы стащить с этого бордюра. «Прекращай, Танцор! Мы же на крыше, ты что, забыл? Зачем нам твои страшные пляски! Пошли лучше еще выпьем! Зачем ты это делаешь?» — «Забавы ради!» — только и успел крикнуть Танцор, внезапно зацепившись одной ногой за железные прутья заборчика и, неуклюже пытаясь совладать с пьяным телом, потеряв окончательно равновесие, совершил в воздухе свое последнее смертельное «па»…

Забава попросила продлить ей контракт еще на три месяца. В тот же день после звонка подруги она почувствовала острую необходимость написать Гению. И написала ему после долгого молчания длинное-предлинное письмо. Она написала ему все. Все, все, все. Словно ей нужно было не только исповедаться, но и бессознательно обвинить его в чем-то. Ответа на свое письмо Забава не получила. А еще через два месяца (наперекор, быть может, здравому смыслу и визовым кордонам, сквозь туман боли, незначительность дней и кровоточащее отчаянье) она согласилась выйти замуж за улыбчивого Лари, у которого после смерти жены осталась двухлетняя дочь Сюзи и огромное желание сделать кого-то счастливым, в частности, Забаву. Имя Забавы было для Лари просто странным русским именем, не имеющим никаких значений или подтекстов, — просто иностранное имя и все, не более странное для

слуха иностранца, чем Света или Наташа. Забаву это почему-то успокаивало. Нежелание Лари учить Сюзи русскому языку, пожалуй, было единственным разногласием в их отношениях. Языком семьи стал английский, и это всех устраивало…

— Забава, мы с мужем получили твое приглашение на свадьбу. Оформим все документы в посольстве и приедем обязательно! Может, тебе привезти каких-нибудь русских книг или фильмов? Ты же там нигде не купишь, наверное? Ой, чуть не забыла! Недавно в книжном видела последнюю книгу твоего Гения! Я ее себе купила…

— Почему последнюю? — прервала ее Забава, неожиданно ей стало холодно, а телефонная трубка показалась раскаленным кирпичом, обжигающим руку.

— Он… умер месяца полтора назад… сердечный приступ… не молод был все же… В печати было и в «Новостях» передавали. Ты не знала? Ах, да, откуда? Книга называется «НЕ ЗАБАВЫ РАДИ…».

— А «забавы»… с большой буквы? — немеющим голосом спросила Забава, не очень осознавая глупость заданного вопроса.

— Ну, не все, что забава, то про тебя, дорогуша, — пытаясь вывести Забаву из оцепенения, несмело проговорила подруга. — Там все слова большими буквами написаны, а на первой странице есенинский эпиграф: «мне осталась одна забава…», помнишь эти стихи? А под ним, не знаю, откуда и чья строчка: «невыносимо стало пусто без тебя». Алло! Забава! Алло! Ты меня слышишь?!

— Купи ее. Купи мне только эту книгу, больше ничего не вези. Купи обязательно! — Забаве очень хотелось поскорей положить трубку, подняться в свою комнату и зачем-то просто положить руки на стопочку его писем, не перечитывая, просто до них дотронуться.

— Хорошо, — удивленно сказала подруга. — Ты только не волнуйся так! Тебе же нельзя. Сколько у тебя уже месяцев? Еще не знаешь, кто будет? А как назовете? — тараторила она.

— Много месяцев, — торопилась распрощаться Забава. — Будет девочка. Лари хочет назвать Забавой. Ему нравится мое имя. Сказал, что хочет, чтобы у него было две Забавы…

Подруга весело рассмеялась и, не замечая дрогнувшего от слез голоса Забавы, наконец попрощалась.

— Моим Забавам расстраиваться нельзя, — больше попросил, чем сказал Лари, обнимая Забаву за плечи.

— Может, назовем девочку каким-нибудь другим именем? — пряча заплаканные глаза, прошептала Забава.

— Я люблю твое имя. Я люблю тебя. Я хочу, чтобы у меня было две любимые Забавы. Поверь, Забава, я все ради тебя и наших девочек сделаю. Если ты расстраиваешься по поводу русского языка, пусть наши девочки учат русский, но только если сами того захотят. Я против только одного: ездить к твоим друзьям в гости мы будем, но жить мы будем здесь. Ты согласна?

— Да, — тихо произнесла Забава. «Ради Забавы»… Она слышала эти слова не раз в своей жизни. И каждый раз по-разному. Но сейчас, здесь, нося под истерзанным сердцем маленькую Забаву, она молилась только об одном. Пусть в этой стране это имя будет просто непривычным или странным красивым русским именем для ее девочки. Здесь — это просто русское имя. А там, на Руси, — это судьба…

Семнадцать непрожитых лет

Все легко, просто и искренне. Когда тебе 17. И все у тебя получается. И не так, как может и должно получаться, а так, как ты того хочешь. И только так. И все это — навсегда. И никак не меньше. Потому что ты в это веришь. Ты распахиваешь глаза новому дню и каждому улыбающемуся тебе лицу так же, как распахиваешь окна восходящему солнцу утром в своей квартире. Ты распахиваешь окно своей наивной души, с радостью и интересом ожидая того, кто в нее заглянет…

— *Вы не москвичка? Простите, как вас зовут? Можно? Откуда вы?*

— *Ляля. Из Минска. Но вообще-то… родом из Сибири. А вы, наверное, из Грузии?*

— *Давид. Из Тбилиси. Вы тоже на экскурсию…*

Семь дней в Москве. Выставки, купола, площади, суета. Акающий говор, спешка, гостиница. Вокзал, глаза, телефон, адрес… Давид. Минск.

— Кто это тебе звонит все время? Давид? Из Тбилиси? Я запрещаю тебе…

— Мама, я собираюсь к нему лететь…

— Я запрещаю…

Три дня в Тбилиси. Аэропорт, букет синих гвоздик, хачапури, канатный трамвайчик. Длинные тосты, старинные церкви, много света, тепла и грузинской речи. Шампанское в кафе аэровокзала, не отпускающие глаза «я позвоню», прикосновение настойчивых губ «я тебя очень-очень…» … Давид. Минск.

Первые аттестаты, последние звонки, студенческая кутерьма, институтские романы.

— *Ляля, я буду служить в Мурманске. Приедешь? Пообещай!*

— *Я буду писать…*

— *Ляля!!!*

— *Я приеду… обещаю…*

Четыре дня в Мурманске. Стипендия, аэропорт, ледяной ветер со снегом, запах холодного моря и мороженой рыбы. Солдатская форма, «самоволка», квартира по объявлению. Горячая рука, до боли сжимающая замерзающие пальцы, застывшие слезы в глазах от порывистого ветра и пронзительного счастья, шелест слов прощания, оборванный ревом турбин взлетающих самолетов, «я тебя всегда… никогда… очень…»… Давид. Минск.

— *Ляля, что с голосом? Приезжай, у моей мамы сегодня день рождения, тут весь Тбилиси собрался у нас дома. Тебя все ждут. Я тебя жду! Алло, девочка моя, где ты там? Алло?!*

— *...у меня умерла мама...*

— *Ляля, я приеду.*

— *Я сама...*

Пять дней в Тбилиси. Знакомый аэропорт, радушный город, родные руки и гордые глаза. Осторожность слов, требовательность тона. «Хочу сына. Я не смогу жить у тебя в Минске… оставайся…» — «Нет». Пощечина, извинения и боль, перерезанные ножом вены. Порванный билет, много-много молчания, смешная игрушка-подарок «целующиеся русская девочка и грузинский мальчик» на пружинке с магнитиком, ускользающий в небо самолет, как ладонь из любимых рук, своя — чужая обида… Давид. Минск.

— *Девочка моя, где ты ходишь? Я звонил тебе три дня подряд, даже ночью!*

— *Я была в больнице...*

— *...зачем... зачем ты это сделала!... Ляля, это был наш... Как ты посмела...*

Работа. Много разной работы. Разных работ и предложений. Предложений на одну ночь и на всю жизнь. Много-много всего и всех. Ничего и никого. 10 лет не-ожидания и радости от коротких звонков межгорода, 3650 дней невыдуманных дат, надуманной верности и никому не нужного дыхания «не тех»…

— Давид, давай отпразднуем наши с тобой 10 лет. Прилетай. Или, если хочешь, давай в Москве, в нашей с тобой гостинице «Измайловская», как тогда… помнишь?

— Я все помню, Ляля. Не могу. Приедешь, объясню…

Семь дней в Тбилиси. Знакомый незнакомец-город, букет фиалок, милые подарки-безделушки, странная чужая квартира, настороженная раскованность. Родной незнакомый человек, серьезные глаза, обрывистые фразы. Обжигающее молчанием и желанием дыхание у щеки, скупая гордость проигравшего победителя. Чужой муж. «…Вторая жена… родилась девочка… назвали Софико… так получилось… только тебя… только ты… ты сама не захотела… не говорил… боялся… никогда больше… никого на свете… я тебя…»… Давид. Минск.

Неотчетливые границы между днем и ночью, ненужный счет неделям и месяцам, годам, протяженностью в два-три полуночных звонка и больше ничем не запоминающимся. Чьи-то заинтересованные глаза и робкие руки, чьи-то резкие слова и немая, обделенная, случайная нежность. И сравнение… легким прощанием.

— Давид, мне вчера снился очень плохой сон о тебе.

— Лялечка, у меня вчера умерла бабушка, помнишь, мы с тобой ходили к ней в гости… Ляля, мы чувствуем друг друга даже на расстоянии… я тебя очень-очень…

Смена сезонов и настроений, простых вещей сложными и наоборот, работ, друзей и квартир. Смена предательства преданностью, равнодушия — равными душами и искренности — мудростью. Незамеченная никем поочередная смена еще пяти отрывных календарей над кухонным столиком, быстро худеющих за ненадобностью хозяевам.

— Лялечка, я звоню тебе всю неделю. Знаешь, чуть не врезался на машине. Ехал, и вдруг — ты, прямо перед глазами. Голос уставший. Уезжала?

— Неделю была в больнице. Увезла «скорая»… что-то с кровью… все нормально.

— Почему не позвонила! У меня II группа! Какая тебе нужна?! Я приеду!

— Все обошлось.

— Ляля, я тебя очень люблю. Я всегда буду любить только тебя одну. Пока не умру. Пока буду дышать. Все эти 17 лет — они только наши… Мы всегда будем вместе…

— …в следующей жизни, Давид…

— …не надо так, Ляля… помнишь нашу первую встречу, нашу осень…

— …мы сами с тобой — «осень»… с первой встречи, Давид… всегда…

Пять коротких жизней. Пять встреч в разных городах, в разное время, в разные года. Длиною в 26 дней вместе. 26 дней, вместивших судьбы двух людей. 17 лет — двух пережитых судеб непрожитой любви. 17 пережитых, непрожитых лет. 17 лет одной Любви.

— Ляля, я не могу больше без тебя! Слышишь! Я летом обязательно приеду! Родная, ты меня слышишь! Я тебя очень-очень…

— Рада тебя слышать. Прости, я не могу сейчас с тобой разговаривать… я не одна, Давид…я…

— Ляля! Я тебя…

— ………

ЕЛИЗАВЕТА ПОЛЕЕС

Присягаю свободе

Скажи мне еще раз…

Скажи мне еще раз:
«До завтра. До встречи. Пока».
Не надо менять ничего
ни в душе, ни в природе.
Пусть так же лениво
по небу плывут облака,
Кроя силуэты
согласно причудливой моде…

Скажи мне еще раз —
и больше не будет потерь,
И снова растают
тяжелые вечные льдины,
И я приоткрою
уже заржавевшую дверь
И ветошью белою
с сердца смахну паутину,

И, сдавшись на милость
не раз обманувшей судьбе,
Я снова подслушаю
полночи тайные звуки…
Никто не убит, слава Богу,
на этой войне,
А только обманут
предчувствием легкой разлуки…

* * *

Однако страсти две я знаю в мире этом:
Одна — с тобою быть, другая — быть поэтом.
Какая победит? Они друг с другом в споре.
А я — как разделюсь меж радостью и горем?

А я ну как пойму, какое чувство выше?
Я так тебя люблю, когда тебя я слышу.
И так тоскую я — три дня с тобой в разлуке.
Вот-вот я протяну к тебе — пустые руки.

Вот-вот, уже сейчас, я выбегу навстречу,
И ветер разорву, и опрокину свечи
Романтики ночей…
Но Муза прилетает —
Пленяет ворожбой, и бабочкой порхает,

И красками пьянит до головокруженья.
Ах, как они легки, крылатые движенья!
И как она сейчас податлива — бумага,
И как перо скользит, слагая жизни сагу!

И как послушно, в ряд, летит за строчкой строчка.
Знаком и незнаком мне этот скорый почерк…
Но пробуждаюсь вдруг —
одна, в пустой квартире.
Кто я? Стрелок? Мишень?
Кто победитель в тире?

Тишина

Сад окутан белой ватой,
На деревьях — тонкий иней.
— Невиновна?.. Виновата?.. —
Жду ответ я от эриний.

Душу тянут вниз заплаты.
Сердце спрятано в железо.
— Неповинна?.. Виновата?.. —
Ждать ответа бесполезно.

Чтобы снова стать крылатой,
Я должна услышать голос!..
— Неподсудна?.. Виновата?.. —
Тишина не раскололась…

* * *

Как смертнику — воли, голодному — хлеба,
Так мне не хватает огромного неба,
Так мне не хватает размашистых крыльев,
Бескрайнего поля и ветреной силы.

Как моется лапкой котенок спросонок,
Так я очищаюсь —
незнаньем законов.
Сметая приличья, взлетаю —
и снова
Держусь отрицаньем
запретного слова.

Как небу нужны облака и просторы,
Как снежным лавинам — высокие горы,
Как нужен ребенку пружинистый мячик,
Так песне моей — и молитвы, и плачи.

* * *

Разбросала себя, распылила
На ненужные встречи и споры.
Не того — по ошибке — любила,
Не о том я вела разговоры.

Разменяла судьбы тихий омут
На сюжеты, на строчки, на темы.
Жизнь считала простой аксиомой,
Да пришлось разбирать теоремы.

Раздарила легко, разметала
И надежды, и нежность, и чуткость…
На дорогах, где счастье искала,
Незабудки цветут, незабудки…

* * *

Не бойся открытий, не бойся потерь.
Давно заколдована в прошлое дверь.

Не бойся отплытий больших кораблей.
За жизнь, что приснилась, бокалы налей.

Бокалы налей золотого вина.
Есть в жизни находки, не только вина.

До самого дна опрокинешь печаль —
И близкою станет далекая даль.

И станет серебряной песня ручья.
Ты тоже, как песня:
для всех и ничья.

* * *

Памяти А. Моисеева

Отгоревал ты земное бытье
И отступил за иные пределы…
Где оно, где оно, сердце твое,
Где оно, близкое некогда тело?

В переплетенье страстей и невзгод
Длилось не долго простое участье…

Освобожденный теперь от забот,
Видишь каким свое новое счастье?

Взяты какие тобой рубежи?
Тесны ль границы полученных знаний?
Разве не странная выдумка — жизнь,
Если в минуту разрушено зданье?

Что в тишине, в мире звездном — порог?
Или безбрежье, бесстрашье, бессмертье?
Кто тебя встретил у вечности — Бог?
Кто напоил твою душу за твердью?

* * *

Чтобы мне не нести этот крест окаянный,
Разорву пополам я и цепи, и кольца.
И наградою вечности будет молчанье —
Потаенной скорбящей душе богомольца.

Чтобы мне не сгореть в этом зареве адовом,
Я очищу себя от любви, как от скверны,
Потому как оков, и надежных, не надо мне —
Присягаю свободе на верную верность.

Потому как простор лишь
душе полагается,
Потому как влекут ее выси и шири,
И в небесных пространствах она очищается,
А не в горестях-радостях душной квартиры.

Если ангел слезинку уронит нечаянно —
Разольются в пустыне живые колодца.
А утехой скиталице станет отчаянье,
Если сил не останется больше бороться.

* * *

Музыки хочется… Музыки… Звука…
Музыки-нежности, музыки-муки,
Музыки-счастья, надежды, удачи…
Музыки-радости, музыки-плача.

Музыки-страсти, такой, чтоб за горло
Сразу брала. Чтоб, забыв свою гордость,
Падала я перед ней на колени,
Как о спасенье, мечтая о плене.

Музыки жду, как молитвы, как света,
Музыки осени, музыки лета,
Музыки весен и музыки зимней,
Музыки, музыки необъяснимой…

Литературный микс

У большинства современных людей заимствованное слово «микс» наверняка ассоциируется, прежде всего, с различными овощными смесями, в изобилии представленными в наших супермаркетах. А что, если расширить спектр значений слова? Скажем, отнести его к событиям литературной жизни? Для начала хотя бы к тем из них, что уже успели стать историей.

Ведь перефразировав известный афоризм Наполеона о том, что от великого до смешного один шаг, можно смело сказать: в литературе и искусстве сплошь и рядом великое известное соседствует с не менее достойным неизвестным, и расстояние между ними порой даже меньше шага. Наглядным тому подтверждением являются два рассказа, представленные ниже.

Первый из них написан англичанином Джулианом Джозефом Маклареном-Россом (1912—1964). Современники Росса острили, что он принадлежит к числу тех писателей, про которых больше говорят, чем читают их книги. Так это или не так, сегодня, по прошествии времени, сказать трудно, но то, что Росс был завсегдатаем всех наиболее известных лондонских литературных кафе и признанным «селебрити» в большинстве пабов Сохо, это факт.

Своеобразной авторской «фишкой» Макларена-Росса было то, что большинство своих коротких историй он вначале проговаривал в кругу друзей и знакомых именно в этих самых пабах. Он словно оттачивал сюжет, да и сам авторский стиль, на слушателях, чтобы потом, вернувшись домой, быстро отстучать очередную коротенькую новеллу на машинке, отнести ее в редакцию какой-нибудь газеты и получить гонорар, достаточный разве для того, чтобы провести еще один вечер среди лондонской богемы, развлекая ее очередной порцией воспоминаний.

Да, именно так! Ибо и современники, и критики, занимавшиеся исследованием творчества писателя уже после его смерти, до сих пор спорят о том, что из того, что им написано, можно отнести к мемуарному жанру, а что является стопроцентным литературным вымыслом. А потому неудивительно, что когда в конце сороковых годов появились его «Воспоминания», в которых фигурировали многие известные имена и личности, читающая публика терялась в догадках, не очередная ли это мистификация от Росса. Впрочем, и читатели, и критики тогда сошлись во мнении, что впервые Макларен-Росс сделал свое письменное повествование таким же стильным и элегантным, каким всегда был сам. Пожалуй, впервые и суммы его гонораров стали исчисляться трехзначными цифрами. А в результате выпивки и наркотиков стало еще больше, возросло и количество слухов о его пьяных похождениях.

В одном из рассказов Росс не без юмора описывает свою первую встречу с еще одним известным дебоширом того времени, поэтом Диланом Томасом. «Мы стояли друг против друга, растерянные и смущенные, не зная, что сказать. Так ведут себя незнакомые дети, которых любящие родители отправили поиграть на улице вместе, искренне полагая, что раз они — одногодки, то обязательно поладят друг с другом». Надо сказать, что эти двое действительно отлично поладили, о чем сохранилось множество воспоминаний, в том числе и об их совместных увеселительных прогулках по Лондону.

«Сохотизм», по выражению одного из критиков, все глубже затягивал Росса в свои сети. Он умер рано, не осуществив и сотой доли того, что мог бы с его талантом и литературными способностями, пополнив собой бесконечный список забытых и ныне неизвестных писателей. Хотя, как утверждают современники, дарование Макларена-Росса ничуть не уступало таланту его более удачливого и известного коллеги Грэма Грина.

А доверительная интонация, простой, безыскусный стиль повествования, незамысловатый сюжет большинства его «историй» и сегодня хватают за душу и держат в напряжении до последней строчки. В чем могут убедиться и читатели «Нёмана», прочитав рассказ «Второй лейтенант Льюис».

В отличие от Макларена-Росса, имя Олдоса Хаксли (1894—1963) не нуждается в особых представлениях. Признанный мастер британской прозы XX столетия, он своим творчеством и, в частности, романами, созданными в 20—30-е годы, оказал огромное влияние на литературу «потерянного поколения», виднейшими представителями которого в англоязычной прозе стали Э. Хемингуэй и Р. Олдингтон.

Парадоксально, но факт: не воевавший Хаксли, пожалуй, первым среди английских писателей уловил и отразил чувство «потерянности» целого поколения в своем романе «Желтый Кром» (1921), и сделал это на целых восемь лет раньше, чем Ричард Олдингтон в «Смерти героя».

Правда, «потерянность» героев Хаксли, как справедливо заметил известный литературовед Г. Анджапаридзе, несколько иного качества, чем у тех, кто предстал, скажем, на страницах «Прощай, оружие!» Э. Хемингуэя или «Три товарища» Э. Ремарка. Персонажи ранних романов Хаксли «потерялись» не в грязных окопах, а в шикарных ночных клубах, в дорогих ресторанах, светских гостиных и старинных фамильных поместьях. И тем не менее чувство одиночества, разобщенности и личной неприкаянности, все эти переживания у пресытившихся богачей Хаксли не менее остры, чем у тех, кто пережил гибель товарищей на передовой, видел грязь, кровь и пот войны без прикрас, войны такой, какая она есть на самом деле.

Прозу Олдоса Хаксли часто относят к «интеллектуальной» литературе. Сам же писатель предпочитал более скромное определение, называя многие свои книги «романами идей». Кстати, он вполне объективно оценивал сильные и слабые стороны собственного дарования. «Я никогда не считал себя прирожденным романистом», — признавался он в одном из своих поздних эссе. Про свои же «романы идей» Хаксли сказал, что они страдают ограниченностью, потому что в них повествуется о людях, которым есть что сказать. А таковых, по мнению писателя, всего лишь 0,01 процента от общего числа обитателей нашей планеты.

С возрастом разочарование Хаксли в человеке и его возможностях изменить мир к лучшему становится все сильнее и очевиднее. Усиливается и сатирическая направленность его прозы. Его герои мечутся в поисках духовной опоры там, где ее нет и не может быть: вокруг них царит опустошенность, ханжество, аморализм и стяжательство.

Вот и героиня рассказа «Время мстит» (1951) приходит к весьма трагическому для себя выводу: ее существование бесцельно. Она прожила свою жизнь зря, фарисейское христианство ей претит, а показная благотворительность вызывает лишь горькую иронию.

Отдельного разговора заслуживает авторский стиль Хаксли. Вот уж где интеллектуализм англичанина выступает в полную мощь. Блестящее образование, полученное в привилегированном Итоне, а позднее в стенах Бэллиол-колледжа, одного из старейших и самых почтенных колледжей Оксфорда, все это не могло не сказаться на авторской манере писателя. Сложный, витиеватый язык, обилие редко используемых, а то и вовсе вышедших из употребления слов, тонкие аллюзии, изощренные метафоры, ирония, сарказм, вкрапления из латыни, насыщенный подтекст — вот лишь некоторые, наиболее бросающиеся в глаза, особенности прозы Хаксли. Иногда даже закрадывается мысль, что за всем этим литературным нагромождением скрывается самый обыкновенный снобизм: интеллектуал-Хаксли пишет для таких же, как он, интеллектуалов, тех, кто стоит с ним вровень по своему культурному и образовательному уровню. Не поэтому ли с годами творческое наследие Хаксли все больше и больше отступает в тень? Да и его пессимистический взгляд на будущее человечества все же кажется немного преувеличенным.

Зинаида Красневская

ДЖУЛИАН ДЖОЗЕФ МАКЛАРЕН-РОСС

Второй лейтенант Льюис

I

У меня плохая память на даты, а дневников я не веду и никогда не вел. А потому не могу сказать со всей определенностью, когда именно произошло наше знакомство. Скорее всего, это случилось весной или в самом начале июня 1942 года.

Помню, я вошел в казарменный коридор и буквально споткнулся о двух парней-новобранцев, которые ползали на четвереньках, начищая до блеска кафельный пол, выложенный шашечкой. В помещении сильно воняло хозяйственным мылом. Распахнулась дверь одного из кабинетов на первом этаже, и оттуда навстречу мне вышел капрал Декстер. Он был без кителя, с распахнутым воротом рубахи. Почесывая грудь, он широко улыбнулся и сказал.

— Привет, Росси! К себе? Тебя, между прочим, какой-то офицер разыскивал.

— Ну и на здоровье! У меня дежурство уже закончилось.

— Отставить разговорчики. Ты что, забыл, что солдат обязан быть при исполнении двадцать четыре часа в сутки, а?

У Декстера было полно в запасе подобных идиотских сентенций на все случаи армейской жизни, и он часто озвучивал их к месту и не к месту. Но всякий раз, произнося очередную глупость, делал это с таким видом, будто бы прописная истина пришла ему в голову только сейчас. Он числился постоянным дневальным сержантом при штабе и, несмотря на свою внешнюю доброжелательность и грубовато-добродушный юмор, любил, как и положено всякому сержанту, покомандовать подчиненными. В своей прошлой цивильной жизни он занимался тем, что мастерил из соломки женские шляпки.

— Лично мне наплевать на то, что ты сделаешь! — добавил он добродушным тоном. — Мое дело — лишь передать тебе то, что он велел. Чтобы ты нашел его или немедленно связался с ним, как только объявишься после дежурства.

— Пусть ждет до утра! — отмахнулся я от капрала, ни минуты не сомневаясь в том, что меня опять разыскивает кто-нибудь из младших офицеров. Очередной желторотый юнец, только-только со школьной скамьи, который даже не знает, как правильно написать то или иное слово. Или лейтенант Бакли: тот тоже взял себе моду и постоянно досаждает мне одними и теми же просьбами, чтобы я печатал ему бумаги на машинке в свое свободное время. Я уже намеревался идти к себе, как Декстер снова остановил меня.

— Говорю же: мне до лампочки, как ты поступишь, но дело в том, что он — не из наших. Он из Уэльского полка. Одна звездочка на погонах. Минуточку! Сейчас я скажу тебе его имя! — капрал поднес к глазам руку, на которой карандашом были нацарапаны какие-то буквы. — А, вот! Льюис, мистер Льюис. Очень просил, чтобы ты зашел к ним в полк. Несколько раз назвал тебя по имени. И вообще, держался крайне уважительно.

Выдав мне всю имеющуюся у него информацию, капрал снова переключился на новобранцев, которые, воспользовавшись нашим разговором, немедленно разогнули спины и перестали тереть плитку. Зычным воплем Декстер быстро вернул их к работе.

Я ушел заинтригованным. У меня не было знакомых валлийцев с одной офицерской звездочкой по фамилии Льюис. А потому, движимый скорее любопытством, чем желанием выслужиться перед капралом, я вышел на улицу и направился вдоль морской набережной, залитой вечерним солнцем. Когда-то это было место для отдыха. Но сейчас все побережье было утыкано ржавыми кольцами проводов, а в море плавали мины, похожие издали на буйки.

На подходе к казармам Уэльского полка меня остановил часовой. Мистер Льюис сейчас ужинает, объяснил он. Офицерская столовая — третий корпус слева. Я вошел внутрь. Здание казалось вымершим. Гулким эхом отдавался звук моих шагов по голому полу, кое-где виднелись следы осыпавшейся штукатурки, обои отклеились от сырости и клочьями свисали со стен. Из кухни вынырнул дневальный с чайником в руке. Он охотно пообещал найти мне мистера Льюиса и тотчас же исчез в глубине здания. Через какое-то время я увидел молодого офицера, стремительно сбегающего вниз по лестнице. Он был в кителе, с одной звездочкой на погонах, но без офицерского поясного ремня с портупеей. Такое впечатление, словно он готовился предстать перед военным трибуналом. Внешность у него была действительно стопроцентно валлийская: темное, обветренное лицо и глубоко посаженные глаза.

Я вытянулся по стойке смирно и, взяв под козырек, отрапортовал.

— Личный номер — 6027033. Рядовой Росс прибыл в ваше распоряжение, сэр.

К моему удивлению, лицо валлийца вспыхнуло темным румянцем. Он отвернул голову и что-то пробормотал вполголоса, но так тихо, что я ничего не расслышал.

— Прошу прощения, сэр? — переспросил я.

Тогда он повторил, на сей раз уже погромче:

— Меня зовут Алан Льюис.

И подал руку. А в следующую секунду я уже энергично тряс протянутую для приветствия руку.

— Я и понятия не имел, что это вы! Мне сказали, что меня разыскивает какой-то мистер Льюис и что я должен немедленно явиться к вам.

— Вот дурачье! — тяжело вздохнул он. — Но это так похоже на наших военных! А я, в свою очередь, решил, что вы меня разыгрываете, когда взяли под козырек.

Он улыбнулся. Улыбка получилась веселой и по-мальчишески озорной. Он говорил быстро и с характерной валлийской интонацией. Поначалу мне было трудно понять его речь. Позднее я приспособился к его манере разговора и пришел к выводу, что сбивчивость речи — это следствие его невероятной застенчивости. Льюис был очень стеснителен.

— Поднимемся в столовую! — предложил он. — Там сейчас только один офицер остался. Все остальные уже ушли на танцы.

Мы стали подниматься по лестнице, и я спросил:

— А как вы меня нашли?

— Ваш полковой священник помог мне. Он назвал ваше имя, Росс, и сказал, что вы — писатель. И я сразу же решил, что вы, должно быть, Хью Росс Уильямсон.

— А я вот и представить себе не мог, что вы — Уиндем Льюис.

Он снова густо покраснел и пробормотал что-то нечленораздельное.

Я постарался взять себя в руки и перестать пороть чепуху. Судя по всему, мой незамысловатый комплимент расстроил лейтенанта и еще более усугубил его смущение. Мы подошли к дверям офицерской столовой, и вот уже наступил мой черед смущаться. Интересно, как должен вести себя рядовой, если его пригласили в офицерскую столовую? Я решил придать своему визиту некий оттенок светского мероприятия и немедленно стащил с головы пилотку, словно приготовился предстать перед кем-нибудь из крупных министерских чиновников. Кстати, отсутствие форменного головного убора позволяло обойтись без церемонии взятия под козырек при виде второго офицера, который расположился за одним столом с Аланом Льюисом. Алан коротко представил меня ему, и мы с офицером даже не обменялись рукопожатиями, так как я уселся с другого конца стола. Впрочем, они оба уже успели отужинать, и дневальный как раз собирал посуду со стола. У парня глаза чуть не вылезли из орбит, когда он услышал, как Льюис

пригласил меня к столу и предложил чашечку кофе. Но вот кофе был допит, и за столом воцарилась неловкая тишина. Льюис пружинисто поднялся с места и подошел к окну. Оно выходило на море. Вдали, у самой кромки горизонта, виднелся боевой корабль. Некоторое время мы оба рассматривали его в полевой бинокль. Но, в конце концов, тема с кораблем была тоже полностью исчерпана, мы снова вернулись к столу, сели и сконфуженно продолжали молчать. Потом пустили по кругу сигареты, но тут офицер встал и, сославшись на то, что ему пора заступать на дежурство, ушел.

Мы остались за столом одни.

— Видите ли, — начал Льюис, — я разыскивал вас потому, что хотел расспросить об Индии. На днях нашу часть перебрасывают туда. Надеюсь, я не выболтал никакой военной тайны! — закончил он с улыбкой.

— Отнюдь! Все знают, что Уэльский полк направляют в Индию. Но чем я могу быть вам полезен в этой ситуации? Не представляю!

Льюис бросил на меня удивленный взгляд.

— Но как же! Вы ведь так хорошо знаете Индию!

— Да я там никогда не был! Ни разу в своей жизни! — воскликнул я и тут же понял, что допустил очередной промах. К этому времени у меня уже вышло два небольших романа. И в обоих события разворачивались именно в Индии, а если быть совсем уж точным, то в Мадрасе. И вот сейчас мне предстоит объяснять своему собрату по перу, как и где я собирал материал для книг. Такие казусы постоянно случаются с литераторами, а потому читающей публике лучше не встречаться с авторами тех книг, которые они прочитали. Иначе их поджидает множество неприятных открытий.

Вот и Льюис не стал исключением. Он был явно разочарован.

— Я недавно прочитал ваш новый рассказ. В антологии журнала «Форчун», — начал он, заметно смущаясь. — Правда, он уже не об Индии.

— Да уж! — согласился я. — К Востоку этот рассказ не имеет никакого отношения. Он об одном тридцатилетнем ловеласе, который соблазнил шестнадцатилетнюю девушку в небольшом приморском отеле.

Льюис снова густо покраснел, а когда заговорил, то в его речи опять прорезался валлийский акцент.

— Мне заказали рецензию на эту антологию для газеты «Трибьюн». Надеюсь, вы не обидитесь, — он слегка откашлялся и смущенно уставился в свою чашку с кофе, — если в статье я не упомяну ваш рассказ?

— Нисколько! Вы считаете, что он совсем плох?

— Нет-нет! Ни в коем случае! Но, видите ли, в нем идет речь о сексе. А мне бы никак не хотелось высказываться по этому поводу.

— Потому что я отношусь к сексу несерьезно?

Он молча кивнул в знак согласия. Это уже тянуло на тяжкое обвинение! По правде говоря, мне всегда претила сама мысль о том, что секс следует воспринимать как некий сакральный фетиш. Я никогда не понимал такого трепетно возвышенного отношения к сексу. Мне оно казалось не просто старомодным, но насквозь пуританским. Что было тем более удивительно для писателя, автора такой изумительной и волнующей по своему накалу чувств истории, как «Странники». Неужели он настолько лицемерен? К счастью, как выяснилось позднее, Алан Льюис не был ни лицемером, ни пуританином. Но любовь к жене и уважение к женщинам вообще, а также то обстоятельство, что жена была в положении и они в любую минуту могли расстаться, не исключено, что навсегда, все это сделало Льюиса крайне чувствительным к чересчур фривольным разговорам о сексе. Да и софистика в этом вопросе тоже вызывала его категорическое неприятие. Мы немного поспорили. Но Алан остался при своем мнении, и мои аргументы его не убедили. Он лишь тихо покашливал во время моих тирад и методично ударял ботинком о ножку стола. Постепенно от секса мы перешли к вопросам литературы как таковой. Стали обсуждать некоторые чисто техни-

ческие проблемы литературного творчества. Льюис признался мне, что восхищается рассказами некоего летчика имярек, и поинтересовался у меня, знаю ли я что-нибудь об этом человеке. Потом сказал, что и сам задумал написать цикл рассказов об армейской жизни. Некоторые из них уже в работе. Мы пошли к нему в комнату взглянуть на рукописи.

Его комнатка, крохотный кубик с окном, упирающимся в глухую стену, была ничуть не больше и ничуть не лучше моего койко-места в казарме. Разве что у него была удобная походная кровать и небольшой письменный стол, заваленный многочисленными брошюрами на военную тематику. Льюис уселся прямо на кровать и энергично взъерошил коротко постриженные волосы. И это при том, что их командир полка бдительно следил за прическами своих офицеров. Он даже не возражал против укладок щипцами. Часть брошюр успела соскользнуть со стола, и они валялись по всему полу. Я мельком взглянул на названия: «Ведение военных действий», «Техника ближнего боя», «Владение оружием», документы Министерства обороны. Льюис посмотрел на них с самым несчастным видом.

— Мне еще предстоит вызубрить назубок всю эту гадость! — пояснил он. Оказалось, он совсем недавно вернулся в часть после учебки. Черт-те что, но ему там понравилось. А вот это, он ткнул рукой в сторону брошюр, он действительно ненавидел: бумажная работа, зубрежка, подготовка бесконечных отчетов и справок, которые еще надо самому напечатать на машинке. Словом, противная канцелярская работа, когда все время нужно быть начеку, чтобы — не дай бог! — ничего не забыть.

— Надеюсь, там все будет по-другому! — озвучил он тайную надежду всех солдат всех времен и всех войн. — Но пока туда доберешься!

Потом он показал мне два своих рассказа. И третий, который еще не был окончен, но должен стать завершением этой своеобразной трилогии. Рассказ назывался «Щелчок». А еще Алан вручил мне целую стопку рукописей, чтобы я взял их с собой и прочитал на досуге. В этот момент в дверь постучали. Наверное, командир, подумал я. Сейчас устроит Льюису нагоняй за то, что он якшается с рядовыми солдатами. Но я ошибся. Это был наш полковой капеллан, который, собственно, и свел нас с Льюисом.

Священник уже однажды попросил меня об одном одолжении: никогда не писать про него в своих опусах. И я уже однажды благополучно нарушил данное ему слово. А потому ограничусь лишь тем, что скажу: наш капеллан был одним из самых умных и образованных людей из всех, кого я встречал во время своей армейской службы. А еще он как никто умел понимать других.

Священник не задержался у Льюиса надолго, выкурил трубку и ушел, но этого оказалось достаточно, чтобы мы с Льюисом окончательно освоились в обществе друг друга и почувствовали себя вполне непринужденно. Мы даже решили отметить наше знакомство в одном из местных пабов. Вышли на улицу, но тут Льюис хватился, что снова забыл нацепить портупею.

— Вечно я забываю про эту штуковину! — пожаловался он мне, когда мы уже шли по улице и он на ходу поправлял ремень.

По другой стороне улицы фланирующей походкой навстречу нам шел старший сержант из моей части. Поравнявшись с нами, он измерил Льюиса пристальным взглядом и щеголевато отсалютовал ему, видно, воображая, что в эту минуту у него за спиной торчит весь батальон. Льюис тоже попытался ответить приветствием: он поднял руку, но в этот момент его ремень свалился на землю. Он наклонился, чтобы поднять злосчастную амуницию, но сержант уже гордо прошествовал мимо, поблескивая на солнце своими начищенными башмаками на толстой резиновой подошве. На его лице застыло категорическое неодобрение увиденного.

— Вечно у меня все не так! — сокрушался Льюис, застегивая ремень, который занял, наконец, положенное ему место. — Вот, обидел человека. К тому же, старшего сержанта!

— А, не переживайте! — беззаботно откликнулся я. — Во-первых, это мой сержант. А во-вторых, на гражданке он был молочником.

— Ну и что? — возмутился Льюис. — Я вообще терпеть не могу этот классовый снобизм!

— Я тоже! — согласился я. — Но наш молодой человек принадлежит к числу людей, которые с удовольствием используют военное время для сведения мелких счетов с другими людьми и для потакания своим многочисленным комплексам неполноценности. К тому же, уверяю вас, из нас троих именно он — самый большой сноб. Готов поспорить на что угодно, что на выборах он голосует исключительно за консерваторов.

Льюис не поддержал мою точку зрения, но сказал, что ему в свое время тоже пришлось столкнуться с довольно неприятными типами в звании старших сержантов. Так, сопоставляя наши знания о том, кто есть кто в армии, мы незаметно дошли до паба. В пабе было не протолкнуться. Еще бы! Все мы уже забыли, когда в последний раз пропускали по маленькой. А если выпивка все же случалась, то разрешался только бокал светлого пива из разряда слабых алкогольных напитков. Вокруг стоял невероятный шум, и нам приходилось просто кричать, чтобы услышать друг друга. Солдаты из полка Льюиса то и дело подходили к нему, приветствовали его, предлагали выпить за компанию. Наконец бармен зычным голосом объявил: «Время! Мы закрываемся!», и мы покинули паб. Капрал Декстер висел на воротах и болтал с одной довольно любопытной особой, которая подвизалась у нас в части в качестве парикмахерши. Завидев нас, он повернулся и отсалютовал старшему по званию. На сей раз обошлось без конфуза. Льюис ответил на приветствие, не уронив свой стек. Да и фуражка осталась на его голове, не свалившись наземь. Декстер уставился на лейтенанта с откровенным любопытством, даже рот у него слегка приоткрылся. Разумеется, никто из нас двоих не мог щегольнуть отменной военной выправкой. А потому, наверное, с точки зрения бывалого вояки, мы с Льюисом, офицер и рядовой, являли собой довольно странную парочку. И весьма колоритную.

— А вы пытались сдать экзамены на присвоение младшего офицерского звания? — поинтересовался у меня Льюис.

— Пробовал и успешно завалил все тесты. Документы вернули в часть с резолюцией «Не годен».

— Я сейчас тоже не уверен, что поступил правильно, став офицером, — неожиданно признался Льюис. — На гражданке мне казалось, что именно на офицерском поприще я смогу сделать что-то стоящее, как-то помочь людям. Увы-увы-увы! Офицеры еще более ограничены в своих возможностях, нежели рядовые.

Чувство собственной беспомощности и воспоминание о тех бесчисленных брошюрах, которые остались валяться в маленькой душной комнатенке и которые ему предстоит штудировать и заучивать наизусть, затрачивая на это драгоценные часы своего свободного времени, вместо того, чтобы написать еще один рассказ или стихотворение, все эти тягостные переживания немедленно отразились на лице Алана. Видно, армейская рутина и в самом деле действовала на него угнетающе. Пожалуй, если бы не жена и не предстоящая переброска полка в Индию, то жизнь вообще превратилась бы в тошнотворное существование. А так, как-никак, перспектива собственными глазами увидеть тропические джунгли, столкнуться, наконец, в открытом бою с япошками, то есть проявить себя в настоящем деле, — все это пока рисовалось ему исключительно в розовом свете, как поистине счастливая возможность круто изменить нынешнее прозябание. Не скрою, в какой-то момент даже я, человек, не связанный ни с кем родственными или иными узами, почувствовал некоторую зависть при мысли обо всех грядущих переменах в жизни Льюиса.

Я поинтересовался у него, как однополчане относятся к тому, что он — поэт. Поначалу, сказал он, этот факт его биографии воспринимался в офицерском сообществе весьма неоднозначно. Многие отпускали презрительные шуточки в его

адрес, дескать, тоже Шекспир выискался. Другие просили сочинить какое-нибудь непристойное четверостишие для дружеской пирушки. Но все изменилось после того, как кто-то из сослуживцев откопал старый номер журнала «Лилипут», в котором был помещен его портрет. Офицерская столовая по достоинству оценила такую известность однополчанина. Пожалуй, о большей славе и мечтать не приходится. Ну, разве что если вдруг фотография поэта появится в каком-нибудь откровенно эротическом журнале с подзаголовком «Только для мужчин». А пока… пока его литературное творчество воспринимается сослуживцами как вполне безвредное хобби, которому позволительно предаваться в редкие часы досуга. К тому же, все в полку не сомневались, что Индия вышибет из его головы все эти глупости.

Мы снова возвратились туда, откуда ушли: к дверям офицерской столовой. Льюис с трудом подавил очередной вздох. Впереди его ждали инструкции по технике ведения ближнего боя и методике освоения оружия.

— Принесите мне прочитать свои рассказы! — предложил он на прощание.

Я уже приготовился откозырять и удалиться восвояси, но Льюис почти схватил меня за руку.

— Ради всех святых! Никогда не делайте этого! — воскликнул он и сжал мою руку в прощальном рукопожатии.

После чего почти бегом направился к себе, и я даже услышал звук его стремительно удаляющихся шагов по лестнице.

Свидетелем нашего трогательного прощания с обменом рукопожатиями стал мой старший сержант, который как раз затеял шумную головомойку начальнику караула, несущему дежурство возле нашего штаба.

Когда я подошел поближе, то сержант изобразил некое подобие лицемерной улыбки, обнажив при этом свои зубы странного зеленоватого цвета.

— Ах, это вы, Росс! Смотрю, активно вращаетесь в обществе, не так ли?

— Сэр? — спросил я непонимающим тоном.

— Ну вот прогуливаетесь по набережной в обществе офицера. Он вам кто? Брат?

— Собрат! Собрат по перу, сэр!

— А! Ну, тогда все понятно. Я и предполагал нечто в этом роде. Достаточно было увидеть, как он обращается с офицерским ремнем там, на улице! — Старший сержант с возмущением покачал головой. — Ох уж эти штатские! Всякие там писаки и прочее, из них же при всем желании никогда не сделаешь приличного солдата!

— Сэр! — громко отчеканил я, став по стойке смирно. — Я и не предполагал, что в вашу компетенцию входит обсуждение формы одежды старшего по званию офицера, да еще из другого полка.

Старшина лишь молча разинул рот. Потом хватанул побольше воздуха и испуганно озирнулся, словно желая убедиться, что начальник караула уже отошел на достаточное расстояние и не мог услышать моей реплики.

Он злобно прищурился, отлично понимая, что в нашей словесной перепалке последнее слово осталось за мной.

— Предупреждаю вас, рядовой Росс! Если вы не укоротите свой язык, то в один прекрасный день у вас могут случиться большие неприятности! — прошипел он.

— Да, сэр! — согласился я с невозмутимым видом и как ни в чем не бывало пошел к себе.

Вообще-то я предполагал заняться вечером собственным рассказом, однако уселся за чтение рукописей Льюиса. Я начал с рассказа «Рядовой Джонс», а закончил новеллой «Заключенные».

Собственно, мои воспоминания не претендуют на критический разбор литературных достоинств этих рассказов; к тому же, они давно опубликованы, и каждый, при желании, может сам составить мнение о них. Скажу лишь одно:

закончив чтение, я неожиданно понял, что все мои литературные опусы на военную тематику в сравнении с рассказами Льюиса — это всего лишь легковесные скетчи, причем, не самого хорошего вкуса. Спать я отправился в самом скверном расположении духа.

К утру чувство неудовлетворенности собой и своей работой немного притупилось и ослабло. Я отослал рукописи обратно Льюису через нашего дневального, которого как раз послали с каким-то поручением в штаб Уэльского полка. Вернувшись, он рассказал мне прелюбопытную историю. На улице группа солдат занималась хозяйственными работами: разгружали уголь и таскали его внутрь. С чего бы, в такое время года? Ума не приложу! Наш дневальный подошел к ним и поинтересовался, где можно найти мистера Льюиса. И тогда один из команды, облаченный в рубашку с короткими рукавами, весь черный от пыли, поднял голову и сказал: «Это я!»

Вид офицера, разгружающего уголь вместе со своими солдатами, настолько потряс воображение нашего дневального, что он, вручив Льюису пакет с его рукописями, даже забыл отсалютовать ему. Впрочем, не думаю, что Льюис обратил внимание на эту оплошность.

II

Мы встречались с ним еще несколько раз. Лакомились бифштексами и жареным картофелем в кафе на приморском бульваре, где полно было всяких снобов из ВМФ и красавиц, несущих службу во вспомогательных частях военно-морских сил. Последние во весь голос обсуждали достоинства офицеров, уже из военно-воздушных сил, уничижительно отзываясь о парнях, которые вывели их на пленэр. Я решил не показывать Льюису мои военные рассказы. Показал другой. По странному стечению обстоятельств, снова о сексе. Я также принес ему несколько глав из романа, над которым работал. Скорее всего, ему не понравилось почти все. И то, как я пишу, тоже. Недаром однажды он затеял разговор о той огромной ответственности, которую несет автор за своих героев, коих он сотворил и выправил в жизнь. Он рассуждал об этом почти с благоговейным трепетом.

Не думаю, что мы подружились бы с ним, если бы встретились на гражданке. Уж слишком мы были разными. В нем было врожденное чувство скромности и даже какой-то смиренной покорности. Я же, напротив, был самоуверен и дерзок. Там, где его переполняло сострадание и любовь, я испытывал лишь презрение и злость. Подобно киношным гангстерам, я жалел только братьев наших меньших — животных и маленьких детей, в то время как Льюис питал величайшую нежность ко всему живому. Он вообще, по-моему, обожествлял жизнь как таковую. Страшно тосковал по своей родной валлийской деревне, обожал жену. Я же, будучи человеком без корней, и к тому же одиноким, смотрел на семейную жизнь почти с мистическим ужасом. Хотя это вовсе не значит, что я сознательно приписываю Льюису одни достоинства, а у себя нахожу лишь недостатки. Просто мы действительно были очень разными. И даже цели, которые каждый из нас ставил в своем литературном творчестве, они тоже были разными, причем, диаметрально противоположными друг другу. Однако то, что бывает невозможным в цивильной жизни, сплошь и рядом случается в армии. Вот так возникла и наша дружба, и наша тяга друг к другу. И мы готовы были часами обсуждать свои творческие планы или говорить о вещах, которые никогда не стали бы затрагивать, встреться мы случайно в лондонском кафе «Рояль» или в каком-нибудь литературном пабе на Сохо.

Само собой разумеется, наши приятельские отношения вызвали самые негативные комментарии среди сослуживцев. И Льюису, естественно, доставалось больше: ведь он же был офицером. У него даже по этому поводу случилось несколько откровенных стычек на грани скандала с однополчанами. Мне же при-

ходилось сдерживать натиск только капрала Декстера, время от времени отпускающего незлобивые шуточки по адресу моего «приятеля офицера» да терпеть злобные инсинуации со стороны старшего сержанта.

Однажды вечером мы выпивали, сидя в баре какого-то шикарного отеля. Вокруг нас сновали офицеры в обществе сногсшибательных блондинок с кукольными личиками. И вдруг в бар вошел командир полка Льюиса. Он вперил немигающий взгляд в подчиненного и некоторое время молча буравил его своими желтыми, как у кошки, глазками, а потом, наконец, произнес:

— Льюис! После ужина подойдете ко мне в столовой! У меня есть что вам сказать!

Льюис вспыхнул до корней волос, он явно был взбешен. Когда мы вышли на улицу, он негромко выругался. Командир сдержал слово и позднее устроил ему хорошенькую взбучку, после чего мы стали встречаться на задворках, предпочитая заштатные питейные заведения, до которых едва ли снизойдет офицер высокого ранга. А иногда мы просто бесцельно прогуливались по набережной, тоже стараясь не попадаться на глаза военному начальству.

Ночью накануне переброски полка Льюиса к новому месту службы мы сидели на каком-то ржавом катке, брошенном посреди густой травы давно некошеного поля. Льюис говорил мало. Настроение у него было скверное.

— Я вообще не знаю, хочу ли я в эту Индию, — обронил он и, помолчав немного, добавил: — Но там, быть может, появится наконец-то какое-то реальное дело вместо нынешнего прозябания.

— Напиши мне! — попросил я его.

Мы обменялись рукопожатиями, и он ушел. Ему еще надо было проверить, все ли готово к отъезду по части экипировки и техники. Я смотрел, как он удаляется от меня по дороге, ведущей к казармам, и невольно отметил про себя, что его ремень снова болтается не на месте.

Больше я его не видел.

— А твой приятель офицер тю-тю, Росси! — с явным облегчением доложил мне капрал Декстер на следующее утро. — Я сам видел, как уэльсцы двинулись в путь.

— Да! — со вздохом согласился я. — Он уехал.

Льюис так ни разу и не написал мне. А если и писал, то я все равно не получил от него ни одного письма.

В марте 1943 года я в сопровождении военного эскорта направлялся в госпиталь. Я в то время ожидал военного трибунала. А потому разъезжать без сопровождения не мог. Как и предвидел старший сержант, у меня, в конце концов, все же случились те самые большие неприятности по вине собственного языка. В книжном киоске на вокзале я увидел новую книжку Алана Льюиса «Последняя проверка» и другие рассказы». Я купил книжку и даже стал размышлять о самом авторе: где он, что с ним. Правда, недолго. У меня было полно своих забот и переживаний, и они в тот момент отодвинули в сторону все остальное. Много позднее, когда я уже демобилизовался из армии, мне сказали, что Льюис погиб на фронте.

Первым эту новость узнал Кейдрик Рис и сразу же позвонил в министерство обороны. Тамошние чиновники даже не поняли поначалу сути вопроса.

— Куда вы звоните? Это военное ведомство!

— Меня интересует судьба второго лейтенанта Алана Льюиса. Правда ли, что он погиб на передовой?

— Ах, лейтенанта! Ну, вот это совсем другое дело! А то спрашиваете о каком-то поэте. Почему же вы сразу не сказали, что он офицер?

ОЛДОС ХАКСЛИ

Время мстит

Было тепло. Вокруг привычный пейзаж: пальмы, цветущие кустарники гибискуса и захватывающей красоты вид, открывающийся с террасы на побережье. Полулежа в шезлонге, миссис Пил время от времени отрывалась от чтения «Илиады» и бросала рассеянные взгляды на Тихий океан. Она перечитывала Гомера с каким-то странным, полузабытым чувством восторга, наслаждаясь тем, что заново открывает для себя все перипетии знакомого сюжета. Сейчас она как раз дочитывала третью книгу. И вот он, белокурый красавец Парис, такой же опьяняюще прекрасный, как и барон фон Дитерздорф, который еще совсем недавно при свете луны уверял ее, что его «люблю» сильнее самой «смерти», а назавтра утром, забыв про все свои высокопарные речи, как ни в чем не бывало попросил у нее в долг пятьсот долларов. Вот он, этот юный Парис, позорно бежавший от человека, которому он наставил рога. А вот и пышногрудая Афродита, поспешающая к нему на помощь. И бедная Елена, тщетно пытающаяся забыть собственное прошлое, порвать с ним навсегда: как она бросает прямо в глаза златокудрому барону все, что она о нем думает. Хвастун, прилипала, слабак и подлец! Ну, а ответ у барона всегда один и тот же: он со смехом подхватывает ее на руки и относит в постель. Старая как мир сексуальная процедура, не имеющая ничего общего с любовью. Странно другое! Ответ барона все еще кажется весьма убедительным. И сама процедура срабатывает безотказно. Это действо было безотказно и тогда, во времена героев Трои. И сейчас — то же самое, несмотря на войну в Корее, освоение атомной энергии, Святое Рождество и диалектический материализм. Единственная помеха — возраст!

Она тяжело вздохнула, извлекла из кармана пудреницу и стала трудиться над аристократическим, с горбинкой, носом, попутно изучая свое отражение в маленьком овальном зеркальце. В июне ей исполнился пятьдесят один год. А еще этот нефрит! Она выглядит чудовищно, на все сто двадцать лет!

Сзади послышался звук шагов. Она повернула голову: огромный верзила, похожий на футболиста, начинающего обрастать жирком. Тяжелой поступью к ней приближался Питер Фосс.

— Как вы себя сегодня чувствуете? — озабоченно поинтересовался он.

Даже голос его был каким-то мясистым, похожим на звук, который мог бы издать жирный кусок бифштексного мяса, нацепленный на берцовую кость, если бы только кости вздумалось вдруг заговорить.

Миссис Пил пожала плечами, не зная, что ответить: то ли ей хуже, по контрасту с этим здоровяком, то ли, напротив, она почувствовала себя лучше, заразившись его силой и мощью.

Питер рассмеялся, услышав ответ. Его смех напомнил ей огромное кружевное полотно тончайшей работы: густой, узорчатый, нежный.

— Как я люблю ваше остроумие! — воскликнул он.

Миссис Пил вспомнила свое отражение в зеркальце.

— А что еще у меня можно любить? Не эти же кости да череп.

— А душа? — с ходу возразил молодой человек, сделав особое ударение на слове «душа». — Вы забыли про свою душу!

Он положил руку на ее худенькое предплечье и одарил женщину почти сыновней улыбкой, исполненной особой нежности и восхищения.

Миссис Пил тоже улыбнулась; она уже почти была готова растрогаться. Впрочем, ироничный чертенок в ее душе тут же проснулся и не преминул отпустить едкую шутку по поводу ее старческого умиления. Надо же, какой у этого юноши примерный вид! Одного взгляда на него достаточно, чтобы

понять, что ты имеешь дело с образцовым социальным работником. И не просто с клерком! А с человеком, который самым искренним образом хочет тебе помочь и даже пытается в корне изменить твой моральный облик. Впрочем, если он и в самом деле испытывает к ней хоть какие-то сыновние чувства, если его доброта и христианское милосердие — не пустое притворство, все равно она ни за что не поверит в стопроцентное бескорыстие. Наверняка за внешней благопристойностью нашлось место и личной заинтересованности. Чиновник в столь юном возрасте уже по определению не способен на отсутствие личной заинтересованности.

Да и кто он есть, в конце концов, если отбросить прочь всю словесную шелуху? Некий представитель Западного побережья в Совете фонда Бирнбаума. Словом, профессиональный умелец по выколачиванию денег. А если еще точнее, то паразит, питающийся деньгами стареющих богачей. Конечно, паразит! Самый настоящий зловредный паразит! Несмотря на все высокое благородство целей и на самые лучшие намерения. Такой же кровосос, как и Франц фон Дитерздорф, только не столь притягательный и гораздо более скучный. Уж в его-то устах слово «люблю» не покажется ей более сильным, чем слово «смерть». Да уж! Его «люблю» чуть-чуть покрепче обычного быстрорастворимого кофе. А чего еще можно, интересно, ожидать от опекающего тебя клерка, когда тебе уже стукнуло пятьдесят один? Только вот такого жиденького чувства, из которого предварительно вытянули весь кофеин. И вот в обмен на свои суррогатные чувства эти современные прилипалы клянчат у тебя уже не пятьсот долларов на шампанское или на то, чтобы расплатиться за свои карточные долги. О, нет! Они вполне искренне считают, что их сыновнее отношение к тебе тянет на целых сорок пять тысяч долларов, которые ты должна обязательно вложить то ли в создание приюта для черных на Крайнем Юге, то ли в строительство жилья для эскимосов на Крайнем Севере.

Она рассмеялась, занятая собственными мыслями.

— Что смешного? — недоуменно поинтересовался Питер, и в его голосе прозвучала явная обида. Смех миссис Пил задел его.

— Я просто подумала об иглу.

— О чем-о чем?

— Об иглу! Ну, это такие дома для эскимосов. Их надо собирать здесь у нас, на материке, а потом доставлять на Север в замороженном виде в специальных охлажденных камерах. Разве вы не слышали об этом проекте? Он ведь всецело финансируется за счет грантов, выделяемых Фондом Бирнбаума. — Внезапно она заговорила совершенно серьезно. — Вам не кажется странным, как легко расстаются богачи со своими кровными денежками, лишь бы спасти душу, а?

Питер Фосс уже было открыл рот, чтобы что-то ответить. Но в последний момент передумал и снова закрыл его.

— Что вы хотели сказать?

— Ничего!

Миссис Пил испытала некоторое разочарование. А она-то думала, что он сейчас купится на ее наживку и начнет велеречивым тоном рассуждать о вечной жизни и прочей чепухе. Вот тогда уж она не дала бы ему спуску! Впрочем, она уже и раньше имела несколько случаев убедиться в том, что мальчишка совсем не такой олух, каким кажется.

— Сегодня в отеле появился новый постоялец! — сообщил он. — Очень интересная личность.

— И кто же?

— Оскар Хакетт собственной персоной!

Ни один мускул не дрогнул на лице миссис Пил: она даже не шелохнулась и не проронила ни слова. Но вдруг бешено заколотилось сердце и перехватило дыхание. Интересно, молодой человек знает, что когда-то она была замужем за Хакеттом?

— Да, сам Оскар Хакетт! — повторил Питер Фосс, заметно пораженный отсутствием какой бы то ни было реакции с ее стороны.

— Сам Оскар Хакетт? — эхом повторила она, абсолютно уверенная сейчас в том, что он действительно ничего не знает о ее прошлом. Откуда? Его еще, поди, и на свете не было.

— Ну да! Известный филантроп!

— О, конечно же, я его знаю! — вдруг неожиданно весело воскликнула миссис Пил. В этой нарочитой веселости было что-то неуместное. — А как же? Самый настоящий филантроп! От греческого «филеин» — люблю и «антропос» — человек. Иными словами, человек, который любит людей. Нет, сильнее! Он их просто обожает!

При мысли об Оскаре, обожающем все человечество и одновременно впадающем в неистовство от несовершенств каждого конкретного представителя человеческой расы, с которым ему приходится сталкиваться, она не сдержалась и издала сдавленный смешок. Боже! Как же все это смешно! И как нелепо!

— Не вижу ничего смешного! — суровым голосом попенял ей Питер. Он склонился над ней еще ниже и заговорил иезуитским тоном настоящего клерикала, медленно и многозначительно. — Не вижу более достойного человека из ныне живущих, чем мистер Хакетт! Его неоценимый вклад в дело мира и...

— Вот-вот! — с издевкой перебила его миссис Пил. — Поистине неоценимый вклад! Особенно сейчас, когда заканчивается первый год очередной из двух сотен войн, потрясших наше столетие.

— Вы только вспомните про стипендии, учрежденные мистером Хакеттом! — продолжил Питер строгим тоном, не обращая внимания на ее саркастическую реплику. — А главное! Сколько сил и здоровья он затратил на благородную миссию объединения церквей. Он ведь глубоко и искренне верующий человек.

— Даже так? Глубоко и искренне верующий человек! — передразнила она молодого человека.

Боже мой, разве можно сегодня поверить в то, что когда-то она была влюблена в этого человека? И тем не менее это так! Вокруг было полно других поклонников, таких же приятных и обходительных, и даже более привлекательных, чем он. Но ни в ком не было столько зажигательного энтузиазма и всепобеждающей веры в правоту своего дела. И никто из всех ее потенциальных женихов так безупречно не вписывался в мамину гостиную, как это получалось у Оскара с его неизменным видом победителя и речами, весьма смахивающими на пророчества первых христиан. Да и сам он напоминал ей в те годы короля Ричарда Львиное Сердце.

— Мистер Хакетт — это человек открытой и чистой души! — продолжал, между тем, витийствовать Питер.

Да, пожалуй, единственный в своем роде! Ибо всех остальных представителей ее круга интересует лишь то, как достойно убить время, а в промежутках между непосильными размышлениями на эту тему они умудряются сделать еще какое-то количество денег, приумножив свои и без того нескудные капиталы. А мистер Хакетт, он со своим аскетизмом и религиозным рвением и в самом деле похож на первых христиан. Впрочем, в наши дни такое рвение очень смахивает на поведение слона, случайно попавшего в посудную лавку. Ведь современная посудная лавка полна всевозможных фривольных финтифлюшек: там есть что раздавить. Так стоит ли удивляться тому, что в свое время юная девушка, воспитанная на светском притворстве матери, выросшая в элегантной атмосфере ее гостиной и привыкшая смотреть на окружающий мир исключительно через призму ее взглядов и вкусов, испытала настоящий шок при первом же столкновении с безобразной действительностью? Словом, она ужаснулась и тут же нашла эпатажное поведение слона просто восхитительным.

— Да! У него по-настоящему чистая душа! — продолжал упорствовать молодой человек. — Он всецело предан Богу!

Да-да! Только вот какому богу, интересно бы знать! Верховные жрецы, поклонявшиеся молоху, тоже были глубоко религиозными людьми. И Торквемада! Увы! — подобные мысли стали посещать Энни Пил уже после того, как она вышла замуж. А вот ее матери эти мысли пришли в голову намного раньше. Миссис Пил закрывает глаза и явственно слышит насмешливый голос матери, который долетает к ней через бездну ушедшего времени.

— Он вряд ли станет красивее! — говорит она дочери в своей обычной манере слегка порочной светской дамы. — И уж точно не будет богаче! Ну зачем, скажи на милость, выбирать себе в мужья человека, обладающего таким набором совершенств?

В свое время этот вопрос матери прозвучал почти как богохульство. Но сегодня…

Она стала размышлять об Оскаре. Бедный! В молодости им все время помыкала его ведьма-мать. Именно от этой зловредной старухи он унаследовал свои безумные идеи, а попутно позаимствовал и ее убеждения. Старуха ведь всегда точно знала, что надо и чего не надо делать. Казалось, он настолько поглощен высокими материями, что даже не замечает всего того, что происходит вокруг него в реальной жизни. Что, впрочем, не мешало ему время от времени заявлять хвастливо:

— Я — реалист! Я могу посмотреть в лицо любым фактам!

Правда, за всю свою жизнь ему пришлось смотреть в лицо лишь фактам, которые публиковались на страницах «Форчун», «Форинг Эффэарз» или которые фигурировали в «Белых книгах», содержащих тексты международных документов и соглашений, заключенных Великобританией. Ах, да! Плюс еще факты, приведенные в различных опросных листах.

Но какое отношение ко всем этим фактам имело юное тело его невесты или чувства его будущей молодой жены? Совершенно банальная проза! Разумеется, она его абсолютно не интересовала! И потом, чтобы заинтересоваться собственной женой, нужно время. А у Оскара все время уходило на то, чтобы быть хорошим. И не просто хорошим, а совершенным во всех отношениях.

— Когда же они, наконец, оставят людей в покое! — воскликнула она вслух.

— Кто «они»?

— Да все эти филантропы, будь они неладны! Вы только посмотрите на то, что творится в Корее. Мы хотим им добра, и русские хотят им добра. И китайцы тоже лезут к ним со своим добром. А почему бы не оставить этих несчастных корейцев в покое? Хотя бы так, для разнообразия! Пусть варятся в собственном соку и сами решают, что им делать. Ах, если долго вариться, то можно развоняться? Ну, и что! В конце концов, это — их вонь, и проблемы тоже — их.

Питер снисходительно улыбнулся и покачал головой.

— Нет! Мы не можем наблюдать за происходящим там безучастно, сложа руки.

— Почему нет?

— Мы обязаны творить добро как мы его понимаем и должны защищать его везде и всеми доступными нам средствами.

— Вот-вот! В этом-то вся и закавыка! Беда в том, что вы ведь совсем не понимаете, что есть добро на самом деле. Вы его просто не замечаете вокруг себя.

— Может быть. Но именно поэтому нам и нужны такие люди, как мистер Хакетт.

— Мистер Хакетт! Мистер Хакетт! — снова передразнила его миссис Пил. Внезапно ей пришло в голову, что этот юноша еще ни разу в разговоре не упомянул имя богача без упоминания его титула или не сопроводив имя уважительными формами обращения: «мистер», «миссис» и прочее.

— Да-да! — продолжал между тем развивать свою мысль Питер Фосс. — Нам нужны люди с воображением, люди проницательные, люди с высоко развитым чувством общественного долга. Люди с…

— С восьмьюдесятью миллионами долларов, не так ли?

Некоторое время молодой человек молча разглядывал ее, а потом одарил еще одной снисходительной улыбкой.

— Что заставляет вас напускать на себя такой циничный вид? Ведь на самом деле вы — не такая!

Проще всего было бы ответить коротко и ясно: «Ты!» Ты, Питер, добродетельная пиявка, высоколобый паразит и альтруист-вымогатель, заставляешь меня вести себя так, как я веду. Само собой, она не рискнула озвучить эти мысли вслух. В конце концов, молодой человек очень мил и услужлив, а она… Она всего лишь уставшая, одинокая, старая женщина. Миссис Пил рассмеялась и равнодушно пожала плечами.

— Думаю, вы прекрасно знаете, какая я на самом деле.

Некоторое время он молча изучал ее лицо. А потом кивнул и сказал серьезным тоном:

— Да! Вы гораздо лучше, чем стараетесь это продемонстрировать окружающим.

На какое-то время он снова забыл об интонациях проповедника, вещающего с кафедры. И его слова прозвучали нежно, с трогательным восхищением и сыновней заботой. В самом деле! Так мог бы разговаривать с ней ее сын. Сын! Перед ее глазами молнией пронеслись картины из далекого прошлого. Она вдруг явственно представила себе умирающего ребенка, мечущегося в жару. Покрытое испариной худенькое личико мальчика под кислородной маской. Если бы ее маленький Дик тогда выжил, то в декабре ему бы уже исполнилось двадцать восемь. Да, третьего декабря. Он на год старше Питера. Ее глаза наполнились слезами.

— Вы напускаете на себя этот цинизм исключительно из чувства самозащиты! — услышала она. — Да! Это всего лишь маска! А на самом деле вы — не такая! Я знаю, какая вы!

Обыкновенные слова утешения. Либеральное пустословие христианского миссионера. Цветастая болтовня хорошего коммивояжера, которому надо всучить очередному клиенту порцию благотворительности, а не какой-то пылесос. Надо же умаслить богатеньких старушек! Заставить их почувствовать, что они еще кому-то нужны! Миссис Пил хотелось рассмеяться ему прямо в лицо, но она боялась, что стоит ей открыть рот, и она зарыдает. Потому что Питер только что сказал истинную правду. Она действительно совсем не такая! И уж точно, она совсем не похожа на ту наивную девушку, которая когда-то, много лет тому назад, выступила в свой крестовый поход и искренне вознамерилась нести в мир добро, творя его рука об руку со своим любимым Ричардом Львиное Сердце.

А цинизм, он действительно появился позже. И, как справедливо заметил Питер, стал своеобразным средством самозащиты. Она представила себе все семь лет совместной жизни с Оскаром. Вспомнила этот странный, подсвеченный синевой блеск его холодных глаз, выступающий вперед подбородок, рассеченный глубокой бороздкой, и этот устремленный вперед профиль, так похожий на носовую часть ледокола. Вот только лед, который он так безжалостно давил, продвигаясь к своей цели, он был живым, из плоти и крови. И было молодое тело, которое он, воспитанный на пуританских догмах своей матушки, был в состоянии насиловать лишь под покровом ночи. А что же до ее ума, то у него не было времени на то, чтобы постараться понять его или заняться его совершенствованием. В ней он видел лишь объект для своих постоянных насмешек и унижений, и не потому, что это доставляло ему удовольствие или в силу врожденной жестокости. Нет! Просто мысли его были постоянно заняты другими, более высокими и важными материями, и ему некогда было думать о всяких женских сантиментах. Она пришла к нему безоружная, сдалась на милость победителя, а он вынудил ее взяться за оружие. Она наращивала на себя слой за слоем самоизоляции, постепенно теряя чувствительность к его издевкам, яростным выпадам, возвышенным

речам, красноречивым фантазиям, ко всей этой идеалистической чепухе, которой он потчевал ее все годы их супружеской жизни.

Впрочем, после смерти маленького Дика ей так и не представилась возможность сбросить с себя весь этот кокон. Ни единой возможности! Ибо все, кто приходил на смену Оскару, были ничуть не лучше его.

Кстати, Франц был единственным в этой череде, к кому она испытывала нечто даже отдаленно похожее на благодарность. За его пророческие откровения, за ночные мистерии, которые он ей устраивал, за то, что он сумел докопаться до самых дальних глубин ее «я», и не просто докопаться, но и показать ей, что она не такая, как все остальные, заставил ее почувствовать и пережить невыразимое блаженство от сознания того, что все проходит. И она тоже пройдет в свой час! Когда он целовал ее, то она снова была безоружной. Они оба в тот момент не имели при себе оружия: о, это пьянящее состояние близости! Бездна мрака, но живая бездна, и полное отсутствие сознания. Однако любая тьма — это всего лишь прелюдия света, а любая ночь — это всего лишь предвестник наступающего нового дня. Увы-увы! При свете дня Франц мгновенно превращался в ничто: бесшабашный искатель приключений, и только! Проходимец, возомнивший себя посохом в ее руке. Сколько же этому глупцу пришлось вытерпеть при ее-то несносном характере!

А когда она, наконец, избавилась от Франца, то в ее жизнь вошел бедняга Джонни Макфайл, все время балансирующий в пьяном угаре между сентиментальной чувствительностью и звериной жестокостью. На смену Джонни пришел Ланцелот. Но тот был актером, что с него взять? Он даже на похоронах собственной матери кого-то там изображал. И в постели тоже играл, как на сцене. Наконец ей опротивело все и вся, и она в отвращении отпрянула в другую крайность, туда, где никто не вел заумных бесед о боге, о мире, о милосердии и прочее, и прочее.

Вместо всего этого маленький, отвратительный Дональд Пил, в котором самым похабным образом смешались интеллектуализм неодогматиков и почти ребяческое тщеславие, эрудиция и елейные разговоры о духовной жизни, и это при наличии мелкой, подлой душонки, исполненной злобы и зависти. Для противоборства с Дональдом она облачилась в доспехи, чтобы его издевки и насмешки не смогли пробить их броню. Итак, она снова оказалась там же, где когда-то была с Оскаром. Только на сей раз все было хуже, гораздо хуже. Потому что она постарела. И ей уже больше не грозило снова пережить мгновения полного отключения сознания или, наоборот, осознание того, что все проходит. И никаких новых откровений, выходящих за пределы твоего «я».

Было лишь одно-единственное «я», то, которое автоматически включается в любом человеке в момент его пробуждения ото сна. И это «я» каждое утро с холодной неумолимостью сообщало ей, что ее плоть день ото дня слабеет и угасает и что с каждым днем она безвозвратно теряет все то, что когда-то примиряло ее с самим фактом существования. Ничего не осталось, только это постоянное осознание собственного краха, чувство безысходности, преследующее ее повсюду. От этой безысходности, казалось, не было спасения, словно ей на роду было начертано только терпеть и страдать. Наверное, она с самого рождения была обречена на несчастливую жизнь. Одно разочарование сменялось другим, но вырваться из их замкнутого круга у нее уже не было сил.

Ее последнее разочарование — это привязанность к Питеру Фоссу. Каким милым и трогательно невинным показался ей молодой человек при их первой встрече, как он был добр и внимателен к ней, как обходителен и заботлив, как искренне пытался творить добро во славу Господа. А потом он заговорил о фонде Бирнбаума, и все сразу же стало на свои места. Неужели доброта — это сегодня тоже сугубо профессиональное качество? А его привязанность к ней — обычная уловка, военная хитрость, не более того. Вполне возможно, и его религиозность — это тоже всего лишь обязательное качество из про-

фессионального набора требований к социальным работникам. А сейчас мальчишка облизывается в предвкушении тех крох, которые просыплются на него с восьмидесятимиллионного стола Оскара. Он уже заранее смакует сладостно терпкий запах богатства, которым наполнит для него кубок глубоко религиозный человек, обладающий воображением, проницательностью, высоко развитым чувством общественного долга и восьмьюдесятью миллионами в придачу. Боже, как же все гнусно и отвратительно! И как бессмысленно! Бессмысленно и безнадежно!

Питер Фосс украдкой взглянул на женщину, сидевшую к нему вполоборота. Он заметил прозрачные бусинки слез на ее ресницах и тактично отвернулся, начав сосредоточенно набивать трубку табаком.

— Благодарю Тебя, Господи, — пробормотал он про себя, — за то, что Ты помог мне найти единственно правильные слова для этой женщины.

Как же страшно стареть, имея в груди каменное сердце. И даже не каменное! Ее сердце, похоже, сделано из пластика или давно превратилось в пустую жестянку. Можно ли представить себе худшее наказание для смертного? Надо сделать все возможное, чтобы спасти несчастную, помочь ей избавиться от ее самоубийственной дерзости и цинизма. Собственно, все это открылось ему буквально с первых минут их знакомства. Воистину, Господь направил его своей рукой по верному пути. Ведь только что он сказал то, что думал, даже не пытаясь подобрать какие-то особые слова. А они, оказывается, дошли до ее сердца и даже растрогали. Можно сказать, довели женщину до слез.

— Благодарю Тебя, Господи! — снова тихо прошептал он. — Благодарю!

Внезапно он испытал новый прилив вдохновения. Он извлек трубку изо рта и приготовился разразиться очередной порцией нравоучений, но в этот момент миссис Пил сама прервала затянувшуюся паузу. Тишина начинала уже действовать ей на нервы.

— Вы лично знакомы с Оскаром Хакеттом? — поинтересовалась она безразличным тоном.

Питер усилием воли справился с охватившим его раздражением оттого, что она не дала ему высказаться.

— Я знаком только с его женой.

— С женой? — удивилась она в первое мгновение, а потом вспомнила о существовании этой ужасной Мюриель.

— Да, я познакомился с ней в прошлом году, на конференции по проблемам преступности среди несовершеннолетних.

— Ее интересуют такие вещи?

Молодой человек молча кивнул, а потом, после некоторой паузы, пояснил:

— Дело в том, что в последние пару лет мистер Хакетт переложил основную часть своей филантропической деятельности на плечи жены. Думаю, она вам понравится. Миссис Хакетт — очаровательная женщина.

Очаровательная женщина! Эти слова, словно по волшебству, вернули миссис Пил к реальности: а здесь без сарказма не обойтись. Надо же, какая очаровашка выискалась!

— Я мельком видел ее только что в вестибюле гостиницы. Приятная неожиданность! Честное слово! Давно я не переживал таких приятных сюрпризов!

— Понимаю! Еще одна старая леди, на которой вы станете оттачивать свое умение очаровывать других.

Он ничего не ответил. И снова повисло тягостно долгое молчание.

Внезапно запах табака стал сильнее. Она даже уловила легкий аромат лосьона для бритья и повернула голову. Питер смотрел на нее серьезно и участливо. Так обычно смотрят люди, собирающиеся сказать нечто очень важное и значительное. Она улыбнулась. Нет, надо все же дать ему возможность высказаться.

— Вы помните, о чем я только что говорил? — начал он строго.

— Обо мне. О том, кто я есть на самом деле.

— Вот именно! О том, кто вы есть на самом деле! — назидательно повторил он тоном учителя, недовольного ее легкомысленным отношением к столь серьезной теме.

— Продолжайте! — подбодрила его миссис Пил. — Я обожаю слушать про себя.

— Да! И не любите слушать про других!

Миссис Пил рассмеялась, но смех получился несколько натянутым.

— Если вы на первое место ставите то, что вы сами про себя думаете, то вы никогда не станете сами собой.

— А что, по-вашему, я должна ставить на первое место?

— Не скажу!

— Но почему?!

— Вы станете смеяться.

— Не буду! Обещаю! Честное слово!

— Да вы и без меня все прекрасно знаете!

— Ничего я не знаю!

— Знаете! И всегда знали. Вопрос лишь в том, захотите ли вы обрести свое истинное лицо.

Ах ты, кусок мяса! Жирный кусок мяса, нашпигованный всякой чушью в духе сердобольных проповедников-евангелистов, подумала она со злостью. Они оба снова замолчали. Но чем дольше длилось их молчание, тем сильнее миссис Пил ощущала уже не столько физическое присутствие молодого человека, которое ее неприятно нервировало, сколько какую-то необыкновенную теплоту, волнами излучаемую из того центра, где он находился. Такое ощущение, что Питер в каком-то смысле стал средоточием жизни как таковой, а сейчас пытается своим теплом возродить к жизни и ее.

— Беда со мной, — начала она, не глядя на своего собеседника. — Беда со мной состоит в том, что всякий раз, когда я пытаюсь стать самой собой, появляется кто-то и говорит мне, что моя затея безрассудна.

Она снова подумала об Оскаре и обо всех его многочисленных крестовых походах, в которые он выступал под знаменами идеализма. О Дональде и о том, какой грязной слизью покрыл он образы святых, которым молился Оскар. И о самом Питере с его удивительным умением обхаживать стареющих дам. А ведь был еще и Франц. Франц! Несравненный любовник и подлец, каких свет не видывал. Да, все они, порознь и вместе, обезличили для нее даже демонов, свергли со своих пьедесталов даже злых богов.

— А, все чепуха! Полная ерунда! — закончила она выразительно.

— Но истина, — начал он. — Она не зависит от того, кто ее озвучивает. Она всегда остается…

И снова его прервали на полуслове. Послышался звук шагов по прибрежной гальке ног: шаркающая походка и немного визгливый женский голос, окликнувший его по имени. Впрочем, интонация была скорее вопросительной, чем утвердительной. Питер недовольно нахмурился и повернул голову. И в ту же минуту чело его разгладилось, и он с готовностью подхватился со своего места, чтобы поприветствовать подошедшую даму.

— Ах, какая приятная неожиданность! — с несколько экзальтированной восторженностью воскликнул он.

Миссис Пил бросила взгляд в сторону подошедшей дамы, пытаясь разглядеть из-под широких полей своей соломенной шляпки, кто же на сей раз стал причиной столь бурной радости Питера Фосса.

— Так это и правда вы, дорогой Питер! Слава богу, я не обозналась! — продолжала визжать дама. — Вы же знаете, у меня такая близорукость! Я порой даже не знаю, с кем разговариваю. Согласитесь, не совсем удобно получится, если назвать незнакомого мужчину «дорогим».

Дама кокетливо хихикнула. Миссис Пил приподняла поля шляпы чуть повыше и увидела перед собой пожилую толстуху с крашеными волосами в бледно-голубом ситцевом платье. Женщина осторожно усаживалась на стул, который предусмотрительно освободил для нее Питер. Вот она повернулась к ней лицом. Что-то смутно знакомое, но совместить это лицо с чьим-то конкретным именем она все же затрудняется. На помощь, как всегда, пришел безотказный Питер Фосс.

— Миссис Хакетт! — представил он даму.

Ну конечно! А кто же еще? Очаровашка миссис Хакетт! Такая же огромная, как сама жизнь! Пожалуй, даже еще больше.

— Надеюсь, я вам не помешала? — təписклявила миссис Хакетт.

— О нет, что вы! Никаких судьбоносных разговоров мы не вели. Правда ведь? — миссис Пил бросила насмешливый взгляд на молодого человека.

Но миссис Хакетт не дала ему и рта раскрыть.

— Вы знаете, Питер в свое время рассказывал мне столько всего интересного о том, как он контролирует ход строительства приюта для негров. Очень интересно, очень!

— Ах, и так волнительно! — в тон ей пропела миссис Пил, даже не пытаясь скрыть иронию.

— Я просто сгораю от нетерпения услышать новые факты. Если вы, конечно, не против.

Миссис Пил с некоторым любопытством наблюдала за тем, как жена Оскара одарила Питера по-девичьи застенчивой и в то же время кокетливой улыбкой. Такое впечатление, будто на ее глазах невинное создание делает первые робкие шаги в деле обольщения, оттачивая свои чары на взрослом мужчине.

И тут она услышала размягченный, как желе, голос Питера: как видно, мясной бульон уварился и упрел уже до состояния консоме.

— Буду счастлив! — воскликнул этот разопревший голос. — А пока хочу вам представить миссис Пил.

В больших близоруких глазах миссис Хакетт не мелькнуло ничего даже отдаленно похожего на любопытство. Она ее не узнала.

— Энни Пил! — уточнила миссис Пил информацию Питера.

И снова никакой реакции со стороны Мюриель. Впрочем, а какой реакции она от нее ждала? Прошло уже почти двадцать лет с тех пор, как они встречались на какой-то грандиозной вечеринке в Вашингтоне. Она уже была замужем за Макфайлом, а Мюриель и тогда уже была слепа, словно летучая мышь. Но из-за какого-то суетного упрямства наотрез отказывалась носить очки. Энни же хорошо запомнила тот прием лишь по одной-единственной причине: ей было страшно интересно увидеть своими глазами ту, которую Оскар избрал себе в качестве ее преемницы. Весь вечер она не сводила глаз с молодой жены Оскара, наблюдая за нею с противоположного конца зала и испытывая веселое изумление при виде столь забавной особы. Изумление, которое постепенно сменилось болезненным осознанием собственного унижения. Так вот что, оказывается, на самом деле нравится Оскару! Выходит, и у нее есть что-то от этой глупышки Мюриель, коль скоро она тоже когда-то нравилась Оскару. А Мюриель в это время продолжала щедро демонстрировать собравшимся гостям все то, что всегда вызывало стойкое отвращение у Энни. Мягкая и пушистая, сладкоголосая птичка. Невинная простушка и при этом стопроцентная сука! Самая ненавистная ей категория женщин, которые любят щебетать с мужчинами о том, какие они слабые и беззащитные. Которые сознательно притворяются дурочками, срывая снисходительные улыбки пожилых джентльменов, видно, искренне полагающих, что такая глупышка просто не в состоянии облечь свои скудные мысли в нужные слова. А еще этот омерзительный детский лепет, чересчур заливистый смех и постоянное делание больших глаз, словно побуждающих всех присутствующих мужчин немедленно разделиться на две группы: защитники и потенциальные насильники невинного создания, даже не достигшего совершеннолетия.

И вот она, эта очаровашка, двадцать лет спустя! Все та же Мюриель, Мюриель, неотвратимая, как возмездие, Мюриель, взобравшаяся, если так можно выразиться, на мраморный пьедестал, на который она влезла благодаря своей немалой власти над людьми. Но все же Мюриель, ибо за толстым слоем румян и пудры просматривается прежняя наивная круглая мордашка ребеночка, правда, уже покрытая морщинами. Да и щеки слегка отвисли. А изящное когда-то тело превратилось в бесформенную глыбу, из которой смешно торчит голова. Да, огромная гора старческой плоти, увенчанная крохотной головкой с кукольным личиком. Но при этом прежними остались и стиль ее одежды, и интонации ее голоса, и то, что она говорила, а главное, — как она это говорила. Все те же финтифлюшки, ленты, банты, кружева. Все то же полубезумное щебетание на манер канарейки всяческих глупостей, та же имитация невинного ребенка с широко распахнутыми голубыми глазками, в которых застыл все тот же призыв к тошнотворно заземленному распутству, круто замешенному на деньгах. Только сегодня этот призыв уже адресован не ее, так сказать, законным жертвам, положенным ей по статусу рождения, таким, как всякие там престарелые промышленники или профессора экономики. Сегодня объектом ее упражнений стал молодой человек двадцати семи лет. Вот уж воистину, двойной инцест: она соблазняет мальчишку, который годится ей в сыновья, заставляя его исполнять при ней роль отца.

— А какова организационная структура приюта для негров? — задала она свой следующий вопрос и, прежде чем Питер Фосс ответил на него, успела повернуться к миссис Пил и громко прошептать с нарочито мелодраматической аффектацией: — Я и понятия не имею, что это такое! Но знаю одно: мистер Хакетт всегда самым пристальным образом отслеживает все организационные вопросы. Да, именно так! Самым пристальным образом! — И она снова весело хихикнула, словно нашаливший подросток.

Питер тоже рассмеялся, и по всему было видно, что он смеется от чистого сердца. Оставалось только удивляться тому, что могло сподвигнуть этого неглупого, рационально мыслящего молодого человека добровольно опрощаться до такой степени примитива, подыгрывая столь откровенно искусственному женскому инфантилизму. Впрочем, он не единственный. И Оскар тоже! Энни вдруг вспомнила, как тогда, на вечеринке, он вместе с Мюриель общался с небольшой группой банкиров и известных политиков. На его лице застыло выражение отца, который с гордостью выводит в свет свое единственное несносное, но любимое чадо. А еще он был похож на импресарио, рекламирующего театр лилипутов. Покатывался от хохота каждой ее шутке, призывал к тишине всякий раз, когда она собиралась изречь очередную глупость, и с удовольствием повторял ее тем, кому повезло не услышать этот перл из уст самой канарейки. А еще она вспомнила, как грубо он оборвал Мюриель, когда она посмела влезть в разговор, который, судя по всему, был для него очень важен. И обиженное выражение ее лица, и неумелую попытку сделать вид, что ничего не произошло, и жалкую, вымученную улыбку, призванную скрыть ее публичное унижение. О, как все это было до боли знакомо самой Энни!

Миссис Пил глубоко вздохнула. Все же есть что-то угнетающее в том постоянстве, с которым люди упорно продолжают разыгрывать одну и ту же роль. Словно они на сцене и заняты в одной из тех старых комедий, в которой все персонажи носят говорящие фамилии. А потому мадам Дуракова обязана быть дурочкой, а чудак с фамилией Наплевайло должен демонстрировать абсолютно наплевательское отношение ко всему на свете. Но, видно, такова судьба! И у каждого свое предназначение. Кто-то без устали делает из мужей рогоносцев, а кто-то, подобно этой щебетухе, и в пятьдесят будет так же заливаться на все голоса, как в тридцать лет, или в двадцать, или даже в пятнадцать лет. Вечная канарейка, с момента наступления половой зрелости и до самой смерти. И все у нее осталось прежним, разве что вес изменился. В былые времена на театре актеркам не давали ролей, если их вес превышает вес героини. Но сегодня все по-другому!

И могучие матроны изображают из себя Джульетт, хотя им более пристала роль ее няни, ибо никакие золотистые парики, туго затянутые корсеты и искусный грим не в силах скрыть того, что все уже — увы! — прошло!

Занятая своими невеселыми мыслями, миссис Пил рассеянно вслушивалась в голоса: глубокий баритон и по-детски визгливый фальцет. Они все говорили, и говорили, и никак не могли наговориться, разыгрывая перед ней сонату на двоих. Соната для мясного студня и канарейки. Своеобразная музыка, надо сказать! Перемежающийся щебет птички, захлебывающейся от избытка чувств, и жирный густой студень. Время от времени оба звука сливались воедино, образуя некое подобие аккомпанемента, потом снова разъединялись, продолжая каждый свою партию. О, как красочно это можно было бы описать в какой-нибудь рецензии на концертное исполнение сонаты.

«И в этот момент звучит уверенное легато для куска мяса. С невыразимой нежностью разопревший до желеобразного состояния кусок молит канарейку о том, чтобы она сделала новый денежный вклад в их благородное дело. А в ответ звучит игривое пиццикато для сопрано. Наш кусок мастерски модулирует тональность и из минора мгновенно переходит в бравурный мажор. С помощью серии волнующих аккордов он оповещает канарейку о всецелом единстве их помыслов и душ, обещая ей все блаженства рая в обмен на еще один грант, а та лишь повторяет его мелодию, но на две октавы выше…»

Как же все это нелепо и смешно! И до боли унизительно! Весь этот разыгрываемый фарс, он ведь являет собой доведенный до гротеска символ человеческого предназначения. Это одновременно и олицетворение человеческой жизни, и карикатура на нее. Да, именно так! Идет ли речь о жизни и судьбе двух любовников, совершенно несопоставимых друг с другом; или о матерях, чьи дети уже вконец замучили их своими требованиями; или о тех несчастных парах, которые не в состоянии предаться любовным утехам друг с другом. Вот такие отдельные островки, затерянные в необъятной вселенной, которые навечно обречены двигаться противоположными курсами.

Между тем фарс затягивался. Там уже было сыграно не три, а целых пять актов, и, судя по всему, их число оставалось неограниченным. И у всех так! Каждое утро просыпаешься с одним и тем же мерзостным чувством, что вот сейчас надо будет снова повторять все эти уже опротивевшие до чертиков слова и погружаться в повседневные пустые хлопоты. А чем мы, люди, в сущности, отличаемся от гусениц? Тоже всю жизнь ползаем и ползаем, бесконечно повторяя одни и те же движения и даже не осознавая всего ужаса своего бесцельного существования. А потом внезапно на нас опускается еще более страшный ужас: уже не ужас бесконечности, а именно конечности всего и вся. Финальное и всеподавляющее унижение смертью…

— Миссис Пил!

Она вздрогнула от неожиданности и подняла голову. Над ней, словно Геркулес, облаченный в современный твидовый костюм, возвышался Питер Фосс.

— Простите нас! — проговорил он смущенным тоном, слегка придерживая рукой спинку шезлонга. На его лице застыла совершенная по накалу сыновних чувств улыбка. Миссис Пил мельком увидела удаляющуюся широкую спину Мюриель, обтянутую голубым ситцем. Она неуверенно ковыляла на высоких каблуках по гальке, направляясь в сторону отеля.

— Нам надо на несколько минут отлучиться, чтобы переговорить с нашей дорогой и многоуважаемой миссис Шлаг. Старая дама, я думаю, будет рада.

Старая дама, «дорогая и многоуважаемая миссис Шлаг», владеет половиной всех нефтяных промыслов в стране. Итак, высоколобый паразит снова на марше!

— Благодарю вас, Питер! — сказала она беззаботно и ласково потрепала его за руку.

— За что?

— За то, что так повеселили меня.

— Но я же ничего не делал!

— А вам и не надо ничего делать! Вполне достаточно того, что вы есть!

Питер растерянно посмотрел на нее, не зная, что ответить. Худое изможденное лицо, на котором застыла страдальческая маска. Но в глубине умных серых глаз светилось озорство, а на красивых полных губах играла легкая ироничная улыбка. И от этой улыбки ему как-то мгновенно стало не по себе. Но уже в следующее мгновение Питер вспомнил, что ему надлежит жалеть эту несчастную больную женщину. Да у которой, к тому же, еще и сердце то ли пустая жестянка, то ли оно из пластика. Разве она может понять, что такое христианский долг?

— Надеюсь, мы еще вернемся к нашему разговору! — сказал он многозначительным тоном. Но само предположение прозвучало скорее как вопрос, адресованный очень близкому человеку.

Ого! — подумала миссис Пил. — На сей раз его голос звучит, как мясо, тушенное в горшочке. Эдакое сугубо домашнее блюдо для семейной трапезы. Прямо от земли! Так и видишь воочию, как куски ароматной говядины доходят на огне в самом дальнем уголке старинной кухне в духе какого-нибудь четырнадцатого столетия. Пища простых крестьян, доведенная потом до вершин кулинарного искусства, а в его исполнении еще и украшенная мерцающим пламенем свечей и пением ангелов.

— Всенепременно! — пообещала она жизнерадостным тоном. — А сейчас вам надо бежать! Торопитесь успеть от «дорогой меня» к еще более дорогой миссис Шлаг.

Он начал что-то протестующе бормотать, но она лишь слегка подтолкнула его в спину, давая понять, что разговор окончен.

— Всего хорошего, мой мальчик! Удачной вам охоты!

Тяжелые, как гусеницы танка, удаляющиеся шаги зазвучали у нее за спиной. Миссис Пил беззвучно рассмеялась и внезапно снова почувствовала себя страшно одинокой и заброшенной. И такая пустота на душе, словно ее выветрили и высушили до самого основания. Через какое-то время она тоже поднялась с шезлонга и медленно побрела в отель, к себе в номер. Не зная, чем заняться, она переоделась, заново накрасилась, потом включила радио. Какой-то ревностный служитель культа стал громко орать о крови агнца. Тогда она переключила на другой канал. «Повышенная кислотность угрожает...» — зазвучал мужской голос, такой же мясистый и наваристый, как и у Питера. Еще один щелчок, и срывающееся на крик контральто запело о чьих-то устах, к которым она жаждет припасть. На следующем канале передавали новости с фронта, еще менее обнадеживающие, чем вчера. Все! Круг замкнулся. От язвенных кровотечений в желудке и бурлящей от возбуждения крови в гениталиях к самой обычной человеческой крови на войне. Она выключила радио и вышла на балкон.

Все тот же знакомый пейзаж внизу: огромные столетние пальмы, устрашающих размеров цветочные клумбы, похожие на аляповатые ковры. А там, вдали, безбрежная морская гладь. Красивый вид! Да, но за эту красоту приходится выкладывать три дополнительных доллара за сутки, помимо обычной платы за проживание в гостинице.

Она повернула голову и вздрогнула от неожиданности. На соседнем балконе, отделенном от ее балкона тонким оштукатуренным парапетом, сидел мужчина. Он сидел вполоборота к ней, и ей был виден лишь его затылок, часть левой щеки и висок. Но и этого было достаточно, чтобы безошибочно опознать в соседе Оскара. В свое время она не раз видела его, сидящего точно в такой же позе у себя в кабинете. Вот так же, только спина, одно ухо, на удивление крохотное для взрослого мужчины, и намеренно повернутое в сторону от нее лицо, словно ее непрошеное вторжение отвлекало его от каких-то судьбоносных размышлений.

— Дорогой! — начинала она почти беззвучно, а секунд через двадцать повторяла, уже погромче: — Дорогой!

На третий или четвертый раз он снисходил до ответа.

— Одну минуточку, пожалуйста!

И, наконец, через минуту вертящееся кресло круто разворачивается к ней, голова мужа вскидывается вверх, и она видит перед собой суровый лик благородного крестоносца, которого внезапно остановили в бою. Можно сказать, вырвали из гущи схватки в самый решающий момент осады святого Иерусалима. И кто посмел? Какая-то дурочка из блондинок, да еще под самым пустяковым предлогом.

— Ну, что там у тебя? — интересуется он тоном, который яснее всяких слов дает ей понять, что он не намерен вести долгие беседы со всякими глупышками. — Что на сей раз?

В самом начале, вспоминала миссис Пил, разглядывая неподвижную спину бывшего мужа, в первые годы их супружеской жизни, пока она еще не успела заковать себя в латы показного равнодушия и безразличия к его выпадам, она и в самом деле вела себя, как самая последняя дура. Стоит ли удивляться, что он заявлял о том, что ему нестерпимо общество всяких недоумков. Идиоткой ее сделал страх перед ним: она мгновенно теряла дар речи в его присутствии, не зная, что сказать и как ответить. А если она все-таки и осмеливалась открыть рот, то из него и вправду вылетали одни глупости.

— Я попрошу! — говорил он саркастически, рассматривая ее ледяным взглядом. — Я попрошу поточнее сформулировать свою мысль. Что именно это значит?

А она, поеживаясь под строгим взглядом возмущенного крестоносца, начинала лепетать бог весть что, нести заплетающимся языком всякую чушь, с ужасом наблюдая, как все плотнее сжимаются его губы, как грозно сдвигаются брови, как темнеет от праведного гнева его чело, чело человека, у которого иссякла чаша терпения и нет больше сил слушать весь ее бред. И тогда, как гром среди ясного неба, над ее головой звучал злой окрик, очередное страшно обидное и незаслуженное оскорбление, которое невозможно ни забыть, ни простить.

Да, именно так! Ни забыть, ни простить, повторила она про себя. Хотя Оскар вряд ли имел понятие о том, как надо просить прощения. А если бы и знал, если бы хоть раз в жизни попросил прощения за все те обиды, которые он причинил, и исключительно из-за желания лучше понять себя и свою жертву, то она бы с радостью простила. И даже восприняла бы как должное все перенесенные унижения. Но нет! Он ведь прежде всего крестоносец, крестоносец, попавший в лапы дьявола, забившего ему голову всякими идеальными абстракциями. И он всегда должен оставаться таким. А еще он абсолютно уверен в собственной непогрешимости, а потому в принципе не способен на смирение.

Иногда, в те редкие минуты, когда его все же посещало чувство раскаяния, он просил о прощении, но как! Не снизу вверх, как просят те, кто искренне раскаивается, а сверху вниз, и его раскаяние не имело ничего общего с внезапным осознанием того, что он поступил не по-людски, что порой его поступки вообще находятся за гранью человеческого. О нет! Его раскаянием всегда двигало только чувство собственного превосходства: человек высшей расы совершенно случайно и непреднамеренно обидел существо низшего порядка, а потом милостиво попросил у него прощения. И на этом все. Да и как он просил? Вместо простого «Прости меня!» он разражался наставительной проповедью о том, как ей следует вести себя впредь, чтобы избежать подобных осложнений в будущем. А иногда в минуты таких нравоучительных проповедей его вдруг охватывало возбуждение: юная плоть манила к себе. И тогда, без единого ласкового слова, без всякого перехода пастырские наставления сменялись самыми грубыми, почти животными и всегда неумелыми ласками. А после, независимо от того, сопротивлялась ли она этому животному взрыву страсти, или послушно уступала в надежде на то, что физическая близость поможет обрести семейную гармонию, так вот, после он всегда испытывал лишь одно: стыд за себя и злость на нее. Эта она подвигла

его на то, что на какое-то мгновение он забыл о своем достоинстве крестоносца и сошел с пьедестала, охваченный временным помутнением рассудка. А раз так, то на нее низвергалась новая порция упреков и унижений.

И все же, несмотря ни на что и вопреки всему, она продолжала любить его. Точнее, она надеялась на то, что в один прекрасный день он позволит ей любить себя. Но он так и не позволил! За всю их совместную жизнь он так и не сделал ничего, за что его можно было бы любить.

Миссис Пил тяжко вздохнула, а потом наклонилась, слегка свесившись через парапет.

— О чем задумался, Оскар? — спросила она шутливо у своего бывшего мужа. — Все наши мысли не стоят и медного пенни!

Нет, она не права. Его мысли стоят гораздо дороже! Ведь кто еще по своей воле станет размышлять о всяких организационных структурах? Или мучительно решать для себя дилемму всех богачей: куда и кому следует сделать пожертвования в первую очередь: в фонд мира или приют для негров? А может, дополнительные стипендии для тех, кто занимается прикладной социологией?

— Наши мысли не стоят и единого пенни, Оскар! — снова повторила она погромче.

Ответа не последовало. А с возрастом он стал переигрывать, подумала она.

— Наши мысли не стоят и жалкого пенса! Ты слышишь меня, Оскар? — почти закричала она.

Он вздрогнул и слегка повернул голову.

— Либо ты совсем оглох, — начала она, — либо…

Она замолчала и в ужасе отшатнулась. Конечно же, это было лицо Оскара. Но куда девалось прежнее благородство крестоносца? Где тот рыцарь без страха и упрека, образ которого преследовал ее все эти годы в бесконечной череде горьких и ироничных воспоминаний? Нет, перед ней сидел не просто старик. Испещренный морщинами лоб и глубокие складки возле губ были скорее не следствием времени, а печатью отчаяния и страданий. Такое же выражение отчаяния застыло и в его широко раскрытых, неподвижных глазах: агония безнадежности, осознание неумолимой безысходности своего угасания. Чувство невосполнимой утраты, так это называется, что ли?

Ее охватил панический страх.

— Оскар! — прошептала она, отказываясь верить собственным глазам.

Он раскрыл рот и не смог ничего сказать. Еще одна натуженная попытка, и послышалась нечленораздельная речь.

— Вы что-то сказали?

— Оскар! Ты узнаешь меня?

— Вас? — некоторое время он всматривался в нее в напряженном молчании, а потом неуверенно спросил: — Неужели Энни?

Миссис Пил утвердительно кивнула. На смену ужасу при виде этого призрака пришла жалость. И сострадание, которое просыпается, когда видишь перед собой безнадежно больного человека. Она попыталась изобразить на своем лице самую сердечную улыбку.

Последовала еще одна длинная пауза. Наконец огромным усилием воли он тоже заставил себя улыбнуться ей. Улыбка была едва заметной: просто задергались уголки губ и слегка шевельнулись складки кожи на лице. Но глаза остались такими же неподвижными, и в них не промелькнуло ни радости узнавания, ни удивления, ни вообще какого бы то ни было проявления обычных человеческих чувств. Рассудок несчастного знал и понимал лишь одно: он уходит, и возврата нет.

Словно почувствовав несовместимость выражения своего лица, скорее похожего на гримасу, с моментом их встречи, он снова отвернулся от нее.

— Давно мы не виделись! — пробормотал он заплетающимся языком.

— Да! Целую вечность! Но ничего не забывается.

— Правда! Ничего не забывается! — прошелестел его голос и снова умолк.

Вот она, бессмысленность существования, подумала она, бесконечное повторение одного и того же. Однообразные круговороты гусениц. Нет, это даже хуже! Много хуже. Ибо преображение человека в другую сущность произошло еще при его жизни. Воистину, он умер еще при жизни.

Миссис Пил перегнулась через парапет и положила руку ему на плечо.

— Оскар, что тебя беспокоит?

Вначале он даже не взглянул на нее, лишь слегка покачал головой и уставился невидящим взором на море.

— Может, я сумею помочь тебе?

Он снова покачал головой, на сей раз отрицательно.

— Ну скажи же мне! — упорствовала она. — Тебе станет легче!

Она вдруг вспомнила, как так же страстно просила сынишку рассказать ей, отчего он так горько плачет, тогда, когда она застала его в слезах на их летней вилле в Маунт-Киссо. «Скажи мне, детка, что случилось? Тебе станет легче!» — просила она его. И, наконец, ребенок признался, что разбил какую-то дорогую вазу. Маленькая, банальная трагедия, потрясшая его душу. А гувернантка даже и слушать не стала, что он сделал это не нарочно, и наказала мальчишку по всей строгости. Еще одна маленькая банальная трагедия — несправедливость, пусть и заслуженного, наказания, но несоразмерного с самим проступком. Воспоминание об отчаянии маленького сына лишь усилило жалость к этому немощному человеку, которого сейчас она видела перед собой.

— Ну, скажи же мне! — уже почти молила она.

— Ничего хорошего из этого не получится, — едва слышно прошептал он.

— Но почему?

— Потому что я сам — нехороший человек.

— Ты?! — воскликнула она, не веря собственным ушам. Для Оскара-победителя и вечного триумфатора, которого она помнила, подобное признание было бы просто немыслимым. У него были плохи все, за исключением его самого.

— Иногда я на какое-то время забываю, а потом память снова возвращает мне все.

— Что все?

Он закрыл лицо руками и беззвучно содрогнулся.

— Так что же возвращает тебе твоя память? — снова повторила она свой вопрос, с каким-то страстным нетерпением ожидая, что он скажет.

Но ответа не последовало. Однако для миссис Пил молчание бывшего мужа тоже стало своеобразным признанием. Почему он молчит? И почему снова отвернулся от нее? Потому что стыдно? Она почувствовала, как лихорадочно заколотилось сердце в груди, предвкушая торжество победы. Да, она знала, она чувствовала каждой клеточкой своего тела его ответ. Как она страстно мечтала услышать его все эти годы, как надеялась! И вот сейчас абсолютная уверенность, триумф ожидания: наконец-то Оскар осознал, сколько мучений и боли принес ей, когда они были вместе. И сколько напрасных унижений и обед она снесла от него. И вот он все понял и горько сожалеет об этом. Волна невыразимого облегчения, ликующей радости заполнила ее существо. Каким-то странным образом, словно по мановению волшебной палочки, все вокруг в одночасье изменилось. Ведь она любила этого человека. Она его так любила! А он каждым своим словом, каждым поступком, медленно и неотвратимо убивал ее любовь, тем самым лишая всякого смысла ее существование. Он отринул ее от себя и одновременно опустошил ее душу, сделав нелепо бессмысленной и абсурдной саму ее жизнь. Вот уж воистину, *reductio ad absurdum*[1].

А сейчас он раскаивается, и это запоздалое раскаяние лишний раз доказывает, что даже самый закоренелый идеалист, безжалостный и жестокий в отста-

---

[1] Доведение до абсурдности, как способ доказательств *(лат.). — Прим. переводчика.*

ивании своих идеалов, даже он способен на проявление обычных человеческих чувств. И ему тоже не чужды благородные порывы души, смирение, любовь, стремление к взаимопониманию. Что ж, если она права, тогда ее чувство к нему, чувство, которое она пронесла через все эти годы, имеет свое оправдание. А следовательно, обрело какой-то смысл и ее существование, которое казалось ей зряшным и бесцельным занятием. Вся хаотичность прожитых лет, так похожих на фарс, оказывается, тоже была не лишена своего смысла. Со временем это станет еще очевиднее и еще понятнее. Но даже сейчас, после того, что она только что узнала, она уже готова простить его! Да, она прощает ему все, с радостью и чистым сердцем. И не просто прощает, она снова готова предложить ему свое сердце, силы, время, все, что у нее есть! Самое себя, в конце концов! А отдавая, она начнет получать! Не об этом ли неустанно твердит ей Питер? Отдавая себя, ты снова почувствуешь себя живой и счастливой.

Впрочем, вполне возможно, у Питера — это не больше чем пустая болтовня, исключительно ради того, чтобы заарканить в свои сети очередную богатенькую даму. Но сказал же ей он: «Знаете! И всегда знали! Вопрос лишь в том, захотите ли вы стать самой собой». Что ж, на сей раз она преисполнена решимости стать собой, опираясь на собственное же знание.

Она наклонилась еще ниже и в третий раз повторила свой вопрос.

— Я не могу сказать тебе! — прошептал он.

— Ты должен, Оскар!

Он отрицательно покачал головой.

— Прошу тебя, Оскар! Пожалуйста!

— Я не могу!

— Не можешь, — начала она медленно, тщательно подбирая каждое слово, — потому что это касается нас?

Руки его безвольно упали вниз, он снова поднял голову и посмотрел на нее.

— Почему нас? — переспросил он непонимающим тоном.

— Ну, помнишь, тогда, в Риме? И в Сорренто. А потом на Капри.

Она стала методично перечислять ему все пункты их путешествия во время медового месяца. О, этот ужасный медовый месяц, когда один акт насилия следовал за другим, а в промежутках — высокоинтеллектуальная образовательная программа, жалкая попытка пуританина закамуфлировать свои преступные наклонности к жестокому насилию многочасовыми созерцаниями местных достопримечательностей, эдакое своеобразное раскаяние грешника в ожидании страшного суда.

— Так ты помнишь? — снова повторила она свой вопрос. Глаза ее блестели, легкая улыбка тронула губы, с которых уже вот-вот готовы были сорваться слова прощения.

Он продолжал смотреть на нее непонимающим взглядом. Потом в замешательстве покачал головой.

— Не понимаю, что ты имеешь в виду. По-моему, у нас все было нормально.

— Нормально? — проговорила она, словно опасаясь, что не расслышала или не совсем точно уловила смысл его слов.

— Но мы же были мужем и женой.

Миссис Пил вдруг почувствовала, как на ее сердце набросили лассо и стали все туже и туже затягивать петлю. Но, превозмогая невыразимую боль, сковавшую все тело, она начала смеяться.

— Ну зачем ты так? — сказал он ей с укоризной и снова закрыл лицо руками.

— Прости! — с трудом выговорила она между двумя приступами неудержимого смеха.

Ей хотелось перестать смеяться, она пыталась сказать ему, как глубоко сочувствует его горю и как ей хочется помочь ему. Но ее тело отказывалось ей повиноваться, словно чья-то невидимая рука злобно схватила ее за горло и стала

медленно душить. А потому вместо слов этот дурацкий смех, хотя на глазах уже выступили слезы.

— Прости меня, Оскар! Не знаю, что на меня нашло! — с трудом выговорила она, давясь от смеха.

И вдруг Оскар заговорил. Видно, ее смех подействовал на него побудительно, и ему захотелось немедленно оправдаться, покаяться перед ней во всех своих смертных грехах. Однако грехами он считал совсем не то, что она: не безумные приступы ярости, когда, охваченный бредовыми идеями, он слепо крушил все на своем пути, превращая в жертву любого, кто попадался ему под руку. А уж ее — в первую очередь! Нет, он вдруг стал исповедоваться перед ней, как целых два года, начиная с 1937-го и по 1939 год, он регулярно, каждую неделю, навещал какую-то рыжую девицу по имени Пэтси, обитавшую в меблированных комнатах на Шестьдесят седьмой улице.

Миссис Пил наконец справилась с приступами смеха и стала внимательно слушать его исповедь, время от времени выражая положенные знаки внимания и сочувствия. Итак, все вернулось на круги своя. А она-то надеялась! Проклятое чувствительное воображение снова подвело ее. И они снова, наверное, уже в стотысячный раз, разыгрывают старый как мир фарс. Только вот сценические декорации сменились, да и вообще, все-все изменилось к худшему. А ведь уже в первые месяцы замужества Энни поняла, что они с мужем совершенно разные и вращаются в разных мирах, и их мирам никогда не сойтись вместе. А сегодня пропасть между ними стала еще шире и еще безнадежнее. Такое впечатление, что он уже перебрался с Марса на Сириус и вот-вот готов выпрыгнуть за пределы галактики и раствориться в мировом хаосе.

— Не стоит так переживать из-за этого! — пробормотала она участливым тоном.

Но он продолжал твердить, что ему нет прощения. И то, что Мюриель была в те годы слишком чиста и невинна и не могла разделить его желания, еще не повод для того, чтобы удовлетворять свое сластолюбие где-то на стороне. Он должен был найти в себе силы и контролировать свои желания. И потом, всякий раз при виде Пэтси он элементарно терял голову.

— Надеюсь, она была хорошенькой? И дело свое знала, а?

Но он не поддержал ее шутливый тон. Пэтси — не повод для шуток. Для него эта рыжая красавица, судя по всему, уже давно стала олицетворением вселенского зла. Целых два года продолжалось его грехопадение, и он ничего не мог поделать с собой. А потом немцы оккупировали Польшу и началась война. Вот она, расплата за все его грехи! Возмездие мирового масштаба! Четвертого сентября он выписал чек на пять тысяч долларов и вручил его Пэтси вместе с ключами от ее квартиры. А потом вернулся домой и во всем признался Мюриель. И она, будучи поистине замечательной женщиной, все поняла правильно и простила его.

— Я бы тоже простила тебя! — не удержалась миссис Пил. — Но ты ни разу не попросил у меня прощения.

Он уставился на нее в немом изумлении.

— Но тебе не за что было прощать меня! — воскликнул он наконец. — То есть, я хочу сказать, что всегда был верен тебе.

— Да уж! Ты свято блюл свою супружескую верность мне.

Кажется, подумала Энни, я только что произнесла первую реплику из очередного акта этого бесконечного фарса.

— А вот бедняжка Мюриель, — простонал он. — О боже! Какой стыд! Бедная-бедная Мюриель! И тем не менее она простила меня.

— Вот и прекрасно! Все хорошо, что хорошо кончается.

— Но это не кончается! — воскликнул он с отчаянием в голосе.

— Она, что, до сих пор упрекает тебя в той измене?

Он отрицательно затряс головой. Мюриель, сказал он, действительно замечательная женщина. Она ни разу за все эти годы ни словом не обмолвилась о

его проступке. Ни одного упрека, ни единого намека. Она простила его всецело и навсегда.

— Тогда в чем дело? — удивилась миссис Пил. — Что тебя гложет?

Оказывается, ему не дает покоя чувство собственной вины. То есть, саму вину ему простили, но остался грех, и остался он, живое воплощение того давнего прегрешения.

— Ах, оставь! — досадливо отмахнулась от него миссис Пил. — Ты — не первый и не последний мужчина «за сорок», который изменяет собственной жене! Подумаешь, переспал с хорошенькой девчонкой!

Но Оскар не слушал ее, он даже не услышал ее слов.

— Какая грязь! Какая грязь! — монотонно твердил он.

— Все так делают! — подвела черту под своей сентенцией Энни.

— Лучше бы я умер!

Голос его дрогнул, и он замолчал. Миссис Пил увидела, что он плачет.

— Оскар! — волна жалости снова затопила ее сердце. И одновременно раздражение. Зачем он убивается из-за такого пустяка? Вот уж правда, много шума из ничего.

Оскар не услышал ее обращения. Погруженный в пучину собственного отчаяния, он не воспринимал никого и ничего вокруг. Она беспомощно смотрела на него, лепетала какие-то ласковые слова, как обычно утешают маленького ребенка, когда он упал и расшиб коленку, но все было напрасно. Она видела и понимала это. И продолжала бессмысленно повторять.

— Оскар! Дорогой Оскар!

— Оскар! — неожиданно визгливо повторило эхо.

Миссис Пил подняла глаза. Небесно-голубая глыба по имени Мюриель стояла в дверях, ведущих на балкон. Кукольное личико было недовольно нахмуренным, а в детском голоске явственно звучало раздражение.

— Что ты тут опять учудил? — воскликнула она раздосадованно и направилась прямо к нему. Схватила мужа за плечо и энергично тряхнула.

— Лучше бы мне умереть! — продолжал стенать Оскар.

— Немедленно прекрати! — зло взвизгнула Мюриель. Потом повернулась к миссис Пил. От нее сильно пахло спиртным.

Ага! «Дорогая миссис Шлаг» наверняка проставила своим дорогим гостям коктейли, подумала Энни.

— Надеюсь, он не сильно досадил вам! — проговорила благотворительница светским тоном, обращаясь уже к миссис Пил.

— О, нет! Что вы! Просто я думала, что смогу чем-нибудь помочь ему.

Мюриель презрительно фыркнула.

— Ему? Помочь? — холодно удивилась она, и в ее голосе не прозвучало ни капли сочувствия к больному мужу. — Когда с ними такое случается, то это уже безнадежно. Им только хуже и хуже.

— Им? — переспросила миссис Пил, бросив взгляд на согбенного плачущего старика, который когда-то был полноценным мужчиной, героем ее романа. А вот поди ж ты! Превратился в создание низшего сорта и стал одним из «них». — Им? — снова повторила она.

Кукла кивнула головой с такой энергией, что затряслась ее могучая грудь, обтянутая голубым ситцем.

— Да, у них у всех так! — подтвердила она с выражением глубокого удовлетворения на лице. — Доктор Коблок сказал, что это как сыпь при кори. При их болезни слабоумие — это всего лишь один из симптомов, — неожиданно она рассмеялась и весьма похоже передразнила мужа. — Лучше бы мне умереть! Лучше бы мне умереть! — несколько раз повторила она исполненные вселенского отчаяния слова Оскара, и снова весело хихикнула. — Ах, простите меня! Но не могу удержаться! Все эти глупости: «Во мне столько грязи! Я — такой плохой!» Он вам нес всю эту чушь?

Миссис Пил молча кивнула, и кукла снова издала удовлетворенный смешок, явно довольная собственной проницательностью.

— Готова поспорить, он вам тут голову задурил бесконечными воспоминаниями о своей подружке! — она говорила, обращаясь к Энни через голову мужа, не обращая на него ровным счетом никакого внимания, словно он был предметом мебели, каким-то неодушевленным истуканом или бессловесным животным, которое путается у нее под ногами. Разогретая изрядной порцией мартини, Мюриель вдруг окинула миссис Пил приязненным взглядом и, положив ей руку на плечо, проговорила доверительно: — Какое прелестное на вас платьице! Просто потрясная вещь!

— Благодарю! — холодно ответила миссис Пил, чувствуя, как в ней поднимается презрение к этой женщине.

— И оно вам очень идет! Но простите меня! Я не это хотела сказать. Вернее, не только это! — Женщина понизила визгливый крик до трагического шепота. — Ах, дорогая! Если бы вы только знали, сколько мне пришлось всего вынести! Вы и подумать не можете! Я имею в виду, еще до того, как с ним случился удар, — она брезгливо махнула рукой в сторону Оскара. — Первый раз это произошло два года тому назад. Тогда, после курса шоковой терапии, он пришел в норму.

— В норму?

— Ну да! Почти в норму! — подтвердила кукла. — А потом, спустя каких-то пару месяцев, все началось сначала! — Она вздохнула и постаралась напустить на себя постный вид. Но мешали глаза: в них светились нескрываемое торжество и радость.

За спиной у них раздался хрустящий шелест. Маленькая полная женщина, облаченная в белый халат, торопливо вышла на балкон и, подойдя к Оскару, стала ласково гладить его по голове.

— Были хорошим мальчиком, пока ваша сестричка обедала, а?

Оскар молчал, не поднимая головы.

— Забери его в комнату! — сердито приказала кукла медсестре.

Миссис Пил молча смотрела, как сестра уводит Оскара. Когда за ними закрылась дверь, она круто развернулась и, не обращая внимания на протестующие возгласы Мюриель, тоже пошла к себе, со стуком захлопнув за собой балконную дверь.

Перевод с английского Зинаиды Красневской.



Сны и явь

Литовский язык — один из наиболее архаичных и музыкальных языков индоевропейской семьи. Из тех «песенных» языков, в звучание которых влюбляешься сразу и навсегда. Переводчику, чтобы передать красоту фонетики и ритмических интонаций литовского, приходится в определенном смысле совершать невозможное. Как сказал литовский критик и литературовед В. Кубилюс, «нигде больше литовское слово не получило такой глубины, интимности, экспрессии и прозрачности, как в стихотворении».

Произведения Алексиса Хургинаса, Владаса Мозурюнаса, Стасе Витайте, Леонардаса Матузявичюса, Алоизаса Баронаса и Эдуарда Межелайтиса очень разные; их стиль определялся временем: сороковыми, пятидесятыми, шестидесятыми, восьмидесятыми годами прошлого века. Однако идеи и образы по-прежнему актуальны, и надеюсь, эти стихи найдут новых читателей.

Елена Свечникова

АЛЕКСИС ХУРГИНАС / ALEKSIS CHURGINAS

Белое видение

Легки твои нагие ноги.
Срываю белые цветы.
Как давний сон, текут дороги,
И в междусонье бродишь ты.

И ты сама цветка белее,
Что влажный ветер, этот цвет.
Душа твоя во мне светлеет
И проступает, как рассвет.

Сын

Испито солнце на закате мхами
Остывшими, и свет почти угас,
Бродяга Время шелестит веками
И, как скупец, считает каждый час, —
Ты сторонись его, — иль нет, забвенье
Из макового сока сбереги
И Время напои. Уснет — спасенья
Ищи. Беги, сын времени, беги!

ВЛАДАС МОЗУРЮНАС / VLADAS MOZŪRIŪNAS

Я вернусь

Ты не плачь. Когда тихие вишни
В третий раз зацветут, вот тогда
Я вернусь. Будет ночь, как Всевышний,
Одинока. И вспыхнет звезда.

Мы присядем, как раньше сидели
У окна. Что изменится тут?
Только месяц совсем поседеет
И цветы в третий раз опадут.

Ты улыбкой молчанью ответишь
У меня на коленях, как дочь.
И дороги непознанной ветер
Зазвенит, как от выстрела ночь.
Ты не плачь. Я вернусь непременно,
Зацветут наши вишни — тогда…
Будет ночь. Одинока и тленна,
Как светящая синью звезда.

СТАСЕ ВИТАЙТЕ / STASE VITAITÉ

* * *

Тяжко ложится ночь
На заснеженные поля.
— На сердце мое не ложись! —
Кричу я.

ЛЕОНАРДАС МАТУЗЯВИЧЮС / LEONARDAS MATUZEVIČIUS

* * *

Во тьме барака
Качаются серые существа.
На свет Вселенной —
В вечность —
Истерзанный, сосланный,
Похоронивший месть и гнев,
Преодолевший муку,
Себя,
Из оков
В бессмертие
Держит путь народ.

АЛОИЗАС БАРОНАС / ALOYZAS BARONAS

Двери

И бьются в них весны зеленой ветры,
Их закрывают на ночь. Пришлецы
Спешат войти в распахнутые недра:
Торговцы, дети, старики, юнцы…
Как вор, придет однажды, дверь минуя,
Она — тиха, как легкий шаг минут.
И губ твоих коснется поцелуем,
И все земные раны заживут.

ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС / EDUARDAS MIEŽIELAITIS

Из «Инфляции»

1

Подешевели и розы, и женщины.
В расцвете нейлон и секс.
Подешевели бумага, бифштекс,
Рифмованный и прозаический текст.

Дешевеют эмблемы, знамена спортивные,
Ордена, регалии, торты.
Аборты и куклы — со всей чертовщиной —
Короли, министры и лорды.

Дешевеют сенаторы. Ясно, диктаторы,
Дешевеют и президенты.
Министры и провокаторы —
И те не стоят ни цента.

Дешевы жвачка и пистолеты,
Люди, сердца, доктрины.
Дешево все — и дешевле нету
Шизофрении и героина.

Дешевеют Пегаса и джаза мелодии,
Книги впору топтать подошвой.
Идеал философский звучит, как пародия:
Сам homo sapiens дёшев. (...)

Что же осталось в цене доныне?
За бесценок — души высота,
Головы, женщины… наполовину
Упала в цене красота.

Я громкий голос времен инфляции.
И, как дешевый бифштекс,
Копейки не стоит интерпретация
И мой стихотворный текст.

2

Я человек, а может, суррогат?
Заброшенный в окно распятый бомбой
Последней революции плакат?
Живой, как смерть? Высок, как катакомба?
Кто я такой: плакат? или макет?
Архаика? Рекламы яркий пластик?
Весомый, словно мысль? Изгой? Аскет?
Тверд, как алмаз, иль мягок, словно ластик?

Я человек? плакат иль суррогат?
Что мне ответить на вопрос пространства?
Да, я времен инфляции магнат
(Во всем избыток, кроме постоянства).

Кто — человек? макет? или плакат?
Двадцатый век, мне делается страшно:
В такое время легче во сто крат
Банкротом стать — иль быть — уже не важно.

3

Дёшевы на планете лошади и поэты…
Ценность? При чем здесь это? Нет до планеты дела.
Но говорят поэты, что и сама планета,
Как и предупреждали, сильно подешевела.

Дёшевы на планете не грибы, а поэты.
Что до грибов, так эти
В цене — от простых шампиньонов
До тех, создавая которые,
Швыряют в грязь миллионы.

Супергрибы дорожают,
Но наша мини-планета
Не виновата в этом.
Цен бумеранг ударяет —
И дешевеет планета,
Ждет мини-моды расцвета.

Рим. Токио. Бомбей. 1979

Перевод с литовского Елены Свечниковой.



МИХАСЬ МИЦКЕВИЧ

«За вас земле я помолюсь...»

Мой дорогой брат!

Пишу тебе последнее письмо, которое ты уже никогда не получишь, как и многие наши письма, которые мы посылали на полевую почту № 222, 49-й корпусный артиллерийский полк, 3-й дивизион, 8-1 батарея — Ю. К. Мицкевичу. Прошло столько лет, а ты для меня остаешься таким же близким, таким же дорогим, сильным, стройным, непобедимым, непреклонным. Я давно порывался написать тебе о том, что наболело, что еще сохранилось в памяти о тех незабываемых днях, что мы проводили с тобой, с твоими друзьями и подружками. Пусть внуки хоть немного проникнутся светлым образом моего дорогого брата, читая эти воспоминания, мои мысли, мои чувства.

Прошло столько времени, а я не могу без слез вспоминать счастливые минуты моего детства, моей юности, когда мы с тобой путешествовали, когда ты меня многому учил.

Мы так больно переживали, когда неожиданно прервалась только-только возникшая переписка. Сколько раз в далеком Ташкенте отец замечал, вставая с постели, что подушка его мокра от слез. А сколько их пролила наша мама! В письмах к близким, в отцовском дневнике осталось немало строчек о тебе, о судьбе своего сына.

3.12.1941 г. отец писал П. В. Бровке:

«Мой милый, дорогой Петрусь!

Мои дорогие братья-земляки, товарищи!

О, как бы я хотел сегодня быть среди вас, обнять каждого из вас отдельно, а потом всех вместе и прижать к сердцу! Устало сердце без вас, тяжела разлука с вами и оторванность от своей земли и народа...

...Что сказать о себе? Живу одним днем, делаю свой обход. Захожу в Союз в надежде застать на столе какую-нибудь корреспонденцию, особенно от Юрки. Где он, что с ним, не знаю. Еще 18 сентября послал ему заказное письмо. Это письмо вернули мне с припиской для уточнения номера полевой почты, потому что КАП по старому адресу не застала. Полк выбыл, а куда — неизвестно. Горько мне стало. Разные мысли шли мне в голову, а слезы лились из глаз. Последнее Юркино письмо было от 20/9. С тех пор никаких вестей о себе он не подавал...»

Потеряв надежду получить письмо, отец обратился к тебе по радио, когда был в Москве, — 28.11.1942 г.:

«Милый, родной мой сын Юрка!

Восемь месяцев прошло с того времени, как мы расстались с тобой, мой родной! Ты хорошо помнишь, при каких обстоятельствах это случилось. Я никогда не забуду этого. Возвратившись из военкомата, ты никого из нас не застал дома, не застал и самого дома. Потом мы искали друг друга, обменялись несколькими открытками. Я никогда не забуду и того письма, которое ты мне прислал из своей части. Это письмо меня взволновало и обрадовало. Ты писал: «Уже две недели, как идут нескончаемые бои. За это время я привык к войне. И не одну фашистскую голову разнесла моя батарея, головы подлых убийц, спаливших наш город, расстреливавших мирное население. Это — наша месть, и мстить мы будем жестоко».

Каждый день вспоминаем тебя, милый, вместе с мамой и твоими братьями. Ты живешь в наших сердцах...

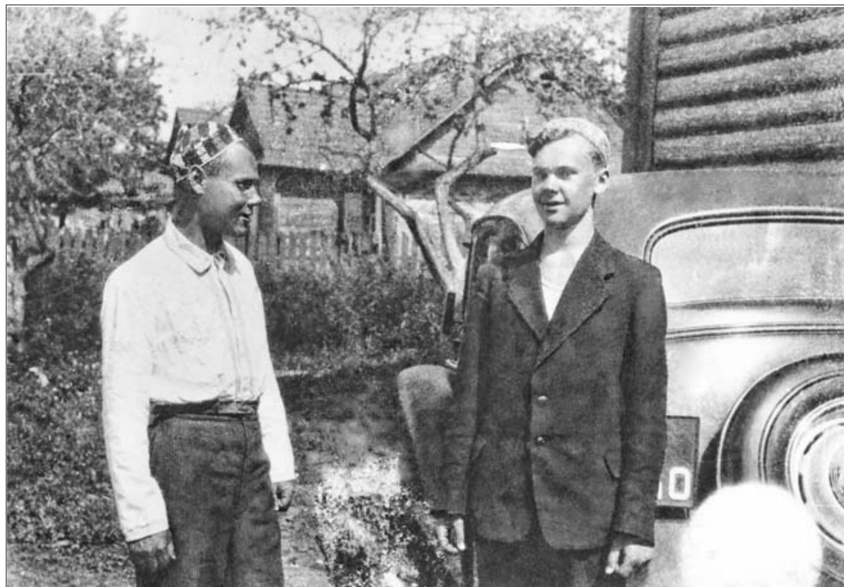
Когда услышишь мой голос, отзовись, дорогой Юрка, хотя бы несколькими строчками».

Отцовская горечь выливалась в письмах, в дневниках, в снах. В дневнике от 30.04.1944 г., когда мы были у дяди Миши на Клязьме, он писал:

«С утра перебирал торф. Посыпали с Феликсом дорожки песком. Сносил в яму мусор и сжигал. Бедная Маруся, она осталась одна в доме, готовится к завтрашнему дню. Вспомнила день рождения Юрки — 1 мая, расчувствовалась, расплакалась. Как тяжело ей. Ее настроение передалось и мне. Юрка, Юрочка, — погиб ты бесследно. И не знаем мы ничего о твоей судьбе. И что ты пережил с того дня, когда война, пожар Минска разлучили нас. И не знали мы, что расстались навечно».

Позже, работая над незавершенной поэмой «Рыбакова хата», отец писал в предисловии к ее продолжению:

З чаго пачаць працяг паэмы?
У прошласць сплыў час немалы...
Ох, чарпанулі гора ўсе мы,
Зазналі розныя сталы!
Шумеў, шугаў над нашым краем
Агністы віхар, чорны вір.
Яшчэ сягоння мы не знаем,
Каго і дзе хавае жвір.
І часта, часта ў падарожжы
Магіла зрок запыніць твой
І ты панікнеш галавой:
Каго вартуе агарожа?
Няма ні надпісу, ні крыжа —
Адзін гарбок сухой зямлі,
Дзе вецер песні свае ніжа
На травяныя сцебялі.
Мой мілы дружа, скуль і хто ты?
Як ты знайшоў тут дом глухі,
Дзе больш няма надзей, турботы,
Дзе толькі родзяць лапухі?
Мне боль пякучы сэрца гложа,
І сына ўспомню я свайго.
А дзе магіланька яго,
Мне адказаць ніхто не можа.
Я мімаволі ўспамінаю
І ў той куток імкнуся зноў,
Дзе жыў я ціха, як у раю,
З сваёй сям’ёю між дубоў.
Былі вы жывы і шчаслівы —
Ты, друг мой жонка, і ты, сын.
Нам песні пелі пожні, нівы,
Кусты надсвіслацкіх далін.
І вас цяпер няма са мною!
О, хоць бы вам пачуць мой сум,
Зірнуць у вір гаротных дум
З яго бяздоннай глыбінёю.
...О, як хацеў бы я, самотны,
Зноў перажыць той добры час!
Ды палінялі ўсе палотны,
Што сонца ткала там для нас.
І ўсе сляды паастывалі,
Даўно засыпаны пяском,
Пазарасталі вераском,
Іх пазмывалі часаў хвалі.
Мой мілы сын, мая Маруся!
Нас разлучыў няўмольны лёс.
За вас зямлі я памалюся
І акраплю расою слёз...



Братья Юрка и Михась. 1941 г.

Как мы ждали весточек от тебя! Последнюю открытку ты прислал на мое имя с благодарностью, что я сохранил ружья. Дата стояла — 30.09.1941 г., а на следующий день началось генеральное наступление немцев на Москву. Немного раньше ты писал, что был в Ярцевской библиотеке, налепил конвертов и будешь нам чаще писать. Но больше писать не пришлось. В какой же ад ты попал — в направление главного удара! Про эти страшные бои мало чего стало известно и через много лет. Только недавно узнали, что недалеко от Ярцево под Сенно состоялось самое большое в мире танковое сражение, в котором с обеих сторон сошлось более двух тысяч танков. Наши танковые войска были разбиты.

Последний раз мы встретились с тобой дома. Мы с отцом только что вернулись из Москвы, кажется, 17 июня, куда он ездил по издательским делам, а меня знакомила с Москвой, с ВДНХ младшая дочь дяди Миши — Вера. Ты приехал на день позже на соревнования в составе команды военного округа. Сколько интересного ты рассказывал, и в первую очередь о положении на границе. Немцы готовятся к войне, их самолеты часто нарушают границу, и ты будто стрелял по одному из них из винтовки и, кажется, попал. За границей экскаваторы рыли окопы, строили оборонительные сооружения. Вы тоже готовились, копали без отдыха траншеи, но, наверно, это делалось, чтобы занять чем-нибудь солдат, потому что приехало начальство и приказало: «Закопать канавки». А солдаты выбивались из сил, как ты говорил, новобранцы-москвичи, призванные сразу после десятого класса, — плакали. Даже ты растянул на спине мышцы и три дня пролежал в госпитале.

Подготовка немцев к войне косвенно подтвердилась массовым выездом их специалистов из Москвы. Почти два международных вагона заполнили немцы. В Борисове в наше купе попросился полковник, ему дали билет в купе с немчурой, а у него были какие-то важные бумаги. В те дни я встретил своего одноклассника Карлушку Новосельского. Хоть он и был шутником, но теперь вполне серьезно говорил о скором начале войны, как ему откуда-то стало известно.

Начались соревнования. Я каждый день посещал стенд, с интересом наблюдал, как в пыль разлетаются тарелочки при каждом точном выстреле. Там же сделал несколько фотоснимков подаренным тебе отцом аппаратом, который он купил в Париже во время командировки на антифашистский съезд писателей.

Чудом сохранились у меня эти последние фотографии с тобой. Они получились неудачные. Отпечатки я сделал на аристотипной бумаге. Проявленные на солнце, они были чудесными, но после фиксажа отпечатки побледнели. На них сохранился только твой силуэт, силуэт стройного юноши. Ты был в команде самым младшим по званию — ефрейтор. А среди командиров, кажется, были: Жуковский, Болоткин, Леонтьев. Нападение немцев на нашу страну вынудило преждевременно закончить соревнования, тебе нужно было 24-го явиться в комендатуру к двум часам. У меня и теперь перед глазами события того дня. Утром был небольшой налет немецких самолетов. Бомбы сыпались густо — одна попала в дом, находящийся на противоположной стороне улицы, взорвало крышу. Через один дом в крыльцо дома Вайнеров попала вторая, она снесла его так, что стало видно все внутри квартиры, а третья бомба перебила водопроводную трубу. В этот налет сильно поранило на заводе Кирова Лешу Самохвала.

Перед уходом в комендатуру ты сидел возле дровяного сарая на козлах задумчивый-задумчивый. У меня был кулек конфет, любителями которых мы были оба, — мы их быстро прикончили. А под кроватью осталась бутылка молдавского игристого. Я побоялся тебе его предложить — ведь ты шел к коменданту. Потом так жалел, что мы не выпили. Ты тогда сказал мне: «Михась, сохрани мои ружья. Кончится война, будем вместе ходить на охоту». Ружья я сохранил, а ты не вернулся... Я сердцем чувствовал, что это последняя встреча, что мы больше никогда не увидимся. Но высказать предчувствие не хотел, да и зачем? Мы с тобой крепко-крепко расцеловались, и ты направился в комендатуру. В скором времени прозвучал сигнал воздушной тревоги, начался массированный налет самолетов. Мама звала, чтобы я быстрей прятался, а я наблюдал за небом. Из-под туч веером разлетались самолеты. Они быстро снижались, и я увидел, как отделяются от них черные точки. Я бросился в подвал, и тут же затряслась земля от сотен бомбовых разрывов. Отец с Даником и дядей Игнатом прятались в щели. А самолеты налетали и налетали.

Накануне мы обсуждали, куда деваться, чтобы переждать это лихо. Решили — в Березянку, где отец собирался строить дачу. Я стеснялся вставить свое слово, чтобы не высмеяли. Как же может более слабый нападать на более сильного? Видно, есть какой-то расчет. Но кто меня будет слушать, тем более, что секретарь ЦК Горбунов сказал отцу, что Красная Армия уже ведет бои под Кенигсбергом.

Заранее упаковал ящик нужными вещами, хотел вытянуть фотокарточки из альбома, но не осмелился, о чем и теперь жалею. Тем временем в нашем переулке начались пожары, все вокруг затянуло дымом. В перерывах между налетами бросились выталкивать из-под деревьев машину: как назло сел аккумулятор. Немного разогнали, машина завелась, за руль сел сосед, свояк профессора Денисова. Договорились, что вторым рейсом он заберет свою семью. Схватили два чемодана и корзину с ветчиной, а я — твои ружья. Отец успел открыть дверь сарайчика, чтоб выпустить поросенка, и мы помчались по Войсковому переулку на московское шоссе. Поднялся страшный ветер, головешки перелетали от одних домов к другим, около трамвайного парка лежал убитый мужчина, несколько человек бежали. Повернули на Красную улицу, она и в самом деле была красной — все дома горели, около бензоколонки стояла полуторка, которая тоже горела. Припекало через стекло машины. На Советской улице напротив радиозавода бомба упала на трамвайные рельсы, и они вздыбились. Возле Академии наук было затишье, и мы скоро повернули на дорогу в направлении совнаркомовских дач. Шофер поехал за своими, отец дал ему свое депутатское свидетельство, чтоб не задержали.

Ты нашел эту машину в нашем переулке с взорванным баком, видно, от высокой температуры. Из твоего письма знаю, что достал из машины ключи. Парень, который нас вывозил, остался жив, потому что позже отцу удостоверение передали.

Возле дачи Цанавы отец встретил управляющего делами Совнаркома Фадеева. Тот заверил: «Товарищ Колас, мы вас не бросим!» Принесли лопату, выко-

пали неглубокие ямы, застлали еловыми лапками, а под голову я положил ружья. К нам заходил какой-то капитан из охраны Цанавы, заходила жена Цанавы со своим сыном. Посочувствовала.

Со Степянкинского аэродрома взлетали ястребки, назад возвращалось их меньше и меньше, временами с перебоями в моторах. Под вечер бомбежка закончилась, над Минском поднялось огромное зарево. Идти к тебе навстречу? Но куда, где ты мог быть?

Ночью одна за другой отъезжали от дачи машины. На рассвете, когда мы поднялись, там остался только сторож. Мы быстренько направились в сторону станции Степянка, где расстались с дядей Игнатом. Он пошел пешком в Болочанку — там уже находилась тетя Валя. В ясных, светло-голубых дядиных глазах появились слезы. Позже отец писал в дневнике: «После обеда прилег отдохнуть. Вспомнилось Подбережье, подбережская поляна, дорога и мои милые пышные сосны при дороге, как живые, встали перед глазами. Вспомнился Игнат. Где он — спрашивал у Марии. Как далеко этот уголок! Он кажется мне недосягаемым раем. Окажусь ли на той дороге, что ведет к родным уголкам, на Свислочь, в Устье, Березянку и Болочанку? Как томится душа! Сколько могил на родной земле! А Юрка! Болит, болит мое сердце» (02.06.1943 г.).

С полустанка Степянка отходил товарняк, и мы еле успели вскочить в вагон, мама подвернула ногу. Доехали до Колодищей, зашли к Лагуновским, там нас хорошо накормили. А на станции, где формировали поезда, отцу настойчиво рекомендовали скорее ехать в Москву, что мы и сделали. Поезд раз за разом бесконечно останавливался, почти ночь простоял в Смолевичах. Из вагона была видна бесконечная череда беженцев с узлами и чемоданами. На полустанках они подсаживались в наш товарняк. К нам в вагон подсело несколько человек, две девушки из университета, они немного знали Даника. А также какой-то разговорчивый немолодой, в крестьянской одежде человек. Он очень интересовался каждым поездом, особенно с военными. Мама заподозрила — не чужой ли это человек. Часам к четырем добрались до Орши, и сразу же начался налет. Около двенадцати самолетов шли прямо на нас. Я увидел, как отделяются бомбы, и закрыл двери вагона. Через два вагона от нас в поезд попала бомба, осколком другой выбило тяжелую раму в нашем вагоне, но никого не зацепило. Самолеты повернули назад, и мы подумали, что будет новый заход. Схватили узлы и бросились в березняк. Данила в спешке схватил чужой чемодан, а наш оставил. Пришлось его отнести и забрать свой. Скоро дозвонились до Купалы в Левки, где он отдыхал на своей даче. Дядя Янка прислал свою машину, приехала тетя Влада. Купала встретил приветливо, но тут же предупредил, что мы его гости на два-три дня. Мама восприняла это болезненно. Но можно было понять и хозяина: его положение тоже было неопределенным. Назавтра вечером из-под Орши донеслась стрельба из пушек, слышались глухие взрывы бомб. Позже говорили, будто танковый корпус Гота прорвался и шли бои под самым городом. На другой день узнали, что из Копыся на восток уходят две машины — из Гродно и Минска, спасаются работники керамических заводов. Машины были перегружены домашним скарбом, нас брать не хотели. Но, видно, сыграла роль корзинка с провизией, кушать же в дороге надо. Ну и вещей у нас — два чемодана. В спешке отец не успел взять с собой сберегательную книжку, правда, денег на ней не много было. На всякий случай часть он дал и мне, мало ли что могло случиться. Но нас тепло встречали в деревнях и городских поселках. Люди чувствовали приближение беды, может, и им придется скоро оставить родные места. Незадолго до отъезда к Купале заходил лесник, мы попросили его дать несколько зарядов. Он принес четыре патрона с простой капсулой и в металлических гильзах шестнадцатого калибра к твоей «тулке», которую отец купил на VII съезде Советов, когда нарком Серго Орджоникидзе демонстрировал изделия молодой социалистической индустрии. Это ружье с № 85 я передал в музей вместе с твоим фотоаппаратом. Я его

тоже захватил с собой. Других вещей с довоенных времен не осталось. Правда, с пожарища знакомый отца, друг дяди Игната — Бриж, вывез обгорелый сейф и потом передал отцу. Там нашли обгорелые мамины часы и почерневшие серебряные рюмки, которые подарил родителям Янка Купала в день 25-летия их свадьбы. К этой дате вы с Даником заказали торт — в виде развернутой книги с надписью: «Пинск 1913 — Минск 1938». Кондитер никак не соглашался выводить слово «Пинск». Разве это можно? Он же в панской Польше! Вот так, даже название города, находящегося за границей, вызывало подозрение. Даник применил всю свою дипломатию и еле убедил кондитера, что в этом никакой крамолы нет. Мне же на всю жизнь запомнился твой тост. Ты от всего сердца поздравил родителей с юбилеем и поблагодарил за то, что за все прожитые вместе годы мы никогда не слышали, чтоб они ссорились. И когда мне доводилось бывать на свадьбах, я вспоминал тебя, твой тост и желал молодым прожить так, чтобы через двадцать пять лет их дети сказали родителям такие слова, которые говорил им ты. Тебе тогда был 21 год, а мне — 12.

Как-то отвечая на вопросы анкеты: кто ваши любимые литературные герои? — я отметил Тома Сойера, Тиля Уленшпигеля, Ходжу Насреддина и хотел добавить Дон Кихота. А потом задумался: почему я назвал именно их? И пришел к выводу — в их лучших чертах мне виделись твои, твои, мой дорогой брат! Справедливость, бесстрашие, готовность поделиться последним с друзьями, стойкость, ловкость, любовь к близким, любовь к Отечеству. За эти качества тебя любили друзья и подруги, тебя любил Янка Купала. А сколько рассказывал о тебе Заир Азгур! Ты, оказывается, был нередким гостем в его мастерской, интересовался работами этого большого скульптора современности. Когда-то во время учебы отец из своего кармана посылал ему «стипендию». Деньги это были небольшие, но они поддерживали талантливого юношу.

Когда Купала заходил к отцу, он всегда приносил какой-нибудь подарок, мне — кулечек конфет, тебе же он однажды вручил шикарный альбом с рисунками животных. Ты подарил мне книги «Тиль Уленшпигель», «Айвенго». И ты же, издеваясь, хохотал над моим произношением имени Леди Ровена. На всю жизнь запомнилось. Но это заставляло меня более внимательно относиться к произношению.

Иногда ты приносил мне какую-нибудь приключенческую книгу и строго предупреждал: «Только на один день!» И я вынужден был, не отрываясь, прочитывать ее. Порой в книге не было ни обложки, ни названия, ни последних страниц. Только много позже я догадывался, что это были за книги. Мне рассказывала твоя одноклассница, что у тебя под партой всегда лежала раскрытая книга, и ты, как заяц, прислушивался к тому, что делалось вокруг, к словам учителя, но продолжал читать. Может, потому у тебя иногда возникали конфликты в школе? Теперь можно только догадываться, потому что приключений у тебя было больше, чем у нас, будто ты их умышленно искал. Когда учительница допытывалась, что ты читаешь дома, ты — с твоих слов — мгновенно отвечал: «В день по басне Крылова!» Я помню, как ты меня маленького пугал страшными рассказами про Вия, про «страшную месть». Рассказчик ты был отличный, и когда мы были на летних каникулах в Устье, перед сном на сене мне и моим друзьям ты рассказывал невероятные истории, делая нас действующими лицами какого-то события из приключенческих книг, которыми ты увлекался. Но запала у тебя хватало ненадолго, ты быстро засыпал молодецким сном. А ребята просили: «А что дальше, что дальше? Юрка, Юрка!» Кстати, ты был не Юркой! В метрике, как и в паспорте, ты — Георгий. Мама рассказывала, что отец хотел своего второго сына назвать Ильей в честь Ильи Пророка, приносящего дождь, а значит и урожай на нашу белорусскую земельку. Отец с уважением относился к этому пророку, хотя верующим не был. Наверно, это уважение к силам природы у людей укоренилось с давних лет. Бабка страшно возмутилась: «Я не позволю, чтобы моему внуку

дали такое гадкое имя!» Характер у бабушки был — о-е-ей! И отец не захотел конфликтовать с тещей. А она схватила малого — и в церковь, где поп и окрестил тебя Георгием в честь Георгия Победоносца.

Я гордился тем, что мой брат — настоящий символ новой эпохи, он родился 1 мая 1917 года в День международной солидарности трудящихся и в год Октябрьской революции. Родился же ты в беженстве, в далекой и суровой Перми. Потом была Курщина, голодные и холодные годы твоего детства — маленьким, худеньким, но задиристым рос мальчик. Бывало, идя с мамой за ручку, ухитрялся схватить камешек и бросить в своего «врага». Рассердившись, угрожающе произносил: «Ой, каненне, каненне!» Но что это значило, мама так и не узнала. Иногда ты приходил домой побитым, заплаканным, ища защиты у мамы: «Мама, меня побили-и-и!» Мама не потакала сыну: «А ты, Юрочка, не лезь к старшим, и тебя никто не побьет!» Не доходили мамины советы до малого. И в следующий раз слышались те же слова. Не получив поддержки, защиты, пришлось утверждать свое Я, рассчитывая только на свои силы. Видно, с этого и началось становление характера — самостоятельность, независимость, претензия на лидерство среди таких же сорванцов. Со старшим братом нужно было дружить, он был не только спокойнее, вдумчивее, но и намного сильнее. Помню, однажды, когда Даник бил меня, а бил он жестоко, ты бросился на него с кулаками — спасать младшего братика. Я был благодарен тебе, хотя от тебя мне доставалось чаще, чем от других. Отец только один раз шлепнул меня по затылку, доставалось от мамы, когда было за что. Ты же просил прощения за свою горячность. И я на тебя не обижался. Много позже, в студенческие годы, ты поспорил с однокурсником и, долго не думая, как рассказывали, дал ему в ухо. Но быстро отошел, сбегал за бутылкой и предложил мировую.

В памяти не так много осталось воспоминаний о прошлом, о котором доводилось слышать от родителей. Сильно врезалась в память отцовская исповедь, как он еженедельно ходил к вам за сорок верст — на Курщине. Однажды купил вам булочку хлеба весом с фунт или полтора. Но когда шел, задумавшись, отщипнул кусочек хлеба, потом другой... Осознав, что не заметил, как съел весь хлеб, расплакался — сынам ничего не достанется.

С переездом на родину, в Минск, ты оказался в новом окружении. Голода здесь не было, но еда с неба не сыпалась. В доме Русецкого, где вы остановились, снимали квартиры разные люди. Подрастала целая когорта детворы. Родителям приходилось много работать, чтоб обеспечить самым необходимым свои семьи. А дети были заняты собой. Сами придумывали игры, иногда нелепые. Сами делали игрушки, мастерили рогатки, самопалы. Смастерил самопал и ты. А в то время недалеко — в жидовском саду, как его называли, кто-то строил дом с жестяной крышей. Это была в то время такая редкость! И тебе захотелось узнать, продырявит ли пуля блестящий металл. Много позже я тоже делал самопалы, мои выдерживали много выстрелов, а твой разорвался сразу и раскроил кисть руки, осколком рвануло по лбу, порохом запорошило глаза. Хорошо, что осколки не попали в глаза, шрамы же остались. Но где ты, брат, добывал порох? Я брал «в долг» из твоего пакетика. Однажды в Устье ты услышал мои выстрелы в лесу и допытывался, из чего мы стреляли. Пришлось соврать, сказать, что стреляли из дюбеля... Тяга к оружию пробудилась рано как у тебя, так и у меня. Уже на моей памяти дома хранилась мелкокалиберка «Монте-Кристо», курковая, второй ствол — 32-го калибра. Она была тяжелой, имела значительный шат, но ты говорил, что выбивал из пальцев своего друга Павла Грудинского пятаки. Мне не верилось, что ты так мог рисковать, а расспросить Павла не довелось. Что ты метко стрелял, я убедился в свои десять лет, когда в считанные секунды сбил синичку, что без остановки прыгала с ветки на ветку. А потом пуля в пулю посылал в коробок от папирос. Правда, это было с новейшим ТОЗ-6. Откуда такое мастерство? Как говорили наши николаевские родственники, хорошим

стрелком был дядя Антон, но почему это не отметил в «Новой земле» отец? А сам отец не один раз говорил, что был первым стрелком из нагана в своей роте. И я был свидетелем, как он метко отстреливал грачей в парке Блонского Дома отдыха писателей. Пройти по дорожкам этого парка без риска получить птичью «посылку» было шансов мало. Отец очень долго целился, чтобы попасть в голову, — и попадал. Несмотря на то, что оберегал все живое, кроме хищников, к нашему охотничьему влечению не выказывал недовольства. Видно, отцовская способность к стрельбе передалась нам.

Как мне хотелось, чтобы ты увидел и порадовался моим успехам! На первых официальных соревнованиях в Киеве я выполнил нормативы первого разряда и стабильно держался на этом уровне, а потом на уровне мастера спорта. Сколько раз после победы я жалел, что тебя нет рядом со мной! И как мне хотелось, чтобы мы выступили в одной команде. Я вспомнил один нелепый случай, когда мы шли вдоль Свислочи от Блужского бора. Вечерело, солнце висело над горизонтом, легкий ветерок покачивал придорожную траву, а над речкой летали тысячи ласточек-береговушек. Их гнездышки находились в песчаных обрывах речных берегов, и ласточки с визгом мелькали в воздухе, мгновенно меняя направление полета. Я спустился к воде, насобирал карман камешков и начал бросать в ласточек. И нужно же было так выстрелить навстречу стайке из четырех птичек, которые гонялись одна за другой, чтобы одна из этой череды упала возле твоих ног. Как я молил тебя не рассказывать об этом родителям, потому что ласточек и аистов отец считал не только божьими созданиями, но почти святыми. Ты же не смог не похвастаться таким «точным» выстрелом маленького Робин Гуда. Но это была простая случайность. Я не помню, кто мне смастерил первую рогатку, но это мог быть только ты или Юрка Лесик, живший у нас после ареста его отца. С той рогатки в свои шесть лет я застрелил первого воробья, такого же желторотого, как и я. Его агония потрясла меня до дрожи, но, видно, пробудила инстинкт далеких предков, добывавших еду охотой. В давние времена это было делом и обязанностью каждого мужчины. С рогаткой я не расставался много лет. На этой почве подружился с Леней Панковцом. Мы много тренировались на разных мишенях, в том числе и на живых. Доставалось котам и собакам. Мы собирали в коллекцию птичьи крылья и хвосты, знали большинство певчих птиц. Леня жил недалеко от нас в том самом жидовском саду, где находились дома Русецкого. Его дом стоял за домом Мельцера, куда ты меня таскал с собой, когда мама посылала к нему за пеклеванным хлебом. Мама договорилась с хлебопеком, чтобы он в определенные дни оставлял для нас булку белого хлеба, потому что от черного хлеба у отца обострялась язва желудка. Мельцер выпекал хлеб из пеклеванной муки, а печку разжигал только еловыми лучинами. Мама Лени учительствовала в моей 14-й школе, а отец преподавал математику в 4-й. Это был отличный педагог, строгий, требовательный, такой же, как и твой Михаил Иванович Волосевич, с которым ты конфликтовал. У Философа Демьяновича училась моя жена. У нее остались наилучшие воспоминания об этом действительно великом учителе. А с Леней я подружился на всю жизнь.

Однажды я продемонстрировал тебе и твоим стрелкам по команде свое «мастерство». Это было накануне войны. Ты со стрелками из вашей команды пришел домой и направился чистить винтовки. А во дворе на высоте трех-четырех метров была натянута проволока. Я вас остановил и прицелился камешком из рогатки в ту проволоку. Она задрожала, вы даже покрутили головами. Через много лет я сделал рогатку своему внуку Ивану. С его отцом мы отдыхали на хуторе у невероятно красивого озера Гиньково. Глубокий каньон, на склонах — лес, ярко отражающийся на глади озера, тишина. Мне хотелось, чтобы внук стал охотником, кому-то надо передать ружья? Но у него не хватало настойчивости: брался за многое и быстро бросал. Не проявилась у него страсть к стрельбе. Правда, иногда заложит маленькое яблочко в рогатку и бах! — в корову. От такой

неожиданности животное смешно подскакивало, мальчик катался со смеху. Только после того, как хозяйка хорошо отругала малого, он бросил это занятие. Но прицепился ко мне: «Дед, а ты сможешь попасть в сапог, если я его подброшу?» — «Давай, попробую». Он подбросил, и я с первого камешка попал. А он, чтобы убедиться в моем мастерстве, говорит: «Давай еще!» Конечно, мне нужно было отказаться, сохранив «авторитет». Но я согласился. И сколько ни стрелял, больше так и не попал, только приговаривал: «Так стрелял мой дед, так стрелял мой отец, а я — как в первый раз!» Мальчик хорошо понимал и от души хохотал. Там я его сфотографировал в обнимку с теленком, со щукой и в других позах.

Как жалко, что мало осталось фотокарточек, на которых есть ты. Наверно, впервые ты попал в объектив фотоаппарата в Семкове, где отец что-то читал детям из детского дома. За отцовской спиной — фигура мамы, а ты возле Даника не вытерпел и мотнул головой. Боже, какой же ты был худенький и маленький в свои пять годков!

В памяти сохранилось много разных эпизодов из моего детства, связанных с летним отдыхом. Так, в 1931 году мы отдыхали на хуторе — в Банцировщине, что недалеко от станции Ждановичи, откуда мы песчаной тропинкой проходили через молодой сосновый лес домой. Лес был очень грибной. В грибную пору отец приносил по 300—500 боровиков. Но лес простреливался из-за неаккуратно сооруженного стрельбища. Собирая грибы, отец нашел с десяток пуль. Я их долго прятал, как большое сокровище. Часто под вечер мы ходили встречать отца. До станции иной раз ты нес меня на плечах, а назад — отец. Мне так нравились такие путешествия! Потому что ходить я не любил, а ты меня часто подгонял. С горки, где начинался лес, была хорошо видна станция, и мы с интересом наблюдали, как пыхтит паровоз и как грозно выпускает пар. Ждановичи входили в пограничную зону, и здесь каждый раз проверяли документы. Выделялся придирчивый и крикливый капитан Утянский. Он хорошо знал пассажиров в лицо, в том числе и тебя. Но когда ты однажды забыл взять соответствующую справку, готов был «арестовать» нарушителя режима. А ты — раз не взял справку: «Буду прыгать!» А он: «Буду стрелять!» Вы спорили, пока не доехали до станции. Ну и проклинал ты его! Сколько было высказано гневных слов! Правда, ты быстро отходил.

В то лето в другом доме хутора отдыхала семья Алесиных с детьми: Борисом и Гедом. Борис был твоим ровесником. Добрый, бесхитростный, немного романтичный мальчик. Вы же иногда разыгрывали его, отказываясь брать с собою в лес и ставили условие — поскандалить дома. Забавы в лесу разные. Вы выкопали пещеру на обрыве, установили трубу, что-то жарили или пекли, таскали с поля вкусный турнепс, собирали ягоды. Семья же Алесиных была культурной, тихой — полный порядок. И вдруг Борис, как только увидел вашу компанию, бросил миску с манной кашей и закричал, чтобы вы услышали: «Бабушка! Что вы суете мне эту гадость, она мне надоела!» — «Боря, Боря, что с тобой?» — в ужасе бросилась к нему мать. А Борис — в окно и к вам. «Был скандал! Можно с вами?» Не знаю, как чувствовали себя вы, наверно, неловко. После Борис часто заходил к нам в Минске и каждый раз бросался ко мне с поцелуями.

Когда собиралось несколько мальчиков, вы начинали с азартом гонять мяч. Однажды, когда никого не было, ты пожалел, что нет голкипера. Я захотел помочь тебе. Ты согласился, дал мне в руки какой-то кол и почему-то поставил меня на скамейку — здесь ворота! Я не успел шевельнуться, как мяч ударил мне по шапке с такой силой, что я слетел со скамейки. Ты испугался — такой сильный удар нанес своему братику, и стал обнимать и успокаивать меня. Но в свою компанию не брал, когда вы бегали в лес или на речку.

Время от времени тебе доводилось пасти нашу корову, и вы со здешней гончей Марсом направлялись к реке. Там ты пробирался через кусты в поисках места, где лучше забросить удочку. Однажды в лозняке Марс поднял утку, она с

трудом пробивалась через лозы, и ты успел поймать ее. Сколько было гордости! Какой трофей! Но утка, видно, была подранком — страшно худая. Собаку ты стал понемногу прикармливать. И когда подошло время гнать корову домой в Минск, за тобой увязался Марс. Так в доме появился еще один барбос. Как сторож он был никакой, а ворюга — страшный. До дома было километров десять. Поднялся ураганный ветер. Ты почти целый день потратил на дорогу. Как ты потом проклинал и обзывал нашу кормилицу! Недолго после этого корова прожила. Пришлось дорезать. Мясо распродали соседям, знакомым. Год был тяжелым, голодным, хлеб — по карточкам, сахар получали редко, масла не было. Да и за этими продуктами выстаивали в очередях многие часы. Молочные продукты мама приносила с рынка. Жили мы тогда в собственном доме, двухэтажном, который строили под руководством дяди Саши, хорошего, жизнерадостного бобыля. Дом был большой, две комнаты и веранду сначала занимал дядя Игнат с женой, а потом — знакомый отца Мазур Игнат Николаевич с женою и детьми: Ольгой и Инной, моей ровесницей.

Большой дом требовал больших хлопот. Нужно было наготовить дров, попилить и посечь их. Он хорошо знал, с какой стороны нужно было сечь полено, чтобы оно легко раскололось. А тем временем мама «пилила» тебя и Даника, что не помогаете отцу. Потому что он не только наготовит дров, но еще и занесет их на второй этаж. Изредка и ты брался с друзьями за дрова. Однажды вы пилили их с Шуркой Блимбоцким. Такому быстрому, как ты, медленная распиловка была не по вкусу. И вы начали тягать пилу как можно быстрее, а пила выскочила из паза и как шарахнула бедному парню по руке — почти до кости. Страшно было смотреть на ту рану.

А с какой неохотой вы иной раз шли помогать дяде Саше в его огородничестве. Участок был засажен старыми деревьями, дядя приносил и садил новые. Он старался привлечь своих племянников, обещая небольшие деньги за работу. Но на эту приманку вы не клевали. В нашем доме всегда находили приют юноши, девушки — близкие или просто знакомые. Мама изо всех сил старалась дать образование, поддержать молодежь. Она смотрела и опекала нас. Пока ты учился в школе, в которой были дети многих известных деятелей того времени, она часто навещала ее, работала в родительском комитете. Поэтому тебе приходилось как-то ограничивать себя. Но, тем не менее, ты хвастался разными проделками, которые вы вытворяли в школе. Там ты подружился с Игорем Рыдевским, чаще других называл Зою Червякову, которая тебя, видно, чем-то притягивала. А влюбилась в тебя Тамара Кореневская, да так, что у нее будто крыша поехала. Ты был таким симпатичным, жизнерадостным. Наша общая фотокарточка сохранилась у Агриппины, которая нянчила меня. Она жила в Дворище, недалеко от Радошковичей, где одна с двумя детками горевала. Муж ее, председатель колхоза, умер в сороковом. В ее доме в рамочке на стене висела наша фотокарточка. Я ее выпросил. Семейное фото относилось к тем годам, когда ты учился, наверно, в пятом классе. Ты уже в те годы любил напевать себе под нос разные песни. Слух у тебя был замечательный, и ты быстро подхватывал все мелодии. Позже я слышал от тебя много как блатных, так и модных песен. («Здравствуй, моя мурка, здравствуй, дорогая», «Девушку из маленькой таверны полюбил суровый капитан» и др.)

Однажды к родителям пришел учитель из твоей школы с претензией: «Где ваш сын учится непристойным песням?» Начали разбираться, что за песни? «Дайте мне за рупь с полтиной девицу с огнем!» Вспомнили: это же Янка Купала напевал, когда с отцом играл в шахматы. А ты подслушал и понес дальше. Но такому авторитету, как Купала, трудно возразить. Эту конфликтную ситуацию уладили. Однако у тебя постоянно возникали споры — кто сильней, кто ловчей, кто смелей. И кто-то тебя подначил: если ты такой смелый — прыгни с моста в реку. Такой же узенький мостик и теперь соединяет бывшую электростанцию с Парком Горького. С того моста ты и сиганул в Свислочь. Не рассчитав глубину, рассадил

о камень колено. На одной ноге и прискакал домой. Шесть недель пришлось отлежать на кровати. Еще сантиметр — и остался бы без ноги, говорили врачи.

С приходом весны, в марте, ты обычно «переезжал» на летний сезон на веранду, хотя и застекленную, но холодную. Там ты чувствовал себя более независимо; рядом — книги, старые журналы. На стене лист фанеры, где ты записывал «важные события» своей жизни. А перед Новым годом ты переходил в отцовский кабинет — там стояла елка. Украшения были самодельные, а конфеты — настоящие. Там ты за чтением книг проводил добрую половину дня. Мама заметила, что твое чтение заканчивалось, когда от конфет оставались только бумажки. А то, что мне приносили в подарок, ты находил безошибочно, как бы я ни прятал. Правда, оставлял и мне. Помню, как однажды ты, испуганный, выскочил из кладовки, что находилась под лестницей: что-то царапало горло! Оказалось, в банку с вареньем забрались другие любители сладкого — рыжие муравьи. Смеху было много, когда ты «засветился» на муравьях.

Тем временем в 1932 году ты окончил семилетку, и нужно было искать школу-десятилетку. А на каникулы выбрался с нами в Прилучки, что рядом со станцией Волчковичи. Место неинтересное, маленькая и очень холодная Птичь, но раков в ней было много.

Окрестные леса были непривлекательные, заросшие. Среди лесных трав попадалась зубровка. Мы с отцом ходили в лес за этой травой, я ее не находил, а отец собирал много. Высушенная, она сохраняла аромат и была ценным подарком для его друзей. Тогда про зубровку не многие слышали, а так, как отец, наверно, никто не знал лес и где что в нем растет. Лето было дождливое и холодное. В этой деревеньке отдыхала также большая семья Чекалинских — Иван Казимирович, которому ты дал прозвище «длинный Ваня», жена его — Наталья Ивановна и пятеро детей. К ним приезжали близкие, и, кажется, у Мечислава сохранилась фотокарточка всей компании дачников. Кроме Чекалинских на карточке — девчата Прозоровы — Туся и Мака, и их мама. С тех времен у нас установились дружеские отношения. После оккупации Минска Чекалинские оказались в концлагере, но, слава Богу, остались живы. Погиб на фронте под Ленинградом старший сын — Богдан. Отец посвятил Наталье Ивановне несколько стихотворений, которые она сохранила несмотря на страшные условия концлагеря.

Там, в Прилучках, ты иногда собирал младших ловить лягушек, а ночью шел ловить на них раков. Однажды наловил целое ведро и тихонько поставил его в комнате, где спали девчата. Раки расползлись по полу. Сколько было визга и смеха!

Через много лет я приезжал в те места за зубровкой. Один раз взял с собой внучка Ваньку. Подошли к лесу. А малой меня стал тормошить: «Дед, смотри: зверь!» И показывает на кусты, а я ничего не вижу. А он свое: «Зверь, зверь!» Я догадался наклониться до его уровня и на самом деле увидел куницу. Подошли ближе, там их было две, молодые. Мы стали бросать палками, одна слетела вниз, зашипела и, как белочка, взлетела на вершину дерева.

Осенью ты пошел в 20-ю школу-десятилетку, что находилась далековато от нас — возле стадиона «Динамо». С восьмого класса тебя потянуло на сигареты. Видно, считал себя самостоятельным.

В те тяжелые годы каждый держал поросенка. А поскольку доставать корм было нелегко, дядя Саша мобилизовал тебя и Даника за желудями в Колодищи. Тебе, как самому ловкому, поручили лазить по деревьям и стряхивать желуди. Вы тогда притащили два полных мешка. Корма хватило на ползимы. Я же в ту зиму подхватил дифтерит и еле выкарабкался, потому что доктора поздно определили болезнь.

Чтобы подлечить меня, решили летом поехать в Тальку, в сосновые леса. Родом из тех мест был Михась Чарот, он отдыхал на хуторе Никиты за Тербутами, а в Тербутах отдыхал знакомый отца — искусствовед Антон Усс.

В тот год в Тальке отдыхала семья Кондрата Крапивы — жена и сыновья, Борис и маленький Гарик. Отдыхал там и Сымон Барановых. Во время войны Борис оказался в противотанковой артиллерии. В 1944 году его откомандировали в Москву, где он встретился со своим отцом и проронил пророческие слова: «Отец, нам больше не придется встретиться...» В Тальке он держался немного особняком, присматривая за младшим братом. А детей там было много. Недалеко за деревней протекала речушка Талька, которая вымыла за железнодорожным мостом большое озерцо — Яму. На этой Яме подростки и взрослые искали свое рыбацкое счастье. Там действительно было много рыбы: щук, лещей, плотвы. Вдоль реки раскинулись луга, болотца, за ними — неоглядные просторы заболоченных и боровых лесов. Грибов там, видно, испокон веку было много-много. Но они тебя не интересовали, до ружья ты еще не дорос, оставалась рыбалка. Себе, отцу и мне ты сплел лески из хвоста лошади нашего хозяина Авсейчика, смастерил удочки, как писал отец:

Юрка ссукаў яму лёску.
Ванька зрэзаў бярозку.
Было што ў рукі ўзяць,
Выйшла вудзільна на пяць.

Так ты пристрастил отца и меня к рыбной ловле. Мы просиживали долгие часы возле Ямы. А ты сновал вдоль речки, выбирая подходящие места. Однажды на перекате подцепил леща килограмма на полтора — было чем похвастаться. Вокруг стегали по воде удочками тальковские мальчишки. Со многими из них мы подружились, и в поэму «Міхасёвы прыгоды» вошли имена тех детей. А ты подружился с сыном нашего хозяина Мишкой, пронырливым и немного жуликоватым. Как-то вы расписали под зебру Авсейчикову лошадь. Досталось вам от его мамы! Ну и распекала она вас за это «издевательство» над животным! Языкастая была женщина! Потом Миша стал самостоятельным человеком, директором одной из марьиногорских школ. Там же ты подружился с Сашей Мурочем, да так, что вместе поступали на геолого-географический факультет университета. Отец Саши, огромный мужчина, работал на железнодорожной станции. Он был заядлым охотником, держал огромного костромича — Милорда. Как рассказывали, тот не любил пьяных и бородатых. Однажды повалил бородатого ребе и не отпускал, пока не пришли свои. В деревне было еще несколько охотников. Братья Ермолинские держали польскую гончую сучку — Нимфу. Как раз в тот год отец познакомился с русским поэтом, переводчиком Сергеем Городецким. А у него была жена, которую он называл Нимфой, а дочь — Наядой. Как ты хохотал, когда услышал об этом! «У Ермолинского сучку зовут Нимфой, а у Городецкого — жену!»

Жил в Тальке еще один охотник — Хамета, татарин, звали его Ахмет, но односельчане переделали его имя на более привычный манер. Хамета слыл мастером дрессировки собак. Работал он на салотопке, где одновременно был директором, бухгалтером и рабочим. Вы с Даником нередко вспоминали, как к празднику Первое мая поселковые власти потребовали вывесить первомайские лозунги над его предприятием. И он от чистого сердца написал: «Пусть живет салотопка и дохнут кони!» Потому что без дохлых коней ему не выполнить план. Большое количество охотников объяснялось местами, богатыми дичью. К открытию охотничьего сезона из окрестных деревень, из Минска собиралась немалая толпа любителей, и все направлялись в Сутин. Там широкая пойма Птичи находилась под водою, уток было множество. Как тебе хотелось идти вместе с ними! А сколько волнующих рассказов, басен, невероятных приключений озвучивалось в те часы! Отец, видя твое безграничное увлечение, волнение, купил тебе «заур» у того же Русецкого — за большие в то время деньги — тысячу рублей. Русецкий умел набить цену и не проторговаться. Эти черты отмечены в отцов-

ском рассказе «У двары пана Тарбецкага». Радость твоя была безграничной. Это же не мелкокалиберка, а настоящее ружье двенадцатого калибра и в хорошем состоянии! И как оно тебе нравилось! Ты часто вскидывал его на плечо, да так, чтобы оно точно направлялось в конкретную точку. Радость радостью, но у тебя сложилась конфликтная ситуация в школе с учителем математики. Требовательный педагог, видно, ущемлял твой свободолюбивый характер. В ответ ты перестал готовиться к его урокам. А здесь еще борьба с курильщиками. Михаил Иванович, пожилой человек из когорты великих учителей, старался более других в этой борьбе. Вы же его за педантичность, требовательность прозвали «Психом». Осмысливая через годы твое поведение, а правильнее, мечтания, которые ты отождествлял с реальностью, я пришел к выводу, что ты нам выдавал желаемое за действительное. А я благосклонно воспринимал все как правду, поскольку дома у нас не принято было говорить неправду. Хорошо помню, как ты «проучил» пожилого учителя. На перемене ты прикурил две сигареты. Одну держал в руке так, чтобы ее нельзя было заметить, а другую курил. И, когда школьники, стоявшие на «стреме», предупредили о приближении опасности, ты отвернулся от дверей и будто затянулся окурком. Вошел «Псих» и, как всегда в таких случаях, приказал: «Брось! Брось!» Что ты и сделал. «Затоптать, затоптать! А теперь подыми и кури!» Ты покорно наклонился, будто хотел поднять растоптанный окурок, а поднял подготовленную сигарету и с победным выражением лица затянулся. Немая сцена.

Маргарите и Туське рассказывал, как на уроке написал решение задачи на полене, что лежало возле печи, и под хохот класса переносил его на доску. Для меня же твои байки были примером храбрости, находчивости, почти героизма. Требовательность учителя ты воспринимал как придирки и совсем забросил математику. Вынужден был Михаил Иванович в один из зимних вечеров навестить родителей. Ты тут же сбежал из дома, стыдно было перед отцом и учителем. Они закрылись в отцовском кабинете и беседовали около двух часов. Твое упорство было расценено учителем как отсутствие способностей. Сколько наша мама приложила усилий, педагогического мастерства, чтобы заверить тебя, что это не придирки, а его стремление дать основательные знания по своему предмету. Пришлось согласиться и пойти к репетитору — отцову дяде Антону. Жил он недалеко. Еще в дореволюционное время сдал экстерном экзамены за весь курс в Петербургском университете. Он же подготовил в учительскую семинарию своего младшего брата Язепа, которого первый раз при поступлении «завалили». Правда, провал явился результатом постоянного использования родного языка. Потом дядя Антон говорил: «Побольше бы мне таких «неспособных» учеников, как ты». Обо мне он так не говорил. Мне тоже довелось ходить к нему, когда я переходил из четвертого в шестой класс. С математикой была заминка.

А у тебя в школе положение улучшилось. И когда однажды отличница не смогла у доски решить очередную задачу, Михаил Иванович ехидно спросил: «А может, Мицкевич нам поможет?» Такие задачи ты уже решал с дядей Антоном, поэтому быстро с ней расправился и с вызовом отметил: «Я могу решить задачу и другим способом!» Но другой не понадобился.

Тем временем приближалось лето, и мы вновь направились в Тальку к Авсейчикам. Ты приобрел все необходимое для заряда патронов — гильзы, порох, дробь. А до охотничьего сезона пропадал на реке. У кого-то научился ловить нахлестом. На кузнечиков хорошо ловились ельцы и плотва. Иногда ты брал в свои походы и меня — на хутор Никиты к Злобичам, на Свислочь. Одно было тяжело — ходил ты очень быстро и постоянно меня подгонял. Однажды за Тербутами мы остановились отдохнуть на берегу рядом с новым руслом — Прорвой, как его называли. Несколько лет назад Свислочь спрямила русло, получился остров и старица, не успевшая зарасти еще травой. На старице напротив нас плавала большая череда гусей. Был теплый, безветренный, тихий день, мы сидели на

бережке и любовались окрестностями. Вдруг гуси забили крыльями, загоготали, а одна из птиц стала медленно затягиваться задом в воду, беспомощно хлопая крыльями. Мгновение — и только слабый отблеск белых перьев из-под воды, и все... Какая жуткая картина! Минута молчания, и ты безапелляционно отметил: «Сом!» Потом я несколько лет боялся купаться в Свислочи. Возвращаясь домой, мы переходили через Тальку по только что построенному мосту, и нужно же было мне шарахнуть ногой по доске! Большая заноза впилась в подошву. Ты ее чуть отковырнул, полилась кровь. Как ты меня ругал! Но взвалил восьмилетнего недотепу на плечи и поднес домой.

Тем временем приближался день открытия охоты. Ты уже сошелся со многими охотниками и с нетерпением ждал этого дня. Во дворе Авсейчика собралось много охотников, и под вечер вы двинулись в поход. Мне тоже хотелось с вами... но...

С Сутина ты притянул пять диких уток! И говорил, что из-под твоих ног сиганула щука метра два длиною!

А на той стороне Птичи стояла такая канонада! Будто приехал Ворошилов со своей свитой. В том году действительно состоялись грандиозные маневры. Через деревню Тальку почти целую ночь проходили войска, танки. Мы с восторгом наблюдали за ними. Говорили, что на учениях присутствовали иностранные офицеры, генералы.

Сколько было впечатлений!

Следующий год был для тебя сложным. Экзамены за десятый класс и экзамены в университет. Тебя влекла романтика, странствия в поисках спрятанных сокровищ. Вы поступали с Сашей Мурочем на геолого-географический факультет. Кто-то из ребят в диктанте сделал 54 ошибки. Когда у Саши спросили, где находится Донбасс, он ответил: «В Киеве!» Ты же гордился тем, что ответил на все вопросы, и даже где находится остров Формоза, отметив, что знаешь его второе название — Тайвань! Стены в коридорах и комнатах были увешаны картами, поэтому в географии ты ориентировался хорошо. У деревенских ребят такой возможности не было, но они были более наблюдательными, глубже воспринимали окружающий мир, внимательнее прислушивались к голосам природы. Саша умел так подделывать голос под собачий вой, под лягушачье кваканье, что даже завидно становилось. Мне так хотелось всему этому научиться! Ты же умел приманить утку.

В своих грибных путешествиях отец нашел отличные места. Они начинались от маленькой деревеньки с выразительным названием Загибелька. Место тихое, благоприятное для отдыха, и на следующее лето мы расположились там. А в деревеньке сняли дома дядя Игнат и Петрусь Бровка со своей дивной Лелей, сестрой твоего друга Игоря Ридевского.

Лето было на редкость грибное.

Сколько боровиков находили мы там! Да каких красивых, и когда попадалось такое «конское копыто», отец звал, чтобы мы посмотрели на лесное чудо.

Наш хозяин держал гончего пса, по кличке Рудой, был он худой-прехудой. Нам довелось наблюдать, как он разорвал ежика и съел его мясо. А в лесу мы нашли кожу с колючками ежика, съеденного муравьями. Ты любил подсовывать ее нашему Лохмачу, а тот, уколов нос, громко лаял на это чучело. Однажды ты бросил Лохмача вместе с котом в мешок и завязал его. Как этот мешок скакал по дорожке! Как было смешно! Возле домика лесничего я поймал дрозда с перебитым крылом, и он долго жил у нас дома. Об этом даже отец написал стихотворение «Дронік».

В том году отец принял участие в международном антифашистском съезде писателей. Ему поручили выступить с докладом. Отец очень волновался, хотел как можно лучше подготовить его. Видно, помог Сергей Городецкий, а главное, успокоил его, сказав, что доклад хороший. Возможно, за это отец был очень благодарен ему и прощал всякие выходки и халтурный перевод «Новай зямлі».

Ты в Загибельке был недолго — экзамены, затем поездка к дяде Коле в Николаев, к троюродным братьям. Они, как и их отец, трудились на судостроитель-

ном заводе инструментальщиками и подарили тебе огромный штангенциркуль. Конечно, и Павел, и Шурка были отличными пловцами и хвастались своей рекой. «Таких, как южный Буг, в Беларуси нет! Его не перейти, не переплыть!» Разве можно было такое стерпеть? «Подумаешь! Мне его переплыть — что плюнуть!» И поплыл. Ни Даник, ни я, как бы нас ни подначивали, не кинулись бы в такую авантюру. Там ширина реки около двух километров. Конечно, братья за лодку — и за тобой. Но ты переплыл без их помощи.

На следующее лето, когда мы отдыхали в Подбережье на хуторе Андрея Асиевского, братья приезжали к нам. С ними я впервые переплыл Свислочь, не забывая про гуся. Быстрая, чистая вода, заваленное бревнами русло с богатой растительностью были благоприятными условиями для рыб. Таких больших рыбин и таких мощных ударов по воде я больше нигде не видел и не слышал. Ты там ловил донными удочками на веретениц. Меня же заставлял размазывать ил, который выкапывал совком. А какими неприятными мне казались те веретеницы! Ужеподобные, скользкие, верткие, а ты кричал, чтобы я их не выпускал. На них хорошо бралась разная рыба. Иногда мы вытаскивали из речки донки, а крючки оказывались сломанными. Ты уверенно говорил: «Мирон!» Встречались там и огромные голавли. Иной раз, сидя с удочкой, мы испуганно подскакивали от их мощных ударов по воде. И ты нашел способ, как поймать рыбину. Мне доводилось бросать хлебные корки, а ты держал их на мушке. И когда голавль хватал ее, ты стрелял. После удачного выстрела в одежде бросался в речку и доставал оглушенную рыбу.

Дно речки просматривалось в солнечную погоду до полутора метров глубины. Однажды ты увидел сома, как говорил, — фунтов на шесть. Я же ничего рассмотреть не мог, но на всякий случай поставил рогульку с двумя уклейками. На второй день я вытянул этого сома. Правда, он завесил три фунта. От дома Асиевского к реке было не более тридцати метров, питьевую воду брали из Свислочи. Колодца не было. Место, где брали воду, заросло травой, мы ее вырвали и сделали маленькую купальню. А возле нее стоял высоченный дуб с шапкой аиста на вершине. Дерево было дуплистое, и там поселились шершни. Однажды, перед грозой, когда подул ветер, ты удирал от дождя, перескочив через ограду, и в этот момент в руку ударил своим жалом шершень. Рука мгновенно опухла и страшно болела. Говорили, что укусы шести шершней могут оказаться смертельными для человека. В тот же день они покусали привязанного недалеко коня. Он порвал привязь и удрал. И вы с Даником решили выкурить этих поганцев. Привезли серы и вечером подожгли ее, но, видно, что-то сделали неаккуратно. Трухлявое дупло дуба загорелось, загудело, и ночью дерево бухнулось в реку. Аисты уже слетели, и все же отец очень переживал. Вскоре этому событию он посвятил стихотворение «Дуб».

Ты чувствовал себя немного виноватым, но шершни перестали угрожать нам. А дубов было много. Чуть ниже по реке и дальше от нее стояли еще два мощных дерева. За ними мы с отцом вечерами удили рыбу. На один из этих дубов мы с тобой вешали пачку от «Казбека» и практиковались в стрельбе из мелкокалиберной винтовки. В те дни приезжал Андрей Александрович и издевался надо мной, если я не попадал. Ну а ты был вне конкуренции, посылая пульку в пульку. Дубов этих давно нет. Я еще застал их останки и сфотографировал, а теперь нет и останков. Тяжело найти место, где стоял дом Асиевского.

Мы с тобой часто ходили вдоль берега речки, и однажды за ее первым поворотом ты нашел тихое место. Бросали кусочки картошки, а ты только охал, глядя, как быстро перекатывают их рыбы и съедают. Как я ни вглядывался — ничего не видел. Отец перешел на это место и хорошо прикормил. Когда к нам пришел Янка Купала, они с отцом обосновались под грушами, потихоньку осушили бутылку коньяка ОС, которую привез дядя Янка, а затем пошли вниз по реке, а жены подались в другую сторону на купальню. Янке Купале не везло, и он пошел

под дуб отдохнуть. А отец выудил голавля и язя, каждый весом около килограмма. Был отличный ужин.

К нам в гости часто приезжали военные из Пуховичского и Лапицкого городков. Изредка заходил дядя Игнат с Подбережья, там отдыхали многие артисты первого драматического театра. Однажды вечером они большой компанией зашли к отцу. На скамейках не хватало места, поэтому стояли вокруг стола. Мама подносила нехитрую закуску. Было много шуток, смеха. У всех было благодушное, доброжелательное настроение. Разошлись поздно вечером. А осенью в помещении театра БДТ-1 состоялся городской вечер по случаю 30-летней литературной деятельности отца. Много было ярких выступлений, искренних, сердечных, но больше всего запомнилось поздравление юбиляра хозяевами — артистами этого театра. На сцене возникла фигура обычного рыбака с удочкой. Если не ошибаюсь, это был любимый артист — Глебов. Усевшись на краю сцены, не спеша он забросил удочку в партер, приговаривая что-то вроде: «Ловись, рыбка, большая и маленькая». А под сценой молодая Ржецкая прицепила муляж леща. Как он трепетал в руках артиста! А между двумя половинками рыбины находился свиток бумаги с поздравлением, который и был озвучен артистом. Какие были интересные, неповторимые поздравления от коллективов разных учреждений. Очень обрадовало постановление правительства о награждении отца легковой машиной М-1! Но это было до тридцать седьмого года.

В Подбережье мне впервые пришлось присутствовать на свадьбе. Андрей Асиевский выдавал свою дочь за немолодого уже человека. Вы привезли патефон и после застолья крутили его вовсю. Гости танцевали. Тем временем ты (а может, кто-то другой?) поставил пластинку «Ой, під вішнэю, під черешнэю стояв старый з молодою, як із ягідкою». Люди начали улыбаться. Мама заметила вашу бестактность, пластинку быстро заменили. А лет через тридцать меня пригласили в Березянку: Леня Щербо женил своего сына Колю. Невестой была дочь той молодой — внучка Асиевского — Неля.

В своих охотничьих странствиях ты обратил внимание на живописный уголок Пуховитчины, находившийся в развилке речек Болочанки и Свислочи — урочище Устье. На высокой гряде стоял хутор из пяти домов, клином врезавшийся в поймы речек. Огромные дубы, роскошные цветочные луга с прогаринами, ивняками разместились вокруг молодых сосновых лесов. Не очень много таких живописных пойм речек, как здесь. Поэтому неслучайно это благолепие природы нашло отражение во многих произведениях отца. С фотографической точностью эти места описаны в стихотворении «Мой дом».

Между тем выбранная тобою геологическая специальность была ликвидирована, осталась на факультете только география. И ты отправился в Ленинград, в Ленинградский университет. Остановился у знакомых — Прозоровых. Они жили около проспекта Суворова в Калужском переулке. В Ленинград они перебрались на пару лет раньше. Каковы были твои успехи в учебе, нам было неизвестно. Или ты прогулял, влюбившись в Маргариту, или действительно, как ты говорил, курс был ориентирован на занятия по военной подготовке, но год был потерян. Пришлось возвращаться назад, в свою группу, и экстерном сдавать экзамены за второй курс, с чем ты успешно справился. Я случайно подслушал мамин разговор с кем-то из близких, будто ты ей сказал, что собираешься жениться. Конечно, такую красивую, умную и уравновешенную, как Мака, найти тяжело. Но что-то помешало. А мама мечтала, чтоб Даник взял Тусю, а ты — Маку.

Решив свои студенческие дела, на лето 1937 года ты приехал в Устье. Те часы остались в памяти как самые светлые, самые памятные. Здесь была целая группа моих сверстников, с которыми я подружился. Мы помогали взрослым на сенокосе, пасли свиней, а в свободное время бегали на Болочанку, ходили в лес. К нам приезжало много знакомых, свояков. Гостила наша троюродная сестра Нина. У нее сохранилась фотография — на крыльце дома Римашевского, в кото-

ром мы отдыхали летом 1937 года. Такую добродушную улыбку отца редко увидишь на других фотографиях. Наверно, этот снимок сделал ты.

До открытия сезона охоты ты пропадал на реке. Ловил нахлестом длиннющей леской в два волоса. Мне же приказал ловить кузнечиков и держать их наготове. Насадку часто сбивали уклейки, а когда какая-нибудь из них попадалась, ты ее с такой силой швырял в воду, что плавать она уже не могла. И как ни удивительно, после такого шума со дна поднимался язь и тихо глотал кузнечика. И тут же звучала твоя команда: «В воду, под жабры!» Рыбы было очень много, менее пятнадцати-двадцати ельцов и плотвичек мы не приносили, а иногда добывали и язя.

Ночевали мы с тобой или на сене, или в доме Володи Жука. Когда подходило время охоты, ты просил, чтобы я разбудил тебя пораньше, потому что у тебя крепкий сон. Я же, как и отец, — жаворонок, подниматься рано мне легко.

В это лето мама решила перевести меня из четвертого класса в шестой. По некоторым предметам занималась со мною она, а перед тобой стояла задача подготовить меня по географии. У тебя же не было ни желания, ни времени заниматься со мной. Поэтому ты схватил первое, что попалось тебе под руку, — огурец, и, как на глобусе, начертил параллели и меридианы и что-то еще объяснял. А дальше — бери учебник и читай. Что не понятно — спрашивай. Я подготовился неплохо, но один вопрос нашего доброго учителя Ильи Иововича поставил меня в тупик. Что такое климат? Дать общее определение — очень трудно. Пришлось выкручиваться. Но все же я все сдал, кроме математики — не проработали часть курса. Пришлось обратиться за помощью к тому же дяде Антону.

Чтоб заполнить свободное время, отец привозил из библиотеки Союза писателей разные книги, которые ты скорее глотал, чем читал. Я же на чтение тратил много времени, и иногда читал своим друзьям на пастбище.

В начале тридцать восьмого года пришла беда и в наш дом. В февральскую ночь к дому подъехал «черный ворон» за дядей Сашей. Тебя дома не было, я крепко спал. Конечно, обыск ничего не дал, да, видно, и не было задания найти что-нибудь крамольное. Вскоре пришел и ты, и, если бы мама не сдерживала тебя, ты мог бы броситься на этих энкаведешников. Дома было холодновато, отец поднялся с кровати в легкой одежке и попросил разрешения набросить пиджак. В ответ: «Мы вас сейчас накроем!» Дядю осудили на редкий по тем временам срок — всего пять лет заключения с высылкой на Урал.

Единственный мамин брат, который сумел получить высшее образование, — Казанский университет, как и многие другие образованные люди, был отправлен на лесоповал. Морозной зимой 41—42 года ему ампутировали отмороженную ногу. Но рабы-инвалиды были не нужны. Их не лечили. А в сорок втором заканчивался срок его заключения. Куда только отец не писал, не поручался за невиновность своего шурина, в ответ получал вежливые отписки. А много позже выяснилось: учителя Каменского арестовали, чтобы выбить показания против врага народа, национал-фашиста, как называли в НКВД писателей, — народного поэта Якуба Коласа.

В моей памяти навсегда остался крепкий-крепкий поцелуй дяди, которому разрешили проститься с любимым племянником...

Лето того года мы тоже проводили в Устье. Оно выдалось теплым, с частыми грибными дождями. Отец вставал затемно и отправлялся в свои обходы. Иногда брал с собой меня или маму. Мне же интересней было на речке с ребятами, с тобой. Недалеко стоял «маяк» — геодезическая вышка, под которой росли одни из самых пахучих цветов — гвоздики. Отец собирал их и приносил маме. Даник попробовал сделать из них духи, и что-то получилось. Ты же долго на одном месте не задерживался — то приезжал, то уезжал. Как-то под вечер ты вернулся в Устье, но не один — с Тусей и Макою. Они приехали в Минск погостить, а может, ты их пригласил. Ты каждый день водил их по окрестностям, где вы

фотографировались, и благодаря этому сохранились фотокарточки, которые я у них выцыганил.

В Устье отца навещали многие знакомые. С Пуховичского аэродрома не раз приезжал Борис Павлович Макарцов. Однажды он пообещал сбросить свежие газеты возле купальни на Болочанке. В условленное время вы туда пошли, и вскоре низко-низко над землей показался У-2. Все, кроме Даника, пригнулись, боясь, что самолет может зацепить колесами. И тут Макарцов сбросил газеты у воды на том берегу. Туся мгновенно, прямо в платье, кинулась в воду, чтоб газеты не намокли. Потом ее решительный «поступок» часто вспоминали. Тогда же приезжал со своим маленьким Марком Михась Лыньков, сопровождая таджикского поэта Лахути, который хотел встретиться с отцом. «Хитрый перс», как называл его Лыньков, действительно говорил по-восточному красноречиво.

Во время войны жена Лынькова с сыном не успели выбраться из Минска, прятались от немцев у знакомых. Марк был таким беленьким, что немцы ничего бы не заподозрили, если б он не бросился за матерью, когда немцы забирали ее в гетто. Обоих отвезли в Тростенец, в концлагерь. После войны была создана комиссия по расследованию зверств фашистов, в которую назначили и Лынькова. Отец, узнав об этом, был страшно возмущен. Как можно посылать человека туда, где лежат косточки его сына и жены? Что будет думать и как будет переживать муж и отец погибших?! Это же издевательство над человеком! И он все сделал, чтобы Лынькова отозвали из этой комиссии.

На охоту к тебе приезжал сотрудник университета, редкий знаток природы Анастасий Васильевич Вязович с артистом театра Алексеенко. На фотографии — улика против тебя как браконьера: на зайцев охота еще не была разрешена.

В Устье, как и в Подбережье, не обошлось без свадьбы. В этот раз друг Даника, Володя Петуховский, брал нашу Женю. Мама привезла к нам девушку после смерти ее матери, подруги и родни. Красивая девушка, но с характером, и вы считали ее не очень развитой. Даник ее недолюбливал и был против того, чтобы его лучший друг попал в руки этой девушки. Она же нравилась многим мужчинам, поклонники постоянно звонили ей. И ты мне однажды велел привязать черную нить к рычагу телефона и протянуть вдоль оконной рамы так, чтоб ее было трудно заметить. И как только она отвернется от аппарата во время своего бесконечного разговора, потянуть за нитку и отпустить. Я так и сделал. А ты из другой комнаты наблюдал за реакцией девушки, которая никак не могла понять, почему прервался разговор. А когда поняла — какой был скандал! Попало и мне. А ты от души хохотал. В другой раз, когда она уже была замужем, а вы толпой ходили в парк попить пива, сказали, что ходили на танцы. Ты с Виталием Филипповичем — главным выдумщиком в вашей компании, — начали обсуждать, кто с какой девушкой танцевал. Разговаривали вполголоса, но так, чтоб Женя слышала. И хвалили за хоро-



Друзья-охотники. Юрка (справа) с артистом БГТ-1 Борисом Алексеенко. 1938 г.

ший вкус ее молодого мужа, якобы нежно прижимавшегося к блондинке во время танца. Вскоре пришел Володя. И тут ревнивая жена, будто тигр, вцепилась в чуб своего мужа. Тот ничего не мог понять, пока вы не рассмеялись. Вы часто вспоминали свои розыгрыши, их было много.

На свадьбу в Устье привезли достаточно продуктов, но посчитали, что нелишним будет наловить рыбы. Топтуха была осажена под непосредственным руководством отца. Он, в свою очередь, учился у дяди Антона Альбуцкого, когда они готовились к ловле рыбы в две топтухи на затоках Нёмана. Вы с Сашей Мурочем хорошо натоптали мелочи, попал и язь около килограмма. Если б не фотография, забылась бы та веселая рыбная ловля, в которой помогала целая бригада гостей и детворы.

Застолье было что надо — со свежей жареной рыбой. Когда все встали из-за стола и начали собираться на танцы, неожиданно к отцу приехал Иосиф Львович Дорский по делам постановки пьесы в витебском театре. Дома у нас он был раньше, видел Женю и был немного неравнодушен к ней. И вдруг — на тебе! Вышла замуж! В душевном порыве Иосиф Львович объявил: «Хочу напиться на Жениной свадьбе!» Ну, хочешь, так пожалуйста! Быстро собрали закуску, водки хватало, а Даника хлебом не корми, только дай возможность кого-нибудь «накачать». Сам он мог за вечер выпить литровку, и голова назавтра не болела. И так наугощал гостя, что тот еле на ногах держался. Начались танцы. Дорский подхватил стройную, милую Лору Дятко и закружился в танце. Но длинная рука Виталия через окно отключила патефон. Завели снова. Отключение повторилось, да так, что никто не смог заметить почему. Закончилось тем, что у гостя закружилась голова, и он грохнулся на пол, едва не придушив бедную Лору своим более за центнер весом. Танцы закончились. Вечерело. Мужчины вышли на крыльцо, расселись по скамейкам. И получилось так, что ты оказался напротив Дорского. Ты сидел осоловевший, раскрасневшийся от выпитого. И вдруг Дорскому захотелось померяться с тобой силой. Он навалился на тебя. С натугой ты отпихнул его, а он снова стал наседать на тебя. Что делает водка даже с такими воспитанными и выдержанными людьми, как Иосиф Львович! Парням его поведение не понравилось, как-никак — ты свой и любимый. И когда ты оттолкнул его на скамейку, кто-то сзади потащил Дорского вниз по ступенькам крыльца. Чуть хребет ему не сломали. Потом ребята подхватили его за руки-ноги, отнесли в дровяной сарай и бросили на сено. Назавтра отец поднялся, как всегда, рано утром и заглянул туда. Видит, лежит Иосиф Львович на спине, справа сучечка хвостиком виляет, а слева — пятно рвотное. Очухался Дорский и все спрашивал: что такое — все тело в синяках и болит? Но все обошлось.

Начало 1939 года шло под лозунгом ликвидации хуторов, строительства новой социалистической деревни. Под эту дурную кампанию попал и чудный Устянский хутор. Свои дома крестьяне перевозили в Болочанку, за два километра, где вынуждены были начинать хозяйство на пустой почве. Пропали сады, пропали хорошо унавоженные огороды, далеко оказались пашни и пожни. И нам довелось искать новое место для отдыха. Искали недолго. Напротив Устья на высоком берегу за Свислочью беспорядочно раскинулись дома Березянки, деревни на девятнадцать дворов. В последнем от Затитовой Слободы домике лесника Лени Щербо сняли комнату. На чердаке небольшого дровяного сарая находились запасы сена. Лучшего места для ночлега и отдыха и не придумать. Строение находилось в молодом сосновом лесу. Залезать на сено, как и у Асиевского, нужно было по лестнице. За домом лесника стоял давно заброшенный домик с почерневшими от времени бревнами, наполовину раскиданный. Рассказывали, что когда-то там жил бобыль, рыбак. На лето он переселялся к речке, а на зиму возвращался. Но однажды отправился на свой промысел и исчез, не оставив никаких следов.

В начале 1940-го отец писал Городецкому, что задумал написать большое стихотворение о трудной судьбе женщины в Западной Белоруссии. Произведение

получилось объемным. Позже отец решил назвать его «На крэсах усходніх». Но своих героев, Данилу и Марину, автор поселил в покинутом домике рыбака. Не с Березянки ли, не от того ли домика родилось название поэмы «Рыбакова хата»?

Домик стоял возле Железянки — канавы, выкопанной из-под самой Блужи. Она несла чистую и очень теплую воду в Свислочь. Лето выдалось на редкость сухим и теплым. Купаться ходили по нескольку раз в день. Какая в этих местах живописная Свислочь! Какие чудные пляжи с беленьким песочком, сотни, тысячу раз омытые чистыми водами. Крепкие дубы, лозняки с ольхами, как одно целое нависали над рекой. А какая душистая суходольная трава окружала эти берега! Вдоль Свислочи раскинулись прогарины — давние русла Свислочи с карасями и утками. С другой стороны напротив дома Щербо расположились сосняки, но далеко не такие грибные, как устянские.

В тихую погоду утром и вечером доносился перестук колес из-под Блужи, дивной музыкой проникая в душу. А перед Березянкой раскинулись болотца с низкорослым чахлым сосняком с багульником. Дальше — Козлов рог с ягодниками и густыми кустарниками. Весной там шумит-гудит от тетеревиных токований.

В тот год колхозники решили осушить одно болотце и устроить там огород. Своими мозолистыми руками прокопали от того болота канаву, спустив болотные воды. Народ там был трудолюбивый, искренний, любил трудиться, умел и веселиться. На празднование всей деревней дожинок пригласили родителей. Этим людям, Березянке, в «Рыбаковай хаце» отведен целый раздел.

В том году ты поздно приехал в Березянку. Многих учителей призвали в армию на финскую кампанию, а вас, студентов старших курсов, направили на «практику» на их места. Тебе достались Юрковичи, что километрах в двадцати за Логойском. Глухомань, добираться туда было непросто. Много интересного узнали от тебя о лесных просторах того края, о быте учителей и учеников. Месяцы практики пришлось компенсировать интенсивными занятиями перед сессией. Но к открытию охотничьего сезона ты не успел. Вы ходили с Леней Щербо и под Барок, и под Блужский Бор, где на прогарах попадались утки. Ты давал ему свое ружье, но он не успевал выстрелить, особенно по куропаткам. А их было много. За день поднимали по пять-шесть выводков. На болотцах попадались дупеля, коростели, цыплята. Дядя Игнат просил тебя, чтобы на устянских болотах ты не отстреливал его любимую дичь — дупелей, которых он искал со своим Вальдом. Твой же Жуль часто срывал стойку, ты его бил, и он стал убегать домой. Оба были молодые, горячие.

В Березянке отдыхал Петро Глебка со своей женой Ниной. Хутор, на котором они отдыхали прошлым летом, тоже снесли. Отдыхал там и заядлый рыбак Будкевич Александр Антонович, коллега Даника, преподаватель химии. Большую часть он проводил на реке, носясь как угорелый на челне от рогульки к рогульке. А их ежедневно ставил штук двадцать и каждый день имел три-четыре щуки. Здесь же остановился Федор Ходосовский, водитель отца, с семьей. Он отдыхал в доме Максима-рыбака. Однажды мы собрались сходить за ним, а по дороге нас остановила детвора — просили помочь. Во дворе голосил мальчик лет шести. Лукашику, так его звали, родители доверили ключ от дома. А он крутил, крутил его за веревочку вокруг пальца, пока ключ не соскользнул и, надо же — попал в колодец! Конечно, можно было бы обдумать, как проще его достать. Но от отчаяния малого у тебя не было времени думать. Быстро разделся — и шасть в колодец! У меня перехватило дыхание — как ты оттуда выберешься? Воды было выше пояса, да еще такой холодной! Пальцами ноги ты на ощупь нашел ключ и поднял его за веревочку. Выбрался оттуда с легкостью, удивившей нас всех. Лукашику удалось избежать участи односельчан, сожженных немцами. Потом он обосновался в Подбережье, я ему напомнил давний случай и сфотографировал его с его ребеночком. А через несколько лет стало известно, что он запил и повесился в подбережском лесу.

Ближе к осени ты приехал к нам со своим комсоргом, живым и разбитным Мишей Шмушковичем. Приятный, красивый, хорошо информированный город-

ской парень о природе знал мало. А здесь начался разговор о разных случаях на лесных просторах. Я вспомнил, как два года назад в Устье за лето волки загрызли трех колхозных коней. Страшные раны были видны на горле, за одну ночь выедали половину задней части... Ну, а Леня как лесник постоянно натыкался на волчьи следы и на волков. Воспоминания затянулись дотемна, пора и на сено. Смотрю, Миша мнется, мнется, а потом просит меня проводить. А что, если выскочит волк? Страшно одному!

На следующий день мы пошли на речку купаться. Ты захватил крупную воблу и бутылку от четвертушки — водку вы выпили. Посидев около часа на пляже, пошли вверх по реке. Там стояли «пауки» Будкевича. Ты снова разделся и полез в воду, сбросил живца, прицепил на крючок сушеную воблу, а чтобы она не всплыла — на веревочку привязал ту бутылку с водичкой. Хорошо запутал рыбину в траве, и мы пошли дальше. Вскоре увидели челн с Сашей. Присели на берегу и вполголоса обсуждали, клюнет ли рыбачок на нашу наживку. Будкевич увидел нас издалека, поздоровался и заметил, что один из шнуров размотан. «Парни! — позвал. — Пойдем щуку вытаскивать!» Давясь от смеха, мы пошли за его челном. Подплыл он, глянул и сам у себя спрашивает: «А почему он, холера, пошел по течению?» И начал потихоньку тянуть, присматриваться. Вдруг — что-то красное, как карп, и не трепещется! Подтянул ближе и догадался, в чем дело. Снял с крючка — и как швырнет в нашу сторону. И надо же, чтоб попало Мишке в то самое место! Застонал, заохал бедолага, а мы со смеху умираем. Потянул Саша дальше — бутылка! Понюхал — а вдруг оставили? Нет, всю вылакали, паразиты! И бросил бутылку в Свислочь, приговаривая: «Пусть плывет к Мурочу!»

Как потом стало известно, Мишу Шмушковича убили немцы. После разоружения твоих коллег, выпускников университета, немцам некогда было возиться с пленными. Ты сам рассказывал, что вас вывезли на летние позиции километров за пятьдесят от артиллерийской базы. Снарядов — только-только, что в конном ящике артиллерии. Пока не подошла жандармерия, безоружные солдаты отправились в родные дома. Кто пошел в партизаны, кто спрятался в городе. А кушать надо было. И Миша пошел на рынок торговать сигаретами, попал в облаву, его ранили, избили и вынудили показать, где он прятался. Убили и тех ребят, у которых он прятался, и его застрелили на улице.

Сороковой год был для вас нелегким, подошло время госэкзаменов. С начала весны вы втроем с Сашей Мурочем и Василием Гулевичем, полесским парнем, зубрили свои дисциплины. Тогда же и сфотографировались возле нашего дома. Несколько фотографий мне передал Саша. Экзамены сдали успешно, а потом — заключительная экспедиция — экскурсия по Военно-Грузинской дороге. Много было впечатлений, много воспоминаний. Вспоминали, как грузин недоливал пива, а на просьбу долить бросал: «Хватыт тэбе». Ну, ты взял кружку и вместо 20 копеек отдал 15. Тот потребовал доплаты, а ты ему: «Хватит тебе!» Грузин зло посмотрел, но ничего не сказал.

Вспоминая какой-то случай на Кавказе, вы с Сашкой долго и тихо разговаривали. Мне показалось, что о какой-то истории, в которой замешана девушка. И, когда Саша пошел домой, я решил пошутить: «А я кое-что знаю о том, что случилось с вами на Кавказе!» Ты взглянул на меня волком, но промолчал, а я, обнаглев, продолжил: «Да я почти все знаю!» Как ты рассердился! «Морду набью!» Пришлось убегать, а что было на самом деле, я не знал и не знаю. Но ты же любил шутить над другими, почему так остро воспринимал камешки в свой огород?

В последний год, когда мы были с тобою вместе, ты разрешил мне брать твое ружье и охотиться. Ты мне строго наказал быть внимательным, не стрелять понизу, если нет обозрения, и т. д. Ложе ружья оказалось длинноватым для моих рук, но стрелять можно было. Иногда ты брал меня на прогорины бросать коряги, чтобы выгнать утку. Но мы ничего не подстрелили. Ходил я с ружьем и когда приезжал Вязович. С ним было так интересно! Он находил множество следов

живых существ, на которые я никогда бы не обратил внимания. По потерянному перышку он определял, кому оно принадлежит и кто накопал ямок на окраине леса. Мне казалось, что интереснейшей профессии, чем природовед, нет.

Вязович не успел выбраться из Минска. При отступлении немцы его расстреляли. Люди рассказывали — за то, что ругал немцев прилюдно. Кто-то донес. Его сын Юра пошел по отцовскому пути, стал известным природоведом. Если бы не война, наверно, и я пошел бы на биофак, несмотря на то, что тех студентов называли «биолупнями». Иногда, уже после института, отец говорил мне: «Брось металлы, иди учись на агронома, ты же любишь природу». Но было поздно.

К отцу и к тебе приезжало немало знакомых и друзей. Гостила соседка по Войсковому переулку Тася Шепелевич, милая, красивая девушка. У ее отца, охотника, ты бывал. Но ни ты, ни Даник не обратили на нее внимания, и мне довелось показывать ей окрестности. Ее младшая сестра, Юля, моя ровесница, во время войны была партизанкой, связной, носила медикаменты партизанам. Попала в руки к немцам, те поиздевались и повесили бедную девушку. А ее отца после войны осудили на 10 лет заключения за то, что вынужден был поблагодарить немцев за открытие столовой...

В те дни, когда гостила Тася, ты меня заставил учиться ездить на велосипеде, изготовленном на пензенском заводе. Его, так же, как ружье и тульский самовар, отец привез со съезда Советов. За последний год я вытянулся, и ноги уже доставали до педалей. Ты повел меня за Березянку на взгорок и напутствовал: «Катись вниз, а как велосипед начнет наклоняться, крути в ту сторону руль и нажимай на педали». Потренировавшись, я овладел этим видом транспорта. Желая продемонстрировать Тасе свое мастерство, я разогнался и хотел перед забором резко затормозить, но не смог, и врезался в забор. Велосипед выдержал, и я тоже. А Тася не выдержала и зашлась со смеху. Здесь я припомнил, как мы с тобой шли вдоль берега Болочанки. Ступая размашистым шагом, с удочкой в руке, ты не заметил в траве пенек и со всего размаху ударил в него большим пальцем ноги. Как ты завопил, запрыгал на одной ноге! А мне было так смешно, что я еле сдерживался. Вспомнился и такой случай. Мы с тобой сидели в доме Карлюкевича, где отдыхали летом сорокового. Ты курил сигарету и попросил принести кусочек колбаски. Кожицу я выбрасывал за окно, а там их ловили твой Жуль и чья-то овчарка. Я наблюдал за ними. И здесь ты выбросил непотушенный окурок. Жуль ухватил его, но какие гримасы он корчил! Мне было так смешно! И почему, думал потом, если кто-то попадает в неловкое положение, людей это смешит.

Случай с велосипедом послужил мне хорошим уроком — не рисковать, где не нужно. Но это не прыжок с моста. И еще два урока получил я тем летом. Однажды мы пришли с речки очень рано и бросили возле колодца замотанные донки просушиться. Но недосмотрели, что в одной из них сохранились останки веретеницы. Поросенок, услышав добычу, ухватил ее вместе с крючком. Ты мигом наступил на шнур и подсек за язык бедолагу. Хорошо, что тот не успел проглотить. Пришлось тебе выдирать крючок. Визгу было на всю деревню, но поросенок выжил, ранка зажила. А все от нашего «авось», непредусмотрительности и необдуманности поведения. Второй урок я получил настолько неожиданно, что его стоит вспомнить. Я приметил, что напротив Крючка, где Болочанка впадает в Свислочь, вечерами на мелководье плескалась рыба. И там бросил донку с веретеницей. На следующее утро, когда я пришел в эти места, увидел, что мой шнур затянут под самый берег. Потянул — сом! Не такой большой, чтобы поднимать шум, но более килограмма. Я его принес домой и бросил в корыто с водой для поросят. Рыба отошла и стала плавать. Интересно было наблюдать, как он плавает, а когда немного сдавишь пальцами его за спину, он так ловко выскальзывает, тем более, что спина у него клином. Я стал дурить, гонять его по корыту и, видно, донял. Он развернулся, выскочил из воды и меня за палец — хвать! Страшно испугался я от неожиданности, а палец недели три не заживал: так хва-

тил зубами сом. Потом я эту историю рассказывал Янке Мавру, а тот как засмеется! Я подумал: опять издевается над бедой человека. А он вспомнил историю из своего детства. Когда был маленьким мальчиком, поймал здоровенную зеленую жабу и начал с ней играть. Та отскочит, а он палкой ее назад возвращает, она в другую сторону, он ее опять назад тащит. И так долго дразнил жабу. И неожиданно она как прыгнет на него и как квакнет! И мальчик онемел! Не выдержала издевательств и бросилась на своего мучителя. Если уж рыбы и жабы защищаются от издевательств, то что говорить о людях? Обвяжет себя человек гранатами или толом и подорвется вместе со своими палачами.

Второго сома мы поймали вместе с тобой. Летом я насмотрел место, чтобы поудить недалеко от дома Карлюкевича. Обломал ветки ольхи, приспособил, но рыба не шла! Немного дальше отец что-нибудь да поймает, а я — ничего! Как-то днем ты проезжал на лодке и заметил под этим берегом хвост сома «фунтов на шесть», а сама рыба спряталась в пещере. Топтухи не было, но у Феди Ходосовского лежала небольшая неосаженная сетка. Ты — к нему. Быстро привязали два кола, получилось что-то похожее на рыболовную сеть. Ты управлял с лодки, а мы с Федором полезли в речку, тихонько подошли, подвели сетку к берегу. Хвост действительно вихлялся, и ты веслом пырнул рыбину. И тут же Федя закричал: «Держи! Держи!» Сом стукнул его в бок. Мы быстро соединили палки сетки, подняли ее и увидели здоровенную дырку. Удрал, гад! Обратились к рыбаку Максиму. Три раза подъезжали рыбаки с волоком, но сом был напуган и каждый раз успевал нырнуть в глубину. Тогда рыбаки заплыли далеко вверх и по течению тихонько подобрались к тому месту. Сом попался. Весил он четырнадцать фунтов!

Перед уходом на службу в армию ты поручил мне отвести твоего Жуля в Тальку к Хамету. А это более двенадцати километров, прямой дороги не было. Мама меня одного не отпускала, выручил Саша Будкевич. После завтрака отправились с ним через Свислочь, Болочанку в Блужский Бор, обходя деревеньки. За разговорами и шутками через три часа добрались до Тальки, оставили Жуля у Хамета. Назад шли другим путем. Сколько прекрасных, живописных уголков попадалось нам! Чистейший, незахламленный бор, прозрачные перелески, зовущие к себе поляны с одинокими, неповторимо красивыми соснами. Какая красивая наша земля!

Саша прошел всю войну, вернулся таким же жизнерадостным человеком. Но, как результат военных лет, — начал выпивать. Привез из Германии ружье, ездил на охоту. Однажды зимой поехал и... не вернулся. Его нашли убитым недалеко от железной дороги за Ждановичами, возле Гонолеса, рядом лежала пустая бутылка от водки. Убийцей оказался лесник, к которому Саша приезжал. Позарился на ружье.

Березянку, куда мы собирались поехать в первые дни войны, немцы сожгли. Живыми сгорели сорок три жителя. Их закрыли в сарае и подо-



За несколько дней до начала войны на соревнованиях по стрельбе. Юрка — справа.

жгли. Зося Щербо с детьми и еще несколько человек выкарабкались через небольшое окошко. Полицай стрелял, но, наверно, вверх, потому что никого не убил. Спасшиеся в отчаянии хотели броситься в Свислочь. Но кого-то встретили по дороге и немного успокоились. Позже отстроили девять домов, и я там десять лет подряд отдыхал летом со своими детьми.

Мы не дождались тебя, дорогой брат! Как переживала мама! Как ей хотелось понянчить внуков! Но не дождалась ни тебя, ни внуков. В День Победы 9 мая сорок пятого, во время всеобщей радости, у нее наступил кризис в болезни, и 21-го ее не стало...

До нас доходили слухи, что у твоей симпатии Веры Шептицкой в партизанах родился ребенок. Даниил встречался с ней, расспрашивал, она сказала, что вышла замуж за партизана и это его сын. Она жила в Гомеле, мне очень хотелось встретиться с ней, может, у нее сохранились какие-нибудь фотографии. Но встретиться не довелось. В адресном бюро никаких сведений о ней не было.

Березянка с годами угасала: кто умер, а кто перебрался в другие места. Деревенька опустела, и только заросли слив и сирени напоминают о былом.

Исчезнувших деревень в Беларуси множество. Одной из них — Белыни — название которой связано с белыми березами, наш поэт Михась Башлаков посвятил чудные строчки:

Лясная вёсачка Бялыні
Сплыла ў нябыт, як дзіўны сон,
І толькі гай самотна стыне
Світальным рэхам даўніх дзён.

Бялыні — белыя бярозы...
Плыў раніцай ружовы дым
Над ім звычайным простым лесам,
Над іх жыццём амаль святым...

Касілі травы, песні пелі.
Дымы над вёсачкай плылі.
Нічога лішняга не мелі —
Усе навокал так жылі.

Жылі, бы выцíралі слёзы...
Пайшлі ўсёй вёскай на пагост...
Адно, што толькі засталося, —
Святло самотнае бяроз.

Исчезла с лица земли и Загибелька, не осталось и следа от домика лесника Броновицкого. Прокопали речушку Тальку, теперь вода журчит по узкой канавке, вдоль нее стоят некошеные травы, тальковскую Яму занесло песком. Сутинские болота осушены, там шумят овсы, растет капуста. Почти каждую весну один или с сыном добираюсь электричкой до Блужи, а там — пешком до урочища, где была Березянка, оставшаяся в памяти как светлое и дорогое место, связанное с близкими, родными, с тобой.

Путь же это письмо к тебе ляжет в венок памяти о самом близком и дорогом человеке, солдате, отдавшем свою молодую жизнь за нас, за нашу родную землю в той страшной войне.

Михась, 2005.

Перевод с белорусского Татьяны Дерех.



АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ

След в науке, след в судьбах и памяти

(К 100-летию А. В. Лыкова)

В Минске, на тихой улице Бровки, у входа в Институт тепло- и массообмена НАН Беларуси установлена мраморная доска с портретом-барельефом Алексея Васильевича Лыкова. Кто же он, этот ученый, именем которого назван крупнейший в Беларуси научно-исследовательский институт, широко известный не только в нашей стране, но и среди зарубежных специалистов.

— Институт, руководимый Алексеем Васильевичем Лыковым, по праву занимает положение мирового центра в этой области науки. Богатство идей и методов, большое количество способных ученых, энтузиастов своего дела, — характерные черты института, — говорил, выступая на очередной всесоюзной конференции в Минске, вице-президент Академии наук СССР академик М. Д. Миллионщиков.

В этом непреходящем научном авторитете Института весьма значительна роль его создателя и первого директора Алексея Васильевича Лыкова.

С давних времен в народе говорят: «Хочешь, чтобы люди год вспоминали добром твое имя, — посей хлеб. Сажай деревья, и люди будут благодарны десятилетия. Напиши хорошую книгу, и люди запомнят тебя на века».

В течение всей не слишком продолжительной жизни А. В. Лыков щедро сеял зерна новых идей, заботливо взращивал многочисленные ростки талантов, по-отечески опекал побеги новых направлений в науке, написал сотни статей и более двадцати монографий, переведенных и ставших насущно необходимыми специалистам всего мира.

Алексей Васильевич относился к тем немногим людям, которые за свою жизнь успевают сделать столько, что с удивлением, восхищением и невольной завистью думаешь: природа была к ним благосклонна и наделила способностями одного за десятерых. Новые научные направления, монографии, изобретения, доклады, тысячи научных консультаций, многочисленные ученики, ставшие под его руководством кандидатами и докторами наук, два основанных им научных журнала и два международных центра по тепло- и массообмену, лаборатории и новые кафедры, открытые в разное время по его инициативе и под его руководством в вузах Москвы и Минска, наконец, крупнейший институт, из которого уже в первое десятилетие выделились в самостоятельные учреждения три научно-исследовательских института — ядерной энергетики, комплексного использования водных ресурсов и филиал Энергетического института АН СССР имени Г. М. Кржижановского. Добавьте к этому руководство строительством первого в Беларуси исследовательского ядерного реактора, создание при академическом институте первого в республике и одного из первых в Союзе специального конструкторского бюро с опытным производством, организацию при институте Международного центра академий наук социалистических стран по тепло-массообмену, активную деятельность на посту председателя проблемного Научного совета при Госкомитете по науке и технике Совета Министров СССР и члена Научного совета по проблемам теплофизики при Академии наук СССР, уча-



Академик А. В. Лыков

стие во многих зарубежных форумах и проведение всесоюзных конференций в Минске, циклы лекций, прочитанных в научных центрах Франции, Англии, Италии. А ведь была еще большая общественная работа депутата Верховного Совета республики и кандидата в члены ЦК КПБ.

Не правда ли, трудно поверить, что все это по силам одному человеку, не отличавшемуся, к тому же, богатырским здоровьем.

Выходец из России, из Костромы, сын инженера-теплотехника и учительницы, ученик П. П. Лазарева и А. К. Тимирязева, А. Б. Млодзиевского и И. В. Лузина, А. С. Предводителева и И. Е. Тамма, Алексей Лыков уже первыми публикациями заявил западному научному миру о том, что в Стране Советов появился серьезный и талантливый исследователь в области теплофизики; к двадцати пяти он прославился новой теорией сушки капиллярно-пористых тел.

В те годы вице-президент Химического общества США профессор Т. К. Шервуд в своем письме на имя директора Всесоюзного теплотехнического института имени Ф. Э. Дзержинского, где работал молодой ученый, пишет о «блестящих работах мистера Лыкова и поздравляет институт с большим научным достижением».

На секции Лондонского королевского общества доложена и опубликована в протоколах общества работа советского физика А. В. Лыкова о новом явлении — термической диффузии влаги. Обнаруженное Лыковым, оно позволило раскрыть механизм растрескивания влажных материалов и переноса вещества с водой в процессе сушки. В зарубежной литературе это новое явление известно как эффект Лыкова.

Каким же был он, Алексей Васильевич Лыков?

Лучше всего об ученом расскажут те, кто вместе с ним работал, кто хорошо знал его. Он оставил о себе хорошую память. О нем тепло отзываются его коллеги и друзья.

Доктор технических наук, профессор, академик НАН Беларуси О. Г. Мартыненко:

— Научный потенциал, научная эрудиция А. В. Лыкова были огромны. Когда обсуждали с ним научную проблему, он весь загорался. Алексей Васильевич обладал необычным аналитическим мышлением, трезвым подходом к решению конкретных вопросов, и эти природные задатки плюс постоянная работа над собой и обеспечили ему место одного из лидеров в области тепло- и массообмена.

С какой поистине фонтанирующей силой заявил о себе новый талант в начале творческого пути! За пять лет после дебюта в отечественной научной печати А. В. Лыков опубликовал тридцать статей в журналах СССР, США, Германии и Англии, в том числе в авторитетнейшем английском физическом журнале, в котором печатал свои работы известный физик Резерфорд. В этот же период

он блестяще защищает кандидатскую диссертацию, получает авторские свидетельства на изобретения, разрабатывает эффективный метод определения теплофизических характеристик влажных материалов, который широко применяется и в настоящее время. Еще будучи аспирантом Института физики при МГУ и работая в лаборатории Теплотехнического института, он становится консультантом в отраслевом научном институте, читает курсы лекций студентам, принимает участие в проектировании, освоении и наладке сушильных установок, приобретая ценный опыт инженера-производственника.

Напряженная работа отразилась на здоровье: туберкулез легких на девятнадцать месяцев укладывает его в постель. Но и в этот тяжелейший период молодой ученый продолжает работать, пишет две большие монографии. Сила духа и помощь врачей помогли остановить, а затем и одолеть болезнь. Еще не совсем оправившись от нее, Алексей Васильевич успешно защищает докторскую диссертацию. Накануне защиты ему исполнилось двадцать девять лет. Через полгода ему присваивают звание профессора.

Доктор технических наук, профессор В. Л. Васильев:

— Его научная активность не снижалась вплоть до последних дней. Несмотря на возраст и болезни, Алексей Васильевич всегда был полон идей. Идеи переполняли его, и он охотно делился ими со своими коллегами. Самую большую радость и удовлетворение он испытывал от работы.

Алексей Васильевич был теоретиком и прикладником. Четко чувствовал эксперимент. Он считал, что истина рождается в правильно поставленном эксперименте. Тяжело переживал, если из-за некачественно поставленного эксперимента результат не соответствовал ожидаемому.

Директор Института физики (г. Рига), академик АН Латвии Ю. А. Михайлов:

— В Лыкове как ученом прежде всего удивляло чувствование нового. Через какой-то малый срок услышанное или обнаруженное им самим или другими приобретало общее звучание и актуальность, увязывалось в логическую цепь научного поиска. Так было с впервые сформулированной им проблемой взаимосвязанных процессов тепло- и массопереноса, о которой потом один из основателей термодинамики необратимых процессов Де Грот сказал, что это был первый мостик в термодинамике между фундаментальными и инженерными знаниями. Так было с работами Лыкова о материалах с «памятью», о новых реологических средах, со многими другими его работами, которые вносили дух свежести, новизны в исследования ученых многих стран.

Поражает его работоспособность. Вот один из примеров. Надо было срочно сделать одну работу. Я приехал в Минск и присоединился к группе. В девять утра мы оговаривали идеи, сложившиеся у нас за ночь. После краткого резюме Алексей Васильевич предлагал нам четкую программу на день. Следующая встреча была в восемь вечера. Каждый, в том числе и Лыков, докладывал о выполненной работе. Мы только работали, а он должен был еще и управлять большим институтом. Несмотря на это, написанное им было емко по содержанию и ясно, аргументированно изложено.

«Мне кажется, время ученого не делится на рабочее и нерабочее, — мысль и чувства всегда сосредоточены на проблеме, которую он решает в этот период. Иногда такой период длится десятилетия», — говорил А. В. Лыков в интервью корреспонденту газеты «Советская Белоруссия».

Кандидат физико-математических наук В. Л. Колпащиков:

— Чрезвычайно много работал, фактически отпусков у него не было: сидел на даче и писал. Почти ежегодно рождалась новая монография. Причем, чет-

кость изложения, ясность необыкновенные. Трудоспособность невероятная, работал больше, чем любой из нас, молодых.

Безошибочная интуиция, ясность мышления, глубокое проникновение в суть явления — вот что отличало его и притягивало к нему. На простых моделях он мог глубоко выявить физику явления и на этой основе проследить затем ход процессов в иных условиях. Именно этим объясняется тот факт, что хотя исходными для многих его исследований были чисто технические или технологические вопросы, исследование оказывалось настолько фундаментальным, что его результаты представляли огромную научную ценность.

Начало тридцатых годов. Народному хозяйству страны Советов все в большем количестве нужен кирпич. Однако при освоении многих новых залежей глины известный способ обжига оказался непригодным: кирпич в сушильных печах трескался. Как избежать этого? Найти ответ поручено Всесоюзному теплотехническому институту, где работает Алексей Лыков. Именно он ставит опыт, который считается ныне классическим. Лыков нагревает глиняный шар, погруженный в масло, и обнаруживает новое, неизвестное ранее свойство пористых тел: часть влаги уходит по порам от поверхности вглубь шара. Чем мельче поры, тем сильнее выражено это свойство — влажность на поверхности уменьшается, а внутри растет. В результате происходит неравномерная усадка, что и вызывает появление трещин.

Выяснив физическую суть явления, Лыков предлагает новые режимы и новые технологические методы сушки, которые получили широкое применение не только в кирпичном производстве, но и при сушке кож, пороха, древесины, строительных конструкций, пищевых продуктов, при выпечке хлеба.

Доктор технических наук, профессор А. Г. Темкин (г. Рига):

— Непреходящи заслуги Алексея Васильевича в создании теории сушки. По сути, он дал первый образец построения математической модели технологического процесса, добавлю — большой важности, так как процессы сушки поглощают примерно шестую часть добываемого топлива и производимой энергии. Многочисленные технологические процессы в пищевой, кожевенной и деревообрабатывающей отраслях, в металлургии и при обработке нефти в основе математических моделей содержат систему уравнений сушки — систему Лыкова. Созданная им система уравнений теплового и диффузионного переноса энергии и вещества стала фундаментом, на котором развились также методы экономической оптимизации различных технологических процессов в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие науки в последующие десятилетия показало, что система А. В. Лыкова поддается дополнениям, но существо, идеологическое ее зерно, остается неизменным.

Вопросы сушки занимали его в течение всей жизни. Монография А. В. Лыкова «Теория сушки» была удостоена Государственной премии СССР. В ней изложена стройная теория, обобщившая широкий круг явлений на основе открытой Лыковым термической диффузии влаги в пористых телах.

Особый интерес представляли для Алексея Васильевича Лыкова теплофизические вопросы строительных конструкций. Он был организатором первой в Москве лаборатории строительной физики, на базе которой позже был создан крупнейший в стране Институт строительной физики. За большие заслуги в этой области Алексей Васильевич был избран действительным членом Академии строительства и архитектуры СССР. В том же, 1957 году, ему присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.

Высок был авторитет Лыкова у специалистов самых разных отраслей. Когда в Киеве при восстановлении древнейшего на Руси памятника зодчества — знаменитого Софийского собора, построенного в XI веке, реставраторы столкнулись с задачей, казавшейся почти неразрешимой, — как прогреть и просушить стены собора метровой толщины, как удалить из них воду, гибельно действующую на

фрески, — обратились за помощью к Алексею Васильевичу Лыкову. Ученый раскрыл секрет древних строителей, возводивших собор. Снаружи, возле толстых стен, они сооружали вторые, тонкие, в полтора кирпича. Таким образом, вокруг храма возводился своего рода тонкостенный чехол. В чехле этом внизу, у самой земли, и наверху, под куполом, делались отверстия. Ветер свободно гулял между стеной и чехлом, охлаждал стену, и влага сама перемещалась от теплой внутренней поверхности стены к более холодной наружной. При восстановлении собора отверстия по незнанию заложили. Лыков указал на ошибку и тем самым помог сохранить внутреннюю роспись Софии Киевской.

«Оглядываться в прошлое совершенно необходимо; это надо делать постоянно и не только вдохновляться и настраиваться примерами великих предков, но глубоко и тщательно изучать их творения и методику», — этот абзац в книге С. С. Юдина «Мысли о медицине» подчеркнут рукой Алексея Васильевича. Далее красным карандашом выделено: «Вместе с тем надо хорошо понять и твердо помнить, что все гениальные люди были смелыми новаторами и подлинными пионерами в своей специальности. Подобно им, надо уметь находить в себе силы стряхнуть путы, явно стесняющие прогресс…»

Доктор технических наук, профессор, академик НАН Беларуси О. Г. Мартыненко:

— В науке сравнительно немного именных формул. Несколько лет назад на международном семинаре в Дубровнике целый цикл работ был связан с решением уравнения Лыкова. Это уже сложившееся научное направление, получившее международное признание.

Вклад Лыкова в науку связан также с генерированием нескольких фундаментальных идей. Он первым разрешил «парадокс Фурье», внеся нужные коррективы в соответствующий математический аппарат. Дело в том, что закон распространения тепла, сформулированный французским ученым еще в XVIII веке, утверждал, что тепло распространяется бесконечно быстро. Ученые всего мира в течение двух столетий руководствовались законом Фурье как аксиомой. Коррективы Лыкова, сделанные им на основе обобщения термодинамики необратимых процессов, позволяют получать правильные результаты для процессов высокой интенсивности и высокой нестационарности, которые привлекают все большее внимание не только в науке, но и в технике. Такие сопряженные задачи тепло- и массопереноса весьма важны, в частности, для расчетов космических аппаратов.

Доктор технических наук, профессор А. Г. Темкин (г. Рига):

— Говорить или писать о всех работах такой многогранной личности, как Алексей Васильевич Лыков, — значит создать энциклопедию науки о тепло- и массообмене; такая задача мне одному не по силам. Выделю те его труды, которые определили мой жизненный путь, мои научные устремления и идеалы.

Появление книги Лыкова «Теплопроводность нестационарных процессов», где он впервые в мире изложил решение основных задач теплопроводности в операционной форме, породило многочисленные исследования у нас и за рубежом. Разработанный Лыковым метод открыл возможность установить новые закономерности температурного поля, упростить и уточнить методы расчета в металлургии, производстве пластмасс, пищевой промышленности. Дело в полной математической аналогии процессов распространения тепла и диффузии примесей в твердом теле. Как не вспомнить здесь емкое замечание Ленина, что «единство природы проявляется в единстве дифференциальных уравнений».

Немаловажно также, что труд самого Лыкова и выполненные под его редакцией переводы стимулировали применение математических, вообще расчетных методов, в биологии и медицине. Математический аппарат теории теплопроводности оказался пригодным для рассмотрения развития и пода-

вления инфекции в организме, диффузии раковых клеток, перестройки клеток головного мозга при диабетической коме и многих других явлений, весьма далеких от техники, но не менее актуальных для человечества.

В 1969 году за монографию «Теория теплопроводности» Алексей Васильевич Лыков был удостоен почетной награды Академии наук СССР — премии имени И. И. Ползунова. В решении о присуждении премии отмечалось, что книга А. В. Лыкова — «…единственный в Советском Союзе монографический труд по аналитической теории переноса тепла, обобщающий оригинальные исследования автора начиная с 1936 года. Монография, в которой глубокие теоретические изыскания сочетаются с решением практических задач инженерной теплотехники, является настольной книгой конструкторов и инженеров-исследователей, работающих в области энергетики, авиационного моторостроения и других отраслей промышленности. Переведена в целом ряде стран, в том числе в Англии и США».

Доктор физико-математических наук В. И. Крылович:

— В работе ученого крупные удачи, открытия не так часты. Но каждодневно случаются открытия малые: какой-то вывод интересный, или новая идея, неожиданный экспериментальный факт, или трудный вопрос нетривиально разрешился. Алексей Васильевич каждой находке — и не только собственной — радовался, как ребенок.

Никогда не стремился он в институте насаждать только свои идеи, что, в общем-то, бывает нередко. Лыков был подлинным ученым и всемерно поддерживал творческие идеи своих сотрудников. В частности, когда у меня возникла идея о термической акустике, то есть применении акустических методов для исследования нестационарных термических процессов, я написал ученому совету обоснование. Лыков, председатель совета, горячо поддержал. Была создана группа и предоставлены все условия для развертывания работ в новом направлении. И таких групп, созданных по инициативе сотрудников под родившиеся научные идеи, было в институте немало.

«В ряду черт, безусловно необходимых руководителю научного учреждения, — писал Алексей Васильевич, — важнейшей считаю умение видеть, ценить и поддерживать новые научные идеи и решения, от кого бы они ни исходили, — от маститых коллег или от молодежи, не всегда еще умеющей доказать свою правоту. Убежден, что при этом важен не только научный результат: поддержка молодого таланта — это стимул его дальнейшего расцвета».

Здесь уместно отметить, что при жизни Алексея Васильевича двадцать один его ученик стал доктором наук, сто двадцать три — защитили кандидатские диссертации.

Доктор технических наук, профессор, академик НАН Беларуси О. Г. Мартыненко:

— Лыков умел не только много работать над собой, он постоянно работал с учениками и коллегами. Тот внутренний огонь, который в нем был, зажигал всех, кто с ним общался. Там, где появлялся Алексей Васильевич, возникали интересные дискуссии, генерировались новые идеи, и мы, его многочисленные ученики в Минске, Москве, в других городах Союза, — всегда помним его беззаветное служение науке, которым он увлекал и зажигал, и которое мы стараемся сохранить в себе.

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки З. П. Шульман:

— Не всегда наши отношения с Алексеем Васильевичем были гладкими, спокойными. Длительное время между нами шел принципиальный научный спор. Лыков считал, что испарение увеличивает коэффициент теплоотдачи. Моя же концепция была прямо противоположной. Он поражался моей настойчивости

в отстаивании своей точки зрения. Однако аргументы Лыкова казались мне недостаточно убедительными. Казалось, в таком споре директору института ничего не стоило проявить свою власть. Но Алексей Васильевич никогда не пользовался властью для выяснения научной истины. В «Инженерно-физическом журнале» печатались как статьи Лыкова, так и мои. Многих удивляло, что в одном институте разрабатываются прямо противоположные концепции. Для меня правота отстаиваемых положений была важна вдвойне: моя докторская диссертация базировалась на моем понимании связи испарения и коэффициента теплоотдачи.

Однажды, когда я был в длительной командировке, на очередном научном совете Лыков сообщил, что упорство в защите своей точки зрения побудило его попытаться понять научную позицию Шульмана. Это привело его к неожиданному выводу: если испарение идет непосредственно с поверхности, то коэффициент теплоотдачи увеличивается, если же на поверхности есть хотя бы тончайшая пленка, например, масляная, картина меняется. В результате Алексей Васильевич Лыков разработал новую теорию, основы которой и доложил на совете, а когда я вернулся, то сообщил и мне. Так наш спор послужил толчком Лыкову для более пристального рассмотрения физической сути явлений и внес свежую струю в его теоретические разработки по тепло- и массообмену в капиллярно-пористых телах.

Доктор физико-математических наук, профессор Б. М. Берковский:

— Алексей Васильевич был необычайно доброжелателен. Его отношение к людям, общавшимся с ним по научным вопросам, было настолько дружелюбным, что человек всегда уходил от него окрыленным, так как в Алексее Васильевиче не было ни научного снобизма, ни малейшего намека на превосходство собственных знаний. Ученый уходил от Лыкова обогащенный советами и старался воплотить их в жизнь, вот почему так много крупиц научных идей А. В. Лыкова рассыпано в работах, диссертациях исследователей самых разных городов. К нему охотно обращались ученые Новосибирска, Томска, Иркутска. Осветив явление с неожиданной стороны, он удивительно умел заставить собеседника мыслить более рационально, остро.

Он поддерживал все стоящие, серьезные работы. И потому многие, даже не учившиеся у него в аспирантуре, считали себя его учениками, и это было действительно так.

Профессор Т. Ирвайн (Нью-Йоркский государственный университет, Стоуни-Брук):

— С профессором Лыковым и его супругой я познакомился в 1964 году, когда приехал в Минск по приглашению на Вторую всесоюзную конференцию по тепло- и массообмену. На меня произвело большое впечатление то дружелюбие, с которым отнеслись к нам профессор Лыков и его жена Нина Федоровна. Три года спустя профессор Лыков пригласил меня и мою жену в Минск, и мы встретили Рождество вместе с семьей Лыкова. И снова мы поразились теплоте, очарованию и дружелюбию, которыми встретили нас Лыковы. В итоге Минск стал для нас вторым родным городом. Вплоть до смерти Лыкова мы находились в постоянном контакте. В моей памяти профессор Лыков остался настоящим джентльменом, настоящим другом. И я всегда чувствовал и чувствую привязанность к семье Лыковых.

Академик АН БССР, лауреат Ленинской премии за создание первой в мире АЭС А. К. Красин:

— Алексей Васильевич взял на себя огромный труд по строительству в республике первого ядерного реактора, сформировал коллектив специалистов, в кото-

рый пригласил и меня. Хотя Алексей Васильевич сам не владел ядерной технологией, он, как всегда, взявшись за какое-то дело, глубоко вникал в суть вопросов, на ходу осваивал новое. Из бесед с ним я всегда выносил новые идеи.

«Отличая важное от шелухи, решить, насколько целесообразно заниматься одним в ущерб другому, вовремя подсказать молодому ученому, куда направить усилия, могут лишь ученые, обладающие большим опытом, — писал А. В. Лыков. — Мудрость и опыт приходят с возрастом, эти качества вырабатываются благодаря знанию связей между различными науками, широкому взгляду на жизнь, умению заметить в человеке любовь и талант к науке и нацелить его на главное».

Доктор технических наук, профессор Л. Л. Васильев:

— Алексей Васильевич давал аспиранту тему и давал возможность самостоятельно работать. Будучи его аспирантом, я беседовал с ним по теме работы всего пять-шесть раз. Но всегда я уходил от него с огромным запасом информации.

Кандидат физико-математических наук В. Л. Колпащиков:

— Он был на самом переднем рубеже науки, много общался со своими зарубежными коллегами, чутко улавливал и сам определял, формулировал новые направления, едва зарождающиеся, и настойчиво ориентировал на них своих учеников. Он генерировал идеи неистощимо и щедро делился ими.

Алексей Васильевич всегда излагал историю вопроса, чего, к сожалению, не делается сейчас даже в институтских курсах. Знание темы автоматически поднимает ученого на более высокий уровень. Нет, это не только ощущение фундамента. Ты видишь те тенденции, которые привели к сегодняшнему состоянию изученности проблемы, ты видишь основные направления развития. Ты поднимаешься вслед за теми, кто обнаружил известные сегодня закономерности, ты перепроверяешь условия, которые они накладывали при решении.

Обладая ясным физическим мышлением, он глубоко интерпретировал полученные результаты, а это самое сложное. Сейчас электронно-вычислительная машина может насчитать тебе столько, что нетрудно и заблудиться в этих цифрах. А вот увидеть за цифрами и формулами суть явления — это он делал великолепно. Когда же познавал сделанное, то четко намечал дальнейший путь.

Своей научной прозорливостью, самим характером мышления он помог вырасти многим ученым. Это была звезда, ярко мелькнувшая в науке, искры, отсветы которой — в многочисленных учениках Лыкова.

Всю свою жизнь Алексей Васильевич Лыков искал, находил и растил молодые таланты. Работая в Москве, он создал и возглавил новые кафедры в Технологическом институте пищевой промышленности, затем в Институте химического машиностроения. Возглавив Институт тепло- и массообмена в Минске, организовал кафедру теплофизики в Белорусском государственном университете.

Доктор физико-математических наук В. И. Крылович:

— Лекции его были необыкновенно интересны. Читал он увлеченно, я бы сказал, вдохновенно.

Казалось, при его эрудиции ему вообще не нужна никакая предварительная подготовка. И тем удивительнее, что он готовился к лекциям очень тщательно, заранее писал конспект, никогда не обращаясь к нему во время лекций.

Экзаменатор был мягкий: когда ему приходилось ставить в зачетку «тройку», он мучился, переживал несомненно больше, чем нерадивый студент.

Доктор технических наук, профессор Л. Л. Васильев:

— Оратор был великолепный, покорял аргументированностью выступлений. Будучи директором института, он время от времени читал лекции по конкрет-

ным темам, часто в довольно узком кругу, даже для нескольких сотрудников, у себя, в директорском кабинете. Делал это в надежде, что кто-то заинтересуется и подхватит высказанные идеи.

Обращаясь к юным исследователям, начинающим свой путь в науке, академик Академии наук БССР Алексей Васильевич Лыков писал: «Будьте последовательными и мужественными в отстаивании своих идей. Мужество — неотъемлемое качество ученого. Но если в ваших идеях есть ошибки, то признайте и исправьте их. Не упорствуйте в ошибках и заблуждениях. Отдельные ошибки и неудачи не опорочивают имя ученого. Вслед за Митчеллом Уилсоном я готов повторить, что все, включая Эйнштейна и Ньютона, ошибались так же часто, как и были правы. Никто не застрахован от ошибок. Значение работы ученого определяется не количеством допущенных ошибок, а важностью того, в чем он бывает прав».

Академик АН БССР, лауреат Ленинской премии А. К. Красин:

— Проблемы тепло- и массообмена связаны с многими фундаментальными теоретическими вопросами нашего представления о веществе. Для понимания огромности диапазона этой проблематики назову такие границы: с одной стороны, глубокий вакуум, верхние слои атмосферы, космос, с другой, плазмотрон, в котором при температуре в несколько тысяч градусов создается плотная среда, и в ней проходят химические процессы. Таким образом, проблемы тепло- и массопереноса охватывают и многие практические стороны нашей жизни. Поэтому в институте, руководимом Алексеем Васильевичем Лыковым, наряду с теоретическими работами на основе серьезного математического аппарата, ставилось большое количество экспериментальных работ. Для этого требовалась техническая база.

В начальный период деятельности Лыкова в Академии наук БССР создание технической базы было весьма сложной проблемой. Ведь Академия наук в республике складывалась на основе гуманитарных, биологических, химических наук, где станочный парк не играл определяющего значения. Для развития технических наук нужна была иная основа, и это хорошо понимал Алексей Васильевич. О сегодняшнем состоянии опытно-экспериментального производства при институтах в республике — немногие даже мечтали-то. Алексей Васильевич не только мечтал, но и сделал очень многое, первым предпринял реальные шаги по созданию такой экспериментальной базы. С разрешения Президиума АН БССР он объединил все мастерские, имевшиеся при академии, значительно обновил и расширил станочный парк; созданный таким образом при институте завод выполнял также технические заказы других институтов.

Несколько позже Алексей Васильевич Лыков первым в республике и одним из первых в Союзе выступил инициатором создания при институте специального конструкторского бюро с опытным производством.

Крупный исследователь и руководитель научного учреждения, Алексей Васильевич Лыков остро чувствовал ответственность ученых перед народом, постоянно заботился об эффективности научных исследований, неутомимо совершенствовал путь — от научной идеи до выпуска серийного изделия или освоения новой технологии. В мае 1970 года в газете «Известия» он делился своими мыслями о целесообразной организации научных и внедренческих работ.

«Доказав Ученому совету института перспективность своей идеи, ученый (или группа ученых) получает аванс для разработки задания на проектирование опытного образца. В сумму аванса включаются расходы на лабораторные испытания, на привлечение специалистов нужной квалификации. Из этой суммы оплачиваются услуги хозрасчетного конструкторского бюро и мастерских, помогающих в разработке задания на проектирование.

Далее за учеными остается научное руководство и сохраняется авторское право решать принципиальные вопросы; заботу о рабочем проектировании, изго-

товлении образца и его монтаже должны взять на себя специалисты, привлеченные и подготовленные на первом этапе.

Работа заканчивается не сдачей в эксплуатацию первого опытного образца, а созданием и внедрением малой серии, разработкой типового проекта и инженерной теории расчета аппарата. На какой-то стадии внедрения работы финансируются заинтересованным предприятием.

Такую схему можно реализовать уже сегодня. Около четверти всех затрат на науку поступает по промышленным договорам между предприятиями и институтами. В бюджетах институтов технического профиля эти ассигнования зачастую превышают пятьдесят процентов. И наиболее эффективно можно использовать эти средства, если возложить функции посредника между институтом и промышленностью на хозрасчетное специальное конструкторское бюро с опытным производством».

К этому времени такое СКБ с ОП уже было создано при Институте тепло- и массообмена, и накопленный опыт убедительно подтверждал правильность этих мыслей.

В одной из своих статей, опубликованной в «Советской Белоруссии», Алексей Васильевич подчеркивал: «Научные результаты фундаментальных исследований порождают множество прикладных идей, требующих опытно-промышленной проверки и внедрения. Между тем, нецелесообразно надолго отвлекать высококвалифицированные научные кадры для организации внедрения в ущерб дальнейшему творческому поиску. Вот почему институт без дополнительных государственных ассигнований создал самостоятельное хозрасчетное СКБ с ОП, общая численность сотрудников которого за год достигла пятисот человек. Это новшество освободило время ученых для фундаментальных исследований и в десятки раз ускорило внедрение разработок института. Сегодня трудно найти министерство, которое не являлось бы нашим заказчиком».

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки З. П. Шульман:

— В 1970 году в СКБ было уже около семисот сотрудников и двести человек — в опытном производстве. Причем, конструкторское бюро было не узкопрофильное, а многопрофильное. Это трудно. Откуда взять таких многопрофильных конструкторов? Учили сами. Вместе с ними конструировали. Зато сейчас достаточно подробно объяснить им идею, и все будет сделано в лучшем виде. Три прибора нашей лаборатории демонстрировались на ВДНХ СССР. А лаборатория реологии — лишь одна из многих, причем, не самая «прикладная». Если же говорить о начальном периоде, было трудно. Никто не знал системы взаимоотношений института с конструкторским бюро и опытным производством, все было впервые. Причем, ни рубля дополнительных дотаций по госбюджету Лыков не просил. Деньги были получены по хоздоговорам.

Беседуя с коллегами и учениками Алексея Васильевича Лыкова, слушая рассказы о многих его начинаниях, я снова и снова вижу перед собой неистощимо трудолюбивого садовника: без устали сажает он саженцы, холит их, ухаживает за ними. И если даже у хороших садовников бывают семена невсхожие или саженцы чахлые, недолговечные, то все «посеянное» Лыковым оказалось жизнестойким, выросло, окрепло. Сегодня об этом можно говорить с уверенностью, потому что жизнеспособность начинаний Лыкова проверена временем.

З. П. Шульман:

— С самого начала своей деятельности на посту директора Института тепло- и массообмена Алексей Васильевич говорил о важности изобретательской и патентно-лицензионной работы. В ту пору на весь институт получали одно-два авторских свидетельства. Ныне только одна наша лаборатория рео-

физики получает более двадцати авторских свидетельств в год, по всему же институту — около двухсот.

Тогда же, в начале пути, Лыков говорил, что институт в Минске должен стать координирующим все работы по тепло- и массообмену в Союзе, что и научный совет по проблеме тоже должен быть здесь. Многие в то время считали, что институт должен заниматься проблемами в рамках республики, как это и было до поры до времени. Однако история показала правоту идей и замыслов Лыкова.

Алексей Васильевич Лыков был избран действительным членом Академии наук БССР в конце пятьдесят шестого года, однако некоторое время оставался еще в Москве — не мог сразу оставить кафедру и лабораторию, подыскивал замену. Стал он директором Института энергетики АН БССР, который в сущности даже институтом назвать было нельзя: коллектив был малочисленный, занимался исключительно сушкой фрезерного торфа. Я пришел в институт к Лыкову, кажется, тридцать шестым по счету — таковы были штаты. В институте было два или три кандидата наук: после войны кандидатские защищали нечасто. Институт размещался в нескольких комнатках главного корпуса академии. Так что нельзя даже сказать, что Лыков создал институт «на основе» — основы как таковой не было.

Памятно мне профсоюзное собрание в июле пятьдесят седьмого, когда Алексей Васильевич, еще тогда беспартийный, предстал впервые перед сотрудниками. До того профсоюзного собрания многие из нас знали Лыкова лишь по его трудам, книгам. Я приехал в Минск из Сызрани, где работал инженером на турбозаводе, Лыкова знал по учебнику и статьям. И был буквально потрясен тем, что услышал от Лыкова на собрании. Он сказал, что институт не может далее заниматься столь частным вопросом, как сушка фрезерного торфа, что основным направлением научной работы станет проблема тепло- и массопереноса. Мы впервые услышали тогда о проблеме, которая затем стала основным занятием всей нашей жизни. Алексей Васильевич пояснил значимость проблемы, обрисовал масштабы, от которых буквально захватило дух. Он заявил, что уровень работы нужно изменить: в институте должно быть десять-пятнадцать докторов наук, возглавлять лаборатории должны доктора наук. Надо сказать, что в ту пору в институте не было ни одного доктора наук, да и во всей Академии наук докторов технических и физико-математических наук, сделавших диссертацию в Белоруссии, пожалуй, не было; защита докторской считалась редчайшим, исключительным, почти недостижимым событием.

Лыков далее сказал, что институт должен иметь свой всесоюзный печатный орган по проблеме. Это было беспрецедентно: в республике — всесоюзный журнал! Между тем, не прошло и нескольких месяцев, как в свет вышел первый номер «Инженерно-физического журнала». Было это в декабре того же 1957-го. Очень быстро журнал приобрел популярность не только в Союзе, но и за рубежом. Лыков сумел добиться, чтобы журнал переводили на другие языки. В то время это было почти неслыханно. «ИФЖ» был одним из тех научных изданий, которые первыми стали переводиться на основные языки. Так об институте и его работах узнали в Союзе и за рубежом.

На том профсоюзном собрании Лыков говорил, что институт должен стать по проблеме центром не только в Союзе; нужно с первых же дней брать прицел на такой уровень исследований, чтобы занять ведущее место в мире. Необходимы международные связи. Их можно установить с помощью международного печатного органа. Это было необычайно важно: как раз в ту пору страна, стараясь пробить воздвигнутый Западом «железный занавес», посылала за границу специалистов промышленности, сельского хозяйства. Нужны были и научные связи. В Москве поддержали инициативу Алексея Васильевича. Было принято постановление и о создании международного журнала по тепло- и массопереносу с советской редакцией в Минске. Предстояло пригласить в редакционную коллегию крупнейших зарубежных ученых, заручиться их согла-

сием, добиться прямых каналов связи, набрать штат переводчиков. В июне 1960-го появился первый номер журнала.

Два научных печатных органа такого уровня явились своеобразной мощной воронкой, через которую к нам в институт потекла новейшая информация по тепло- и массопереносу со всего мира. И, заметьте, бесплатно. Лыков заставлял всех сотрудников института рецензировать поступавший материал. С положительной рецензией, скажем, было легче, писать же отрицательную нужно мотивированно. Аргументы должны убедить Лыкова, не хочется краснеть перед ним. Сколько пришлось тогда просиживать в библиотеке, в сущности, учиться заново. И насколько же было это полезно, как расширяло кругозор, эрудицию!

Спустя четыре года после того памятного для меня профсоюзного собрания в Минске состоялась Первая всесоюзная конференция по тепло- и массообмену с приглашением большого количества зарубежных ученых. Такого, пожалуй, Минск еще не знал: на конференцию прибыло более ста крупнейших зарубежных ученых. Делегация из США насчитывала около тридцати человек. Доклады конференции были изданы в шести томах — это было тоже беспрецедентно! И какие это были доклады! Материалы всех последующих конференций печатались уже накануне конференции, причем, в десяти-четырнадцати томах.

Конечно, ко времени проведения первой конференции нам уже было что показать зарубежным коллегам. Лыков еще на том профсоюзном собрании заявил, что невозможно говорить о достаточно высоком уровне работ без аэродинамических труб. К первой конференции мы построили более десяти труб. Одна из них отлично трудится и по сию пору.

Уже в канун 1958 года мы получили маленький первый корпус. Там и отпраздновали Новогодье. Представляете, как мал еще был институт, если все сотрудники с женами поместились в одной комнате, за новогодним П-образным столом! В следующем году был построен второй корпус. Спустя два или три года появился третий, еще через пятилетку — четвертый корпус, где разместилось и конструкторское бюро, а в здании, примыкавшем к нему, — опытное производство.

Так становилось реальностью все, о чем мечтал Алексей Васильевич Лыков, переезжая из Москвы в Минск.

В архиве ученого, заботливо сохраняемом его женой и неизменной помощницей Ниной Федоровной Лыковой, есть многочисленные наброски, сделанные Алексеем Васильевичем к ежегодным докладам на институтских конференциях. Многие мысли не потеряли своей актуальности и годы спустя.

«Сегодня, чтобы успешно идти вперед в науке, надо отчетливо знать, что и как делают твои коллеги в других научных центрах. Хорошо поставленный обмен информацией особо важен для института, который является координационным центром в своей отрасли науки.

Научная и техническая обстановка сейчас быстро меняется. Надо вовремя разбираться в ней, выявить все новое и прогрессивное и найти смелость и мужество ликвидировать то, что уже стало ненужным, экономически нерентабельным, хотя, может быть, в это направление уже вложено много средств. Конечно, при решении этих вопросов нужна осторожность, наличие большого научного кругозора, мнение и решение коллектива творческих ученых и инженеров. Но такая работа должна проводиться».

«…Идти вперед в науке…» Именно этому должны способствовать, и действительно, способствуют научные журналы, основанные по инициативе Лыкова, регулярные конференции в Минске, собирающие авторитетнейших ученых и специалистов в этой области, поездки сотрудников ИТМО на международные форумы для непосредственного общения с учеными многих стран, длительные — на несколько месяцев — зарубежные командировки молодых белорусских ученых для стажировки в крупных научных центрах Великобритании, Франции, США, Германии, Японии, для освоения новой экспериментальной

техники и выполнения конкретных исследований, различные формы сотрудничества с Нью-Йоркским и Иллинойским университетами, с национальным центром научных исследований в Медоне и центром ядерных исследований в Гренобле, с университетами в Лионе и Гренобле, с лабораторией механики жидкости Парижского университета, с Императорским колледжем науки и технологии Лондонского университета, прямые связи со многими другими научно-исследовательскими учреждениями разных стран.

По приглашению научных центров Эдинбурга, Марселя, Праги, Будапешта, университетов Неаполя и Сорбонны Алексей Васильевич Лыков в разные годы читает курсы лекций по теории тепло- и массобмена. Эти кратковременные выезды он использует также для знакомства с деятельностью зарубежных институтов и лабораторий и для выяснения в личном общении многих научных вопросов.

Многолетние научные контакты связывали академика АН БССР с чехословацкими учеными И. Шнеллером, Л. Страхом, Я. Земанеком, М. Пихалом, Л. Крейш с одним из ведущих ученых Болгарии профессором М. Д. Михайловым, с директором Института термодинамики и теплопередачи университета Миннесоты профессором Э. Эккертом. При содействии Алексея Васильевича их монографии были изданы в СССР.

С годами институт приобретает все большую известность в мире. Многие ведущие теплофизики — американцы, англичане, голландцы — приезжают в Минск для знакомства на месте с работами профессора Лыкова и его школы, считают за честь выступить здесь с лекциями. Молодые ученые из Франции, США, Чехословакии, Индии едут сюда на стажировку, а возвратившись на родину, продолжают исследования, начатые в Белоруссии. Два с половиной года работал в лабораториях белорусского института доктор Кумар. Вернувшись в Индию, он организовал там первую лабораторию по тепло- и массообмену. Двадцать месяцев длилась стажировка ученого из Чили М. Плачко, в Минске он успешно защитил диссертацию и стал кандидатом физико-математических наук. Известный американский ученый профессор Дж. Андерсон, стажируясь в течение года в ИТМО, читал также лекции студентам БГУ.

Понимая всю важность для человечества топливных и энергетических проблем, А. В. Лыков в письмах президенту Национального центра научных исследований Ж. Кутюру, почетному профессору Французской национальной школы искусств и ремесел М. Верону, профессору Э. Брюну и другим ведущим ученым Европы и США излагает свои предложения по созданию Международной академии энергетики и Международной федерации по энергетике при ЮНЕСКО.

За выдающиеся заслуги в развитии науки о тепло- и массобмене французский Институт топлива и энергетики наградил академика из Белоруссии золотой медалью; он был избран почетным членом Общества механики Польской академии наук, награжден золотой медалью с почетной лентой Чехословакии. Выступая в Праге при вручении ему почетной награды, Алексей Васильевич говорил: «Мне, посвятившему всю жизнь развитию этой области знаний, радостно и приятно видеть, как успешно развивается в вашей стране эта наука, как мои чехословацкие коллеги и друзья развивают наши общие идеи, так что по ряду направлений мы занимаем передовые рубежи в современной теплофизической науке».

Обдумывая вопросы комплексной интеграции в рамках СЭВ и зная, что развитие народного хозяйства стран требует расширения работ по тепло- и массообмену, что эти страны испытывают недостаток в специалистах этой области, Алексей Васильевич Лыков пришел к мысли о необходимости создания при институте коллективного учебно-научного центра. Его инициатива была одобрена: в ноябре 1973 года представители академий наук Белоруссии, Болгарии, Венгрии, ГДР, Монголии, Польши и Чехословакии заключили соглашение о создании при ИТМО такого международного центра. А. В. Лыков возглавил научный совет Центра.

Два года спустя, берлинская газета «Нойе цайт» писала: «Минск выбран местонахождением Центра, так как здесь есть все условия для работы — совре-

менное техническое оборудование, богатый опыт исследовательской работы… Получивший международное признание, Институт тепло- и массообмена АН БССР обладает идеальными возможностями для подготовки квалифицированных исследователей».

Основной формой деятельности Центра стали трехмесячные весенние и осенние учебные семестры, на каждый их которых приезжают иностранные специалисты из стран — учредителей Центра. К семестрам приурочено проведение школ, конференций и семинаров по важнейшим проблемам тепло- и массообмена. Лекции и сообщения об итогах самых последних исследований, совместная работа в лабораториях, знакомство с методикой экспериментов советских теплофизиков, консультации. Обсуждение конкретных работ, выполненных молодыми учеными — участниками школ, — все это, несомненно, повышает квалификацию научных кадров из дружественных стран, укрепляет международное сотрудничество. Об этом как раз мечтал и заботился Алексей Васильевич Лыков, ученый-интернационалист.

— Академик Лыков был ученым-гуманистом, и это дало ему особую возможность вымостить путь для сотрудничества ученых разных стран, — сказал, выступая в 1981 году на конференции в Минске директор Энергетического центра, профессор Д. Хартнетт (Иллинойский государственный университет, США). — *Он был одним из основателей и редактором международного журнала по тепло- и массообмену, издаваемого ныне в Лондоне. По его инициативе был создан в Югославии Международный центр по тепло- и массообмену. Вместе с американскими учеными он предпринимал реальные шаги по изданию советско-американской двадцатитомной энциклопедии по тепло- и массообмену.*

В 1961 году академик Лыков пригласил зарубежных ученых на первую минскую конференцию и информировал о создании здесь, в столице Белоруссии, института, который теперь носит его имя. За двадцать лет институт в Минске приобрел подлинно международное признание; он не зря был назван именем этого ученого.

Профессора Лыкова всегда интересовала та польза, которую может принести наука развитию и укреплению связей между народами. Сегодня нам, его коллегам и друзьям, очень недостает этого человека и ученого.

Его имя увековечено в камне в двух столицах — Москве и Минске. На Ваганьковском кладбище над его могилой стоит памятник, выполненный белорусскими мастерами. В Минске сотрудников Научно-исследовательского института имени А. В. Лыкова, подходящих утром к зданию главного корпуса, будто встречает Алексей Васильевич, смотрящий с барельефа, установленного в память о талантливом ученом, крупном организаторе и руководителе.

Беларусь помнит и чтит заслуги сына России.

Помнят о нем и в мире. Международный комитет по тепло- и массообмену тайным голосованием решил вопрос о присуждении серебряной медали имени А. В. Лыкова автору наиболее выдающихся исследований в этой области. Впервые медаль имени А. В. Лыкова была вручена Эдмонду Брюну, академику Сорбонны, создателю французской школы теплофизиков. В 1979 году медали удостоен профессор Эрнст Эккерт, основатель крупнейшей американской теплофизической школы.

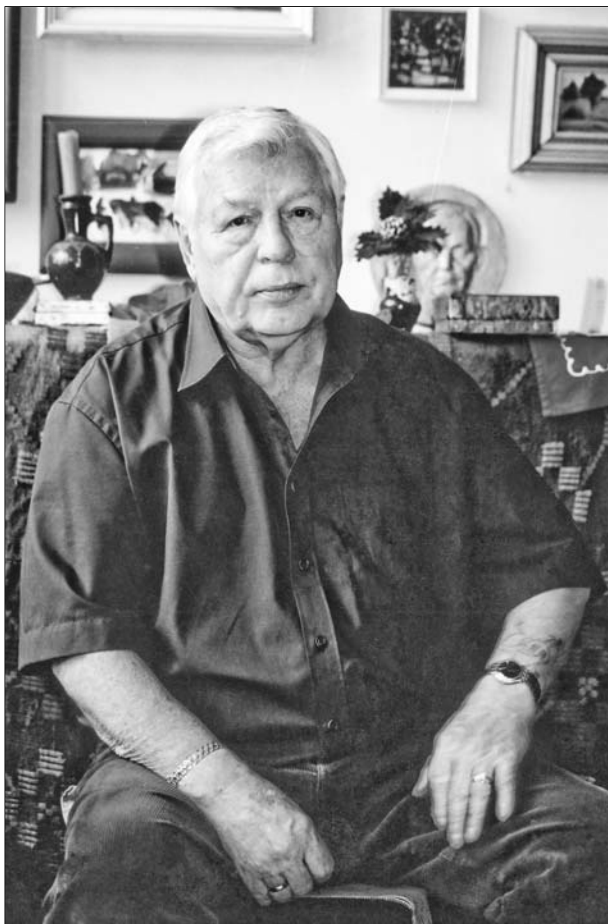
Учреждение этой международной награды — признание значимости сделанного ученым.



МАЯ ГОРЕЦКАЯ

Маэстро рисует Радость

Я пишу о народном художнике Беларуси Леониде Дмитриевиче Щемелёве не впервые. Помню, свою статью в одной из газет начинала словами: «В свои 80 лет Леонид Дмитриевич красив, импозантен, элегантен. Хоть ты выходи за него замуж!» Но это в 80 лет! А в феврале этого года ему исполнилось 87! Я пришла в мастерскую и просто застыла в изумлении. По всему периметру огромного зала прислонены к стенам десятки новых картин. На видном месте у окна — яркий постер, афиша, извещающая о персональной выставке художника в декабре 2009 года в родном Витебске.



Леонид Дмитриевич Щемелев

А сам хозяин как будто еще похорошел. Наутюженные стрелки брюк, изящные, светлой кожи остроносые полуботинки донельзя элегантны. Черный свитер подчеркивает стройность фигуры и безукоризненную белизну седины. Движения по-юношески стремительны. А глаза все такие же лукавые и молодые. И я не выдержала, с ходу спросила:

— Леонид Дмитриевич, да как же вам удается сохранять такую работоспособность, такую творческую плодовитость и такую стать?! Как это? Откройте свой секрет!

Средство Макропулоса от Леонида Щемелева

Вы, конечно, помните, что рецепт Макропулоса у Карела Чапека сохранял вечную молодость до 300 лет. Ну, не на 300 лет, так хотя бы до 90, как у Щемелева! А Маэстро улыбается:

— Секрет очень прост. Каждое утро, невзирая на выходные, болезни и праздники, я прихожу в мастерскую в 10.30 утра и работаю до трех дня. И получаю такое удовольствие от работы… Испытываю такую радость… Я здесь счастлив

каждую минуту. Особенно, если светит солнце и воздух чист. Тогда солнце как бы всякий раз открывает новый мир… А радость — она окрыляет человека и сохраняет его. Вот и весь секрет.

А еще я с радостью учился. Это было такое счастье — пройти всю войну, остаться живым и, наконец, попасть на учебу в Минск. Сначала в художественное училище, а потом в Белорусский государственный театрально-художественный институт на отделение живописи. Это был первый набор живописцев. А мне было уже 30, и все последующие шесть лет учебы промелькнули как в радостном сне. Нам очень повезло с наставником. Прекрасный живописец Виталий Константинович Цвирко не нивелировал нас, не подгонял под один шаблон, а давал каждому развить свое дарование, искать свой путь.

Где-то в году 1955-м, когда в Москве, в Пушкинском музее, экспонировались картины из Дрезденской галереи перед возвращением их в ГДР, наставник повез нас на эту выставку. Договорился с общежитием Суриковского училища, где нас поселили, и мы смогли увидеть все собрание. Там очереди стояли страшные, несколько раз опоясывая музей, но нас пускали со служебного входа. Некоторые ребята, посмотрев экспозицию, уезжали. А я пропадал на выставке все отпущенные нам две недели. И мне такие истины открылись…

И поездки на этюды, на летнюю практику в деревню Кисели тоже были сплошной радостью. Воложин — дивное место. И вообще те места прекрасны — Раков, Ивенец, река Ислочь! Какие у нее берега, какие изгибы, какие закрутки — просто дух захватывает! А какие там люди! Они к нам, студентам, очень по-доброму относились, угощали чем могли. Пели нам такие песни, что души наши послевоенные оттаивали. Эти простые люди отогрели нас. Я навсегда сохранил благодарность к этому краю. И до сих пор мне хочется писать его. Это, наверное, желание вернуться в молодость.

А еще я много общался с детьми, с молодежью. Учась в училище, с 1951 года, стал преподавать в школе. Потом — во Дворце пионеров, в училище, которое сам окончил, в школе для одаренных детей. Когда работаешь с ребятами, становишься лучше, динамичнее, будто подпитываешься их энергией. И этого хватило на долгие годы.

Но главное, я никогда не зацикливался на плохом. А его хватало. И первый удар ждал меня прямо на дипломе. Более года, с 1958-го по 1959-й, я писал свою большую, почти пятиметровую картину «Свадьба». Была она динамичная, многофигурная. Изображала старинный обряд: выкуп за невесту. Перегороженная жердью дорога, остановившиеся сани, гармонист, смеющиеся люди. Белый снег, белый конь, белый наряд невесты. Я решил сложнейшие живописные задачи. И все, кто приходил смотреть картину, а я над нею долго корпел, никто, ни преподаватели, ни студенты, слова плохого не сказали. А экзаменационная комиссия мою картину не приняла. Такие мэтры, как Волков и Азгур, выступили против, дескать, где наши созидательные будни, где наше победоносное время, кому нужна эта архаика? И мог я получить не диплом, а справку, что прослушал институтский курс. Такая угроза явно маячила. Да вступился за мою работу возглавлявший комиссию президент Академии художеств СССР, большой мастер Борис Владимирович Иогансон. Он добился того, чтобы мне поставили хотя бы «тройку», единственную на курсе. А вручая мне диплом, московский мэтр сказал: «Важна не отметка, а то, как ты будешь в дальнейшем работать…»

Кстати, потом моя «Свадьба» экспонировалась на выставке, посвященной 40-летию ВЛКСМ. На ее долю столько превратностей выпало. Однажды, когда мы с ребятами пришли на склад декораций в ТЮЗе, я вдруг обнаружил уголок знакомой рамы. Там, почти на свалке, лежала моя «Свадьба». Помню, это был вторник, я помчался в Художественный музей к Елене Васильевне Аладовой, которая в те годы была его директором. И она выкупила картину для музея. У них был выходной, и мы с ребятами сами ее отнесли. Я потом даже какие-то деньги получил…

— И как же прошли Вы путь — от единственного троечника до единственного в своем роде Мастера со своим неповторимым почерком, награжденного высшими званиями и регалиями?

— Это был трудный путь, но я не копил обид, не наливался желчью. Всегда знал, что сегодня должен работать лучше, чем вчера. И верил, что жизнь — это поэма с хорошим концом…

Светлана. Семья. Счастье

Февраль по уши засыпал Минск снегом. Уж его и разгребали, и вывозили, и все почти безуспешно. Зима, морозы. А здесь, в мастерской, на столе в кувшине зеленого стекла большой букет желтых тюльпанов. Перехватив мой взгляд, Леонид Дмитриевич объяснил: «Принесла дочка друга». Я понимаю, дарить Щемелеву цветы — все равно, что дарить им бессмертие. Он любит запечатлевать на своих полотнах их эфемерную красоту. Розы, лилии, пионы живут и благоухают на зависть настоящим на его картинах. Вот на стене портрет Светланы с целой охапкой дорогостоящих, упакованных в целлофан букетов. Явно после юбилея. От них пахнет свежестью, а у нее сияют глаза.

Мастерская в эти зимние дни на меня производит двоякое впечатление. Довольно прохладно, нескольким батареям не под силу отеплить такое большое пространство, и одновременно тепло, тепло от сияния этих цветов, от мощной доброй энергетики, излучаемой полотнами Мастера. А они занимают все стены. И со множества картин смотрит на нас Светлана, жена художника. Вот ню, как жемчужина, совсем юной, в нежно-голубых и розовых тонах, как большая купальщица Ренуара. Ощущается, как многому научился художник у французских импрессионистов — их цветовосхищению, их цветозвуку.

А вот Светлана Николаевна уже бабушка и вместе с мужем смотрит через плечо, как с трудом, но все-таки поместились в одно кресло три их внука.

Говорит Леонид Дмитриевич о своей жене только в восторженном тоне. Называет ее уникальным человеком с врожденным альтруизмом, считает, что забота о ком-то — смысл ее жизни. А заботиться Светлане Николаевне есть о ком. У Щемелева три дочери и сын, и конечно же, внуки. И уже два правнука.

Большую свою семью изобразил мастер на картине «Новый 1986 год». Дочек с мужьями, сына с невесткой, внуков. А Светлана несет им кофе.

С любовью и нежностью снова и снова пишет он свою жену. Вот она в домашнем интерьере. Вот в белорусском костюме с маленькой дочерью под уходящими в небо могучими деревьями на картине «Родина». Вот стройная, в аскетичном черном наряде, с букетом цветов смотрит на крестный ход в Богданове. «Портрет учительницы» — это она. И просто «Светлана» — женщина, сияющая внутренним светом в ожидании ребенка.

По-моему, Светлана Николаевна не только модель, любимая жена, семейный оберег, но и творческий талисман художника. Лучшие знаковые картины, принесшие ему известность, открывшие новые грани мастерства и глубины осмысления мира, запечатлели именно Светлану. В 1968 году зрителей, знатоков, коллег и непосвященных, но чутких людей зачаровала на выставках картина «Красное кафе», где под сводами красной подвальной кафешки молодая женщина в красном платье, одна за столиком на переднем плане, просто гипнотизировала смотрящих какой-то тихой, но величавой грустью. А переливающиеся, как драгоценные камни, краски сообщали картине такую внутреннюю динамику, что нельзя было глаз оторвать. Краски, они умеют говорить.

В картине «Воскресенье» художник изобразил и себя, молодого, стройного, затянутого в джинсы, и Светлану, сидящую у стола и смотрящую в противоположную от него сторону, печально думающую о чем-то своем. И было ощущение мига, когда каждый живет сам по себе, но есть нечто, что роднит их навечно.

Так и «Каникулы» — это не просто портрет жены и сына, но размышление о дне сегодняшнем, о нелегком душевном труде, с которым дается понимание молодых, даже своих родных.

Но я особенно люблю картину «Будто во сне». На большущем полотне художник и Светлана на белом коне парят над Минском. Внизу — узнаваемый кафедральный собор, мост через Свислочь, Красный костел — знаковые акценты города. В цветении деревья и кусты. Конь легок и стремителен. Женщина доверчиво прижалась к мужу. Ее шарф летит, как разноцветные крылья коня, и, как крылья, вскинуты руки художника. Прозрачный световой столб поднимается от земли, а вокруг праздничные сполохи салюта. Будто во сне.

И столь же любовно и изобретательно изображает мастер своих детей. Невероятно изящен портрет сына 1982 года. На одной из картин младшая дочь Анастасия будто благословляет каждого зрителя тонкой ладонью византийской мадонны. А меня в свое время поразил «Портрет дочери в зеленом». Стоит девушка, опершись, на фоне какого-то резного портала, и резьба эта смотрелась как роскошный царский кокошник, венчающий ее голову.

Не могла я не спросить Леонида Дмитриевича, отчего он так часто пишет свою семью.

— Я пишу людей, которые мне симпатичны. Я люблю гармонию внешнего и внутреннего. Для этого нужно хорошо знать человека. А кого я знаю лучше, чем своих близких? Отношения с ними, они сами меня очень радуют. Все дочери пошли по моим стопам. Окончили художественное училище, где я преподавал. И Светлана там преподавала. Но она — физику. Моя средняя дочь Людмила и ее муж Игорь Римашевский — хорошие художники. Трудолюбивые, как пчелы, работают с утра до вечера. Я ими горжусь, и мне нравится их писать.

Один из портретов Людмилы, средней дочери, оказался пророческим. Изображена на нем тогда еще совсем юная девушка в беретике, коротком пальтишке и с альбомом Щемелева в руках. Назывался портрет «Мой папа — художник». И будто предсказал и запрограммировал ее судьбу.

А потом ее с Игорем написал Леонид Дмитриевич в картине «Молодые» в подвенечных нарядах, тоненьких, трогательных. А позже — уже именитых художников Римашевских — в красивом, сияющем изысканностью цвета портрете 1985 года.

Нет, мастер пишет не только своих родных. Известны его портреты учителя Виталия Цвирко, коллег Михаила Чепика и Гавриила Ващенко и многих других, и в каждом портрете запечатлены время, характер, судьба.

— Я счастлив, — признается художник, — что со своими семейными могу вести глубокие профессиональные разговоры и что взгляды наши на искусство совпадают. И что, когда приходят к нам со Светланой на праздники все дочки, зятья, сын, невестка, внуки и правнуки, то даже в нашей четырехкомнатной квартире мы размещаемся с трудом.

Щемящие женские портреты Щемелева

Среди новых работ в мастерской высокий вертикальный портрет. На нем тоненькая женщина в изысканной шляпе почти в полный рост на фоне разноцветного витража. Что это — полумрак костела? Владетельная хозяйка замка? Нет, это любимая старшая дочь Маргарита в так прекрасно придуманном интерьере…

Вообще женские портреты Щемелева мистически притягательны. Все женщины, увековеченные его кистью, очаровательны, загадочны, пленительны. Они — скрипачки, виолончелистки, наездницы. У них таинственные гриновские имена: Николь, Елена, Юлиана. Звучащий щемелевский цвет одевает их по-королевски нарядно. Им так идут кокетливые жокейские шапочки, прозрачные воздушные шарфы, утянутые алые пиджачки.

— Чувствуется, что Вы обожаете тех, кого пишете. Как относитесь Вы к женщинам?

— Все женщины — прекрасны. Они уникальное явление природы. Все лучшие качества в мужчине — от женщины. И настоящий мужчина видит в женщине нечто святое. Женщина должна восхищать мужчину. И так будет, пока существует наша планета. Что может быть прекраснее колыбельной песни матери? Все самое лучшее в мире — от матери. А если есть другие женщины, то это болезнь, аномалия, о которой я не хочу думать.

На портретах сына мама Щемелева предстает женщиной сильной, умной, исполненной величавого достоинства. Под стать ей и сестры — русокосые, величественные. Восторженная кисть художника одевает их во все оттенки пурпурно-бордового. Их встреча за небогатым столом красна не пышным угощением, а тихой радостью душевного единения. Это картина «Сестры».

Художник хочет видеть в жизни только прекрасное. Он рисует только Радость. И умеет это делать как никто другой. Все его полотна просто сияют этой радостью, излучают, дарят ее.

Какая радость — жить!

Случалось ли вам выйти вдруг на невероятную излучину реки, или сияющую поляну, или увидеть такой закат, что сердце просто — ах! — заходится от такой красоты. И голубой холодок грусти растекается внутри сожалением, что не можешь ты поделиться этой прелестью с другими, что видишь ее один. А Леонид Дмитриевич может и щедро делится этой прелестью со зрителями.

Как завораживающе красива наша земля на его полотнах. Его летние ночи ощутимо теплы, все пронизаны лунным светом, пахнут кострами, а в согретой за день воде купаются голубоватые женщины, похожие на загадочных русалок. И слово-то он нашел для этих ночей такое поэтичное — «Све-то-лу-ние»! Оно словно переливается и поет. Под его кистью поэтичными делаются самые обычные дела: обед тракториста, уборка бульбы, стадо на водопое, сбор моркови, мельница в лесу. Волшебное чудо таланта непонятным образом, как в музыке, без слов объясняет нам необъяснимое.

Вот картина семидесятых «Листовей». Деревья с покрасневшей листвой, пригорок, красный от опавших листьев. Стылая вода в разъезженной колее. Холодно. И двое людей на ветру. Он и она. И так важен, так нелегок их разговор, что не замечают они непогоды. Мне кажется, они расстаются навсегда.

Леонид Дмитриевич — не бытописатель, он как Создатель творит свой собственный мир. Уж если осень — то красны от яблок деревья, и груды красных плодов устлали землю, и планетарно, космично убегают в безбрежную даль пригорки. И замысловатой спиралью взвиваются над землею птичьи стаи. И вот ты уже втянут в это движение и стремительно летишь ввысь. Это — «Осенний зов». Программное полотно. Или «Ивенецкие льны». Разноцветные, как букеты, снопы льна на переднем плане, золотые копешки на втором, вдали — окончившие работу нарядные люди, сказочно уютный городок и убегающие вдаль, к горизонту, переливающиеся всеми оттенками червонного золота поля и леса — легендарно красивая земля. Осень всегда вызывает восторг у художника.

А мне особенно любы его зимы с их хрустящим, поющим снегом, рыжими лошадками и скрипом санных полозьев. От снега запах свежести, как от только что взрезанного арбуза. И если Скрябин изобрел цветомузыку, то для меня Щемелев — воплощение цветозвука, и мне звенят его снега.

— Леонид Дмитриевич, откуда эта любовь к зиме, к снегу, к лошадям?

— Это все из моего детства. Витебск, где я родился и рос, город живописный и снежный. В двадцатые годы основным средством передвижения были

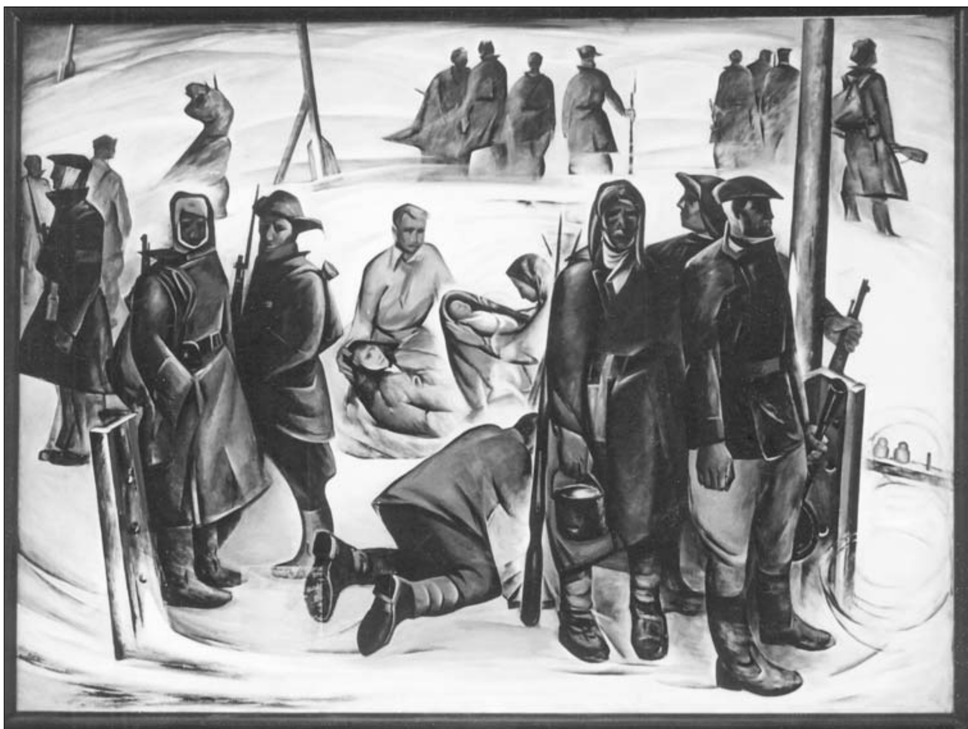
лошадки. Рыжие на розовом снегу. И такое ощущение чистоты, счастья. Ведь зима — всегда очищение и радость надежды. Снег укрывает все плохое, и когда он идет, у меня рождается необоримое желание работать. А лошади… До войны я ходил в конноспортивную школу. Почти всю войну служил в кавалерии. Коня могу нарисовать по памяти в любом ракурсе. Мне для этого не нужно смотреть в справочники.

А снег многолик, не бывает просто белым, он впитывает все, что его окружает. И оттого бывает розовым, голубым, фиолетовым, только не белым. Я открыл немыслимое количество оттенков белого у Валентина Серова, я учился у него, и мне приятно, что один только Серов из всех российских живописцев представлен в Музее современного искусства в Париже.

Война

Леонид Щемелев прошел всю войну — от 1941 года до ее последнего дня. Знает, каково это — быть пехотинцем на Курской дуге. Был тяжело ранен под Мозырем. После ранения служил до победного мая в кавалерии. Но почти 20 лет после окончания войны не писал о ней, не касался этой темы. Боль требовала осмысления. А гнаться за модой, малевать скороспелые однодневки на нужную тему художник никогда себе не позволял.

Картина, написанная в 1964 году, называлась «Тяжкие годы». Серый промозглый вокзал. Серые лица, серые одежды, острые колючие линии. На скамейке молча прощаются двое. Она с малым ребенком на руках, будто заранее состарилась в предчувствии тех страшных бед, которые придется ей с дочкой вынести. Он как воплощение тех миллионов молодых мужчин, что ушли на защиту своей земли и никогда уже не вернулись. Так погиб в первый год войны и отец художника. Рядом с мужчиной железный бачок для воды с кружкой, прикованной цепью. За окном, на заднем плане, эшелон с танками. Это 1941 год.



«Мое рождение». 1967.

Вы понимаете, что когда кто-то работает так непохоже на других, так своеобразно, так очевидно талантливо, то у многих нередко возникает соблазн притормозить его, окоротить, опустить до общего уровня. Это сейчас «Тяжкие годы» — музейная картина, а тогда ее приняли в штыки: «Слишком мрачно», «Зачем вспоминать плохое?», «Но мы же победили!»…

Не сразу поняли и приняли и истинный шедевр Щемелева — картину «Мое рождение». Это ту, где метет злая поземка и кругом, как ширмы, целомудренно отвернувшись, защищая и от метели и от врагов, стоят партизаны. А внутри круга у небольшого костерка на снегу обессиленная женщина. Она только что родила, и малыша держит на руках ее товарка.

— Меня упрекали в нереальности происходящего, — вспоминает художник. — А ведь это кровоточащий образ, это анализ того ужаса, что несет война, того нечеловеческого, что вокруг совершается. Мир так прекрасен, а его уродуют, разрушают и обрушивают на голову уникально красивого творения — человека. Мое поколение прошло через этот ад. На нашем курсе учились сплошь участники войны.

По-своему, неповторимо по-своему сказал художник о войне. О ее начале. Не разрывы бомб, не толпы беженцев, а «Гроза 22 июня 1941 года». Уходящее до горизонта созревшее поле хлеба. Веселая свадьба, замершая у колодца. Опустили скрипки сельские музыканты, услышав страшную весть от военного, загнавшего белого коня. Тоненько заголосил мальчишка, прижавшись к отцу с матерью. А на еще недавно ясное небо наплывают черные грозовые тучи.

Прошедший большую часть войны в Четвертом кубанском казачьем полку, много наслышавшись о легендарном командире, Щемелев пишет картину «Генерал Доватор», за которую в 1975 году был удостоен серебряной медали ВДНХ СССР.

Это очередная удачная попытка совместить портрет и сюжетную картину. В черной папахе и бурке, оттененной ярко-алым башлыком, комбриг красив и элегантен. Он просто стоит, но в нем ощущается такая незаурядная внутренняя сила. За ним — тачанка с пулеметом, и к нему обращены все взгляды конников по обеим сторонам картины. Их осеняет алое знамя бригады. А надо всем, над сельчанами, подмосковными избами в глубине, над конниками и генералом — заиндевевшие деревья, наклоненные так, что образуют прозрачный льдистый купол, как в величественном храме.

Да, мастер романтизирует своих героев, но он пишет их не только такими, как они есть, а такими, какими они могли быть в лучшем своем воплощении.

В 1983 году шестидесятилетний художник снова возвращается к военной теме. Он пишет картину «Первый день мира». Прекрасный майский день. Германия. Вдали видна черепичная крыша кирхи. Под цветущим каштаном раненный в голову кавалерист на рыжем коне, другой конь у него на поводу. А на переднем плане на мраморной террасе богатой, судя по балюстраде, виллы, молодой старший сержант Щемелев вынес венский стул и просто сел отдохнуть. Смертельно тяжкая работа войны — окончена, и можно, наконец, перевести дух. Такой вот автопортрет и глубокое философское раздумье о войне и мире.

В этом году в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне народному художнику Беларуси, лауреату Государственной премии Беларуси, кавалеру ордена Франциска Скорины присуждена премия Союзного Государства. Награду мастеру вручат в родном Витебске во время «Славянского базара». Конечно, приятно, что труд твой высоко оценен, и я спрашиваю:

— Когда Вы почувствовали вкус настоящего успеха?

— В 1982 году, когда состоялась моя персональная выставка в Москве. Экспонировалось на ней более 130 полотен. На открытие поехали более 60 белорусских художников: Ващенко, Басалыга, из среднего поколения — Селещук. Выставка имела шумный успех. По возвращении я получил звание народного художника Белоруссии. Тоже было приятно.

— Вы счастливый человек?

— Да. У меня хорошая, дружная семья, которая меня поддерживает. Верные друзья, которые помогают пережить трудные дни. Удобная, просторная мастерская, где хочется работать. Милые внуки, славные правнуки. Мои работы представлены в Нью-Йоркском музее «Мезели Арт» и в Третьяковке, во многих частных галереях в Греции, Германии, Израиле, Италии, в музеях Курска и Минска, во многих частных коллекциях. Мне грех жаловаться. И потом, человек, увидев солнце и улыбнувшись с утра, сам наполняет себя радостью жизни.

— Можете вспомнить самый счастливый день своей жизни, самый веселый?

— Могу. Это было в 1963 году. День, когда мне «стукнуло» 40 лет. Мы поехали всей компанией в театральный пансионат в Острошицком городке. Расчистили каток. Катались на коньках. Гуляли, шутили, смеялись. За два дня, что мы там провели, я не видел ни одного постного лица. Такая вот простота восторга. Наверное, это и есть счастье…

Маэстро рисует Радость

Леонид Дмитриевич не любит, когда его полотна называют пейзажами. Он считает их картинами на фоне природы. Они не написаны с натуры, а сочинены по поводу увиденного. Мастер создает свою собственную вселенную. Объехав множество стран, родную Беларусь он считает «самым цветным краем» в мире. И без устали воспевает ее. Он убежден, что человек должен быть раним красотой. И что настроение на картине бывает русским, украинским или белорусским. Он пишет зеленую безбрежность Витебщины, звенящие снега Ракова, синие полотна веснянских льнов, сказочно красивую Логойщину. И когда я вижу это зеленое раздолье, населенное стройными женщинами и грациозными лошадьми, мне вспоминаются слова Бабеля: «…мы смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони».

Но это единственное прозаическое высказывание, все остальное у меня ассоциируется только с поэзией, а прозрачные весны — с ранним Андреем Вознесенским.

Очевидно, от той первой своей дипломной «Свадьбы» сохранил Леонид Дмитриевич привязанность к этому важному празднику в жизни человеческой. Он любит изображать свадьбы. Свадьбы зимние, когда протоптана в снегу тропинка, и стоит прямо на улице стол, и всякого доброго человека угощают под переливы гармоники чем Бог послал. Свадьбы летние, когда идут молодые по дорожке среди безбрежного поля синего льна. Свадьбы сельские и городские. Свадьбы, что входят в уютные палисадники и в столичные храмы. И всегда в этих картинах столько чистоты и светлой радости, что печалишься от невозможности в них участвовать и жалеешь, «что ты не жених». Он любит запечатлевать праздник, радость и счастье — жить! И умеет это делать как никто другой.

Вы помните, как победно взвивается фата невесты, как летит за ветром подол ее платья, как нарядно смотрится все свадебное шествие на фоне охристо-золотых осенних деревьев. И с какой затаенной грустью смотрит на торжество жизни стройная монашка. Это картина «Осенняя свадьба в Минске».

Минск на картинах Щемелева изысканный, стильный, европейский город. Прекрасны его тихие улочки с заиндевевшими деревьями и воронами, рассевшимися по ветвям, как украшения. Прекрасен он и в осенние праздники, когда алый цвет знамен и транспарантов перекликается с золотом и пурпуром деревьев, и омытый летними дождями, и в голубой прозрачности весны. На картинах мастера город населен только красивыми людьми и умными собаками.

— На очень многих Ваших картинах изображена одна и та же черная собачка. Сама как щетка, и мордочка щеткой.

— Это скотчтерьер по имени Том. Был он маленький, а голос имел грозный, грубый. Я не хотел собаки. Но жена с дочкой приобрели скотча. И он оказался таким умницей. Аристократ, гордец. Никогда на улице не поднимет никакой дряни. Приходил ко мне в мастерскую, терпеливо ждал меня. Но если считал, что пора идти гулять или обедать, то ложился между мною и мольбертом и не подпускал к работе. Когда его не стало — дом опустел. Сейчас у дочки снова живет скотчтерьер, но это уже не то. А я все рисую черных собачек в память о четвероногом друге.

— Среди работ последнего десятилетия явно прослеживается пушкинская тема: «Осень в Болдино», «Мороз и солнце», «Накануне». С чем это связано?

— Сейчас так много плохих песен звучит, так много плохих стихов развелось, что возвращение к хорошему, к классике как бы успокаивает, внутренне гармонизирует. Хочется хорошей литературы. Помните, в свое время, мы тогда были помоложе, перевели впервые Франсуазу Саган. Это было такое откровение, читали взахлеб. А недавно взял я эту книжку в руки и дальше второй страницы не пошел, неинтересно. А «Новую зямлю» Якуба Коласа могу перечитывать снова и снова. И знаете, что меня всегда завораживает, — невероятно уважительное отношение к каждому персонажу. А вот русский перевод мне не понравился.

— Каким выводом, вынесенным из прожитых лет, можете Вы поделиться?

— Мир не кончается на нас, он развивается, и в нем будет еще столько интересного, столько прекрасного…

— А в Париж Вы не хотели бы снова съездить?

— Нет. Там ночью прямо в воздухе разлито некое ощущение опасности. Я теперь полюбил наши маленькие городки, они выглядят как маленькие шедевры. И Минск наш редкостно хорош и для жизни удобной отлично приспособлен. Вот только как для европейского города картинных галерей в нем до обидного мало.

Пытаясь исправить это упущение, Леонид Дмитриевич подарил городу 60 своих картин. Среди них программные «Родина», «Витебск в войне 1812 года», «Полевой трибунал», «Море нарочанское» и еще пейзажи, натюрморты, эскизы.

В Минске, на проспекте Рокоссовского, открыта теперь первая именная галерея. И когда вам взгрустнется, можно прийти сюда и подпитаться радостью. Полотна Мастера обладают мощной доброй энергетикой и щедро одаривают зрителя хорошим настроением и осознанием того, что жизнь — прекрасна!



Грюнвальдская битва 1410 года: итоги и перспективы исследования

В 2010 году исполняется 600 лет со дня Грюнвальдской битвы — одной из знаковых битв нашей истории, во время которой были разгромлены войска немецкого Тевтонского ордена. Объединенными силами славян — польско-литовско-русской армией под командованием польского короля Ягайло — был окончательно сломлен хребет масонского ордена рыцарей-храмовников, не раз пытавшихся завоевать наши земли. Этому событию, которое стало важной вехой и в истории Беларуси, так как значительную часть войск Великого княжества Литовского составляли предки современных белорусов, было посвящено заседание «круглого стола» в Институте истории Национальной академии Республики Беларусь, состоявшееся 7 апреля 2010 года. На нем были рассмотрены многочисленные аспекты, предшествовавшие битве, сама битва и ее последствия. В «круглом столе» приняли участие известные белорусские историки и представители СМИ.

Предлагаем вниманию читателей ряд материалов, представленных на «круглом столе».

Михаил Павлович КОСТЮК*, доктор исторических наук, профессор, академик Национальной академии наук Беларуси (Минск):*

Битва, которая произошла 15 июля 1410 г. и длилась от полдня до семи часов вечера на территории между Стембарком и Грюнвальдом, явилась апогеем не только «Великой войны», но и всей активной, почти 130-летней (с небольшими перерывами) агрессии Тевтонского (немецкого) ордена на литовские и белорусские земли. Эта битва вошла в историю как одно из наиболее масштабных, грандиозных и эпохальных событий Средневековья.

Тевтонский орден постоянно вел агрессивную политику по отношению к восточным от него, в том числе белорусским, землям. Разрушения, пожары, мародерства, грабежи во время нападений сочетались с захватом мирных жителей в плен. По мнению некоторых исследователей, количество взрослых и детей, выведенных с территорий Литвы и Беларуси, могло достигать 200 тысяч человек.

Характерно, что наблюдалась тесная пропагандистская связь между крестовыми походами в Палестину, а также на литовские, белорусские и другие восточнославянские земли. И по одному и по второму направлениям это подавалось как борьба за чистоту христианской веры в ее католическом варианте. На литовских, белорусских и других соседних территориях это выливалось в борьбу с язычниками и схизматиками. В конце XIV — начале XV столетий давление на восточном направлении активизировалось в связи с тяжелым поражением крестоносцев от турков под Никополисом в 1397 г.

Войска Великого княжества Литовского на агрессию крестоносцев периодически отвечали своими походами на Запад. Особенно активно это происходило во время службы Давида Городенского и некоторых других тогдашних военачальников. Однако эти ответы были менее интенсивными, они не имели постоянного характера и проводились преимущественно в ответ на «рейзы» крестоносцев и сделанные в это время погромы, грабежи и мародерства.

Однако враждующие стороны в те времена согласно существующим юридическим и морально-этическим нормам довольно строго придерживались подписанных соглашений. Они даже нередко заблаговременно предупреждали

о разрыве мирного договора и начале военных действий. Это касалось не только взаимоотношений Тевтонского ордена со своими восточными соседями, но и в более широком контексте, во взаимоотношениях непосредственно между ними. В этой связи вероломное нападение через многие столетия фашистской Германии на СССР, вопреки заключенному советско-германскому пакту и другим договорам, явилось большой деградацией межгосударственных правовых отношений и международной практики.

Но в отличие от Великой Отечественной и Второй мировой войн, во времена агрессии крестоносцев нападения тогда не имели в своей основе этнического характера. Это объясняется как неразвитостью самих тогдашних этносов, так и другой пропагандистской основой крестовых походов — борьбой с язычниками и отступниками, по их мнению, от настоящей христианской, то есть католической веры.

Несмотря на практически постоянный и острый характер борьбы с Тевтонским орденом, Великое княжество Литовское находило возможности и силы для походов на восток. В частности, великий князь Ольгерд за короткий срок совершил три похода на Московское княжество. Широко известна и восточная политика Витовта, в том числе в конце XIV — начале XV столетий.

От крестовых «рейзов» в первую очередь терпели земли теперешней Литвы, в особенности Жемайтия, жители которой периодически восставали и вели осо-бенно активную борьбу с захватчиками, а также белорусские территории. Что касается непосредственно польских земель, то согласно Колишскому миру, заключенному в 1343 г., ее территория оказывалась преимущественно в стороне от крестовых походов. Но опасность нападений сохранялась постоянно, хотя польские рыцари временами выступали вместе с «гостями» Тевтонского ордена, которые прибывали к нему из других государств Европы.

В жестокой борьбе с крестовыми походами на Беларусь больше всего терпела почти беззащитная сельская местность, а также городские поселения, но замки Гродно, Новогрудка, Лиды, других белорусских городов преимущественно выдерживали осады и штурмы. Характер агрессий и борьбы с ними был таким, что в 1395 г., например, жители Новогрудка и Лиды сами вынуждены были сжечь свои города и спрятаться в лесах.

Особенно была активизирована захватническая деятельность Тевтонского ордена в восточном направлении после 1393 г. в связи с тем, что великим магистром стал Конрад фон Юнгинген. После его смерти в 1407 году его агрессивную политику продолжил его брат Ульрих фон Юнгинген. Он затем будет убит на Грюнвальдском поле.

Не чуждались верховные руководители враждующих сторон и личных встреч. Так, в 1403 г. на Дубисе Витовт и Конрад фон Юнгинген провели переговоры, которые, однако, оказались безрезультатными. Было несколько других встреч между ними, в том числе с участием польского короля Ягайло.

В этой связи для исхода будущей Грюнвальдской битвы особенно важное значение имели взаимоотношения и взаимодействие верховных руководителей Великого княжества Литовского и Короны Польской, двоюродных братьев — Витовта и Ягайло. Убийство в 1382 г., во время особенно острой борьбы за власть, по приказу Ягайло, его родного дяди и отца Витовта — Кейстута на многие годы осложнило их отношения. Но государственные дела все же постепенно брали верх над личными обидами. Важное значение в этом сыграли события 1392 г., когда Витовту от Ягайло был передан секретный лист. В нем было предложение примирения и излагались его условия. Итогом этого явилась встреча около Острова, в окрестностях Лиды. Согласно подписанному трактату, власть в Великом княжестве Литовском пожизненно передавалась Витовту. При этом он объявлялся заместителем Ягайло в ВКЛ и ему были возвращены все его вотчинные владения.

Готовясь к генеральной битве, враждующие стороны стремились обеспечить свои тылы. И это им удалось. Витовт подписал соответствующие соглашения

мирного характера с Псковом, а также с Московским княжеством. Был заключен мирный трактат и с Великим Новгородом. При этом важно, что соответствующее соглашение было подписано также с Инфляндским орденом.

Еще раньше обеспечением своих тыловых позиций занялись руководители Тевтонского ордена. В первую очередь это была борьба за важнейший опорный пункт в Балтийском море — остров Готланд, принадлежавший Дании. Еще в 1383 г. туда был организован большой поход сухопутных и даже морских сил Ордена. Такие кампании были затем повторены в 1403 и 1404 годах. Это были хорошо спланированные и успешные акции. Попытки со стороны датских властей противодействовать им не имели успеха.

Предыстория Грюнвальдской битвы имеет немало свидетельств определенных компромиссов между враждующими сторонами — Великим княжеством Литовским, Короной Польской и Тевтонским орденом. Известно, что при проведении своей восточной политики (а она нередко приобретала активный характер) Витовт иногда использовал формирования тевтонских рыцарей. В частности, в неудавшейся для него битве на Ворскле в 1399 г. участвовали и представители Тевтонского ордена.

Историческими фактами зафиксирован ряд соглашений с Орденом, которые преследовали, несомненно, тактические цели. Эту роль исполняли, в частности, Виленская уния 1401 г., Ратёнжский договор 1404 г. между Великим княжеством Литовским, Короной Польской и Тевтонским орденом. На основе последнего договора в 1406 и 1408 годах орденские формирования в несколько тысяч рыцарей помогали армиям Витовта в его борьбе с Московским княжеством.

Характерно, что периодически, особенно во время обострения отношений и военных действий с Тевтонским орденом, активизировалась пропагандистская деятельность с обеих враждующих сторон. Орден через своих посланников апеллировал к папскому престолу, правителям Священной Римской империи, западноевропейским государствам, обвиняя язычников и схизматиков в неуважении к истинному христианству, то есть к католической вере. Представители Великого княжества Литовского и Короны Польской, в свою очередь, стремились доказать обратное. Особенно это усилилось непосредственно перед решающей битвой.

Длительная опасность со стороны Тевтонского ордена объединяла его противников. Среди примерно 40 хоругвей, которые привел на решительную битву великий князь Витовт, были берестейская, волковысская, витебская, городенская, лидская, новогрудская, пинская, полоцкая, несколько смоленских и других хоругвей. У них была одна цель — разгромить рыцарей и остановить их опустошительные походы на восток.

Передвижения войск обеих сторон перед встречей под Грюнвальдом, как и сам ход решающей битвы, довольно подробно, хотя и неоднозначно изложены в белорусской исторической литературе, как и в публикациях исследователей других государств. Но одна линия преобладает: армии Великого княжества Литовского и Короны Польской, соединившись 30 июня 1410 г. на Висле, владели наступательной стратегией и тактикой, а Орден защищался. Его катастрофа на поле, которое отделяло Стембарк и Грюнвальд, была закономерным итогом борьбы против тевтонской агрессии на литовские, белорусские и другие восточнославянские земли.

Несомненно, что победа под Грюнвальдом имела эпохальное значение. Достаточно напомнить, что она более чем на 500 лет остановила немецкую агрессию на восток — вплоть до начала XX столетия, до Первой мировой войны. Это — бесспорный факт не только европейской, но и мировой истории. Так случилось, что попытки Тевтонского ордена воссоздать после катастрофы под Грюнвальдом свою былую мощь и значение, так и не были реализованы.

Потому нельзя согласиться с мнением, которое иногда высказывается в литературе, что, мол, значение Грюнвальдской битвы обычно преувеличивается или даже гиперболизируется. Это фактически сделать невозможно, если учесть те коренные геополитические перемены, которые произошли в Центральной и Вос-

точной Европе в результате этого грандиозного события. Ее место и роль в истории народов Восточной и Центральной Европы тяжело переоценить.

600-летний юбилей Грюнвальдской битвы не может не вызвать размышлений об историческом и даже эпохальном значении этого неординарного по своим итогам события средневековой истории Беларуси и соседних с нею земель. Уникальная роль этой битвы и далекоидущие последствия не только в прекращении периодических, в течение почти полутора сотен лет набегов немецких и других рыцарей на литовские, белорусские и соседние с ними территории, но и в подъеме морального духа победителей, осознании ими своего достоинства и силы.

Грюнвальдская битва явилась тяжелым испытанием для белорусского и других этносов в их самоотверженной борьбе с этой агрессией. На Грюнвальдском поле тысячи отважных воинов с земель Беларуси сложили свои головы в упорной баталии, но эти тяжелые потери были принесены во имя свободы и независимости родного края, ради его жителей, чтобы их больше не забирали в неволю и чтобы они могли спокойно жить на родной земле, растить детей, внуков, правнуков, создавать материальные и духовные ценности.

В дальнейшем общая победа восточных славян под Грюнвальдом постепенно отходила в историю, а на первый план выходили взаимоотношения, в том числе и военные, между Великим княжеством Литовским, затем общим государством обоих народов — Речью Посполитой и Московским государством — с участием жителей белорусских и украинских земель. Это противостояние приобретало нередко драматический и даже трагический характер. Не обходили территорию Беларуси другие нашествия — шведское, французское, а затем, в начале XX ст., немецко-кайзеровское. Так что новая широкомасштабная немецкая агрессия на белорусские и другие восточноевропейские земли произошла более чем через полтысячи лет после Грюнвальда.

В период Второй мировой и Великой Отечественной войн, во времена самоотверженной борьбы с нацистской Германией у защитников родной земли нередко восставал собирательный, обобщающий образ Грюнвальда и подвиг наших далеких пращуров. Это помогало в трудной борьбе, подкрепляло уверенность в ее победном завершении. Значит, и в Средневековье, и в более поздние и даже недалекие от нас этапы нашей истории победа под Грюнвальдом сыграла и играет свою позитивную роль в историческом процессе сохранения и укрепления белорусским и другими соседними народами своих позиций.

Более важный и наиболее объективный судья тому, что произошло, это, конечно, время. Оно засвидетельствовало и продолжает утверждать, что в нашей героической истории есть немало ярких страниц. Одна из них — Грюнвальдская победа. Она и теперь в нашей памяти как свидетельство глубоких корней белорусской государственности, непокорности и высокого достоинства наших предков.

Руслан Борисович ГАГУА*, кандидат исторических наук, доцент Полесского государственного университета (г. Пинск):*

Грюнвальдскую битву 1410 года можно смело определить как явление неординарное и исключительное в военной истории средневековой Европы.

Если рассматривать битву с военной точки зрения, то в первую очередь надо отметить, что она стала следствием нового стратегического мышления. Преимущественное большинство военных действий в средневековой Европе сводилось к постоянным локальным наскокам на соседние территории, так называемые рейзы, или осаде отдельных замков и городов. В случае же антиорденской военной кампании 1410 года произошло спланированное широкомасштабное вторжение в Пруссию, целью которого было покорить в одной решительной битве территорию противника.

Нападение на Орден было старательно спланировано и подготовлено: заранее были сделаны дипломатические шаги по подготовке войны против кре-

стоносцев — разосланы жалобы на Орден во дворы европейских властителей. Зимой накануне конфликта были заготовлены значительные запасы питания для будущего похода, для чего была специально организована длительная охота в Беловежской пуще. Было старательно продумано техническое обеспечение кампании, в частности, подготовлен и собран в районе Червенского монастыря под Плоцком «невидимый ранее», как отметил польский хронист Ян Длугош, понтонный мост для переправы польской армии через полноводную Вислу. Для достижения преимущественного перевеса над противником в количестве наступающих произошло объединение рыцарей Польского королевства с воинами Великого княжества Литовского в единую армию и усиление их чешскими и моравскими наемниками. При этом для охраны пограничных территорий были оставлены только минимально необходимые гарнизоны.

В итоге Ягайло и Витовт достигли двукратного количественного перевеса над противником и значительно большего качественного преимущества, поскольку Ульрих фон Юнгинген из-за недостатка человеческих ресурсов вынужден был использовать в битве при Грюнвальде даже горожан, которые в обычной ситуации в полевых битвах участия не принимали. Данные обстоятельства привели к двум весомым последствиям: во-первых, боеспособность армии крестоносцев значительно снизилась, во-вторых, самые большие потери в армии Ордена пришлись на пехоту, сформированную из городских жителей (только Эльблонг потерял в боях 550 человек, почти всю мужскую часть населения), что негативным образом в дальнейшем отразилось на демографической ситуации в Пруссии. Прусские города после поражения армии магистра остались без защиты перед врагом и без всякого противостояния сдались на милость победителей.

Более трех тысяч человек в армии крестоносцев были представлены наемниками и так называемыми «гостями» — рыцарями, пришедшими на помощь Ордену для борьбы, как они считали, с язычниками. Наемники и «гости» сыграли в войне двоякую роль. С одной стороны, ввиду слабой дисциплины и неорганизованности, допустили под Грюнвальдом серьезную тактическую ошибку, безвременно начав преследование бегущей с поля боя части союзных войск, и, таким образом, значительно приблизили поражение Ордена. С другой стороны, использовав наемников и «гостей», уцелевших в битве, комтур Свете и будущий великий магистр Тевтонского ордена Генрих фон Плауэн смогли организовать эффективную защиту Мальборкского замка. А позже, после снятия осады орденской столицы, опираясь на подкрепления, прибывшие в Орден, отвоевать фактически все захваченные союзными войсками летом 1410 года земли в Пруссии.

Тевтонский орден чудом избежал завоевания в Грюнвальдском поражении благодаря выгодному для крестоносцев, если можно так сказать, стечению обстоятельств. Хоругвь со Свете, которую вместе с контингентом наемников вел на соединение с армией великого магистра Ульриха фон Юнгингена Генрих фон Плауэн, опоздала к битве и на подходе, узнав о поражении основной силы крестоносцев, остановилась и направилась в Мальборк. Они достигли столицы Ордена раньше союзных армий, которые «согласно древним рыцарским традициям» в течение трех дней после битвы оставались на поле боя, и сформировали огромный по тем временам гарнизон хорошо укрепленного Мальборкского замка.

Несмотря на то, что Тевтонский орден не был окончательно разгромлен, его как военный, так и экономический потенциал был безвозвратно утерян:

— в битве погибло большинство воинов — около 600 братьев-рыцарей, включая почти все высшее руководство Ордена, составлявшее основу вооруженных сил государства крестоносцев;

— Тевтонский орден потерял большую часть боевых коней, количество которых так и не было полностью восстановлено, что привело к значительному снижению боевой кавалерии крестоносцев, составлявшей в начале XV столетия главную ударную мощь любой европейской армии;

— стратегия направленного концентрированного удара объединенных сил Польской короны и Великого княжества Литовского на столицу Тевтонского ордена показала свою исключительную эффективность. Ягайло и Витовт еще трижды использовали ее для осуществления силового давления на крестоносцев: в 1414 году во время «голодной войны», в 1419-м во время «обратной кампании» и в 1420-м, когда поход союзников в Пруссию привел к окончательному включению Жемайтии в состав ВКЛ и к полному отказу в претензиях на эти территории со стороны Ордена, что было отражено в Мельнском мире — договоре 1422 года;

— потеря верховных сановников Тевтонского ордена привела к возникновению внутренних противоречий в руководящей элите Пруссии, проявившихся в борьбе за власть. Так, герой войны 1409—1411 годов Генрих фон Плауэн был лишен в итоге заговора должности великого магистра, а его место занял Михаэль Кухмейстр фон Штернберг — человек, который, будучи фогтом Жемайтии, не сумел подавить в ней восстание в 1409 году и даже был захвачен в плен; потом сбежал с поля боя во время Грюнвальдской битвы, в то время как большинство братьев-рыцарей готовы были драться до конца и погибнуть геройски; и, наконец, проиграл битву под Корановом 10 октября 1410 года, окончательно показав себя плохим армейским руководителем;

— потери городского населения негативно сказались как на экономическом положении городов, так усилили и политическую нестабильность в государстве: созданное еще в 1397 году в Пруссии тайное общество ящерицы, в 1440-м было преобразовано в «Союз прусских городов» — конфедерацию прусской знати и городов Пруссии против власти Ордена. «Союз прусских городов» 4 февраля 1454 года поднял антиорденское восстание, которое было поддержано Казимиром Ягеллоном, и в итоге так называемой Тринадцатилетней войны в 1466 году прусская ветвь Тевтонского ордена была включена в качестве вассального герцогства в состав Польши.

Поражение Ордена под Грюнвальдом позволило Ягайло и Витовту осуществить также несколько очень важных политических и дипломатических мероприятий. В 1413 году произошло крещение Жемайтии, и последний языческий остров исчез с политической карты Европы. Кроме того, в 1413 году более 40 крупным польским шляхтичам присвоили гербы и приняли в рыцарское братство такое же количество знати из Литвы и Жемайтии. Это, без сомнения, знаковое событие в исторической судьбе литовского и белорусского народов, поскольку таким образом окончательно определялся их западноевропейский цивилизационный путь развития, по которому ВКЛ развивалось несколько столетий, — а именно до разделов Речи Посполитой.

Эти обстоятельства в свою очередь позволили поставить под сомнение право на дальнейшее существование Тевтонского ордена как духовно рыцарской организации, главной целью которой было распространение и защита христианства, что и было сделано в трактате Павла Влодковича. Трактат был зачитан польской делегацией на Константском соборе в 1414 году, и основным его тезисом было, что именно Польская корона и Великое княжество Литовское, в отличие от крестоносцев, не сумевших христианизировать Жемайтию, успешно справились с богоугодной миссией, что подтверждалось присутствием на соборе значительного количества жемайтов-христиан. Прямым следствием христианизации Жемайтии стало прекращение потока «гостей», которые раньше приезжали со всей Европы на помощь Ордену в войне с язычниками.

Окончательно в качестве христианского края Великое княжество Литовское было признано европейским сообществом в двадцатые годы XV столетия, после начала в Чехии гуситских войн: как император Священной Римской империи, так и Папа Римский слали письма Витовту с предложением выступить в крестовый поход против еретиков.

Не менее значительное воздействие Грюнвальд оказал на сознание как современников, так и их потомков. Уже в XV—XVI столетиях Грюнвальдская

битва нашла отображение более чем в ста летописных свидетельствах и сообщениях, где она очень часто называлась как «большая битва» или «Великая война». В Польше победа под Грюнвальдом уже со Средневековья стала предметом национальной гордости, отображена в литературных произведениях, фольклоре, о ней даже говорится в торжественных проповедях под время богослужений.

Начиная с XIX века, битва стала объектом научных исследований историков почти всей Европы и США. На сегодняшний день насчитывается несколько сотен научных и научно-популярных работ о Грюнвальде на польском, немецком, русском, белорусском, украинском, английском, французском, чешском и других языках.

Во время Первой и Второй мировых войн тема Грюнвальда активно использовалась в идеологических целях в Польше, дореволюционной России и Советском Союзе, Германии, Англии и Соединенных Штатах Америки. Фактически уже в межвоенное время Грюнвальд становится национальным символом в Литве.

Обретение Беларусью в начале девяностых годов суверенитета привело к кардинальным переменам не только в национальной политике, но и в национальной культуре. Начался процесс, который получил название белорусского национально-культурного возрождения, который так или иначе, затронул все сферы национальной культуры. В белорусской литературе, как художественной, так и научной, появились произведения и работы, посвященные отдельным событиям отечественной истории, которые постепенно стали приобретать символическое значение для белорусской нации. Одним из таких знаковых событий в отечественной истории стала считаться и битва при Грюнвальде.

Победа досталась не просто. Под могучими ударами тяжелой кавалерии Тевтонского ордена вынуждены были отступить несколько отрядов с левого фланга, занятого войсками Великого княжества Литовского.

Не менее тяжелое положение сложилось и на польском крыле. В какой-то момент упало большое королевское знамя. И тевтонские рыцари уже пели победную песню: «Христос воскрес», но их пение оказалось преждевременным. Наши предки выстояли. Вытерпели, перешли в наступление и победили. На поле боя остались лежать великий магистр, все высшие сановники Ордена и почти все рыцарство.

Под Грюнвальдом произошла не только крупнейшая битва феодальной эпохи, но и последняя «рыцарская» битва, в которой основной силой с обеих сторон были рыцари, и моральный дух обеих сторон питали христианские идеалы. Ее смело можно назвать «Битвой за Христа». Потом рыцарские армии с их рыцарскими христианскими идеалами в Европе уступили место наемным армиям, формировавшимся большей частью за счет третьего сословия и воевавшим не за идеалы, а за деньги. Таким образом, Грюнвальд будто подвел черту под целой эпохой, разграничив Средневековье и новое время.

Алексей Иванович ШАЛАНДА, *кандидат исторических наук, заведующий сектором геральдики и нумизматики отдела специальных исторических наук и информационно-аналитической работы Института истории НАН Беларуси:*

И звестный польский историк Ян Длугош, описывая события Великой войны 1409—1411 г., среди другой информации несколько раз упоминает знамена армии ВКЛ, которую возглавлял великий князь литовский Александр Витовт. Так, 5 июля 1410 г. под Ежовом на реке Укра в Мазовецком княжестве последний своей армии *«...раздал сорок знаков, какие знаменами называем, приказав, чтобы каждая хоругвь и гуф свой охраняли знак и слушали приказы своего командующего».* Вступив на территорию Тевтонского ордена 9 июля того же года вместе со знаменами короля Владислава Ягайло, мазовецких князей Земавита и Януша, а также польских панов, были развернуты и подняты знамена великого князя литовского Александра Витовта. Трижды Ян Длугош отмечает, что знамен ВКЛ было сорок, *«они принадлежали рыцарям литовским, русским, жемайтским и татарским».* Что до изображений на них, то: *«Знаки на тех знаменах были почти все одина-*

ковые, ведь на каждом был помещен вооруженный рыцарь на коне белом, иногда черном или смешанной масти, с поднятым в руке мечом, на красном поле. Десять только знамен были с отличительными и от других тридцати отличающимися знаками, какими Витовт, имея много коней, обычно свои знамена помечал. Те знаки изображены таким образом, что невозможно словами описать».

Польский исследователь Ежи Лойко в статье «Польские и литовские знамена в битве под Грюнвальдом» довольно категорично утверждал, что Ян Длугош: *«...не отличал знаки литовских знамен, у которых не всегда гербом была Погоня, что подтверждает определенный фрагмент в хронике. Погоня была гербом воеводств (земель) берестейского, мстиславльского, троцкого и виленского».* Далее, в результате сравнительного сфрагистично-геральдического анализа, автор пришел к мысли, что: *«...Длугош, который не ориентировался в литовской геральдике времен великокняжеского управления Витовта, вынужден был дать список литовских знамен на основании поздней информации, правдоподобно полученной во второй половине XV столетия».* Правда, Е. Лойко оставил проблему открытой и в отношении знамен ВКЛ под Грюнвальдом отметил: *«Сфрагистично-геральдический и истоковедческий анализ не дает никаких возможностей для выдвижения глубоких выводов»,* и решение проблемы символики знамен Польши и ВКЛ *«будет возможно тогда, когда более точно исследуем организацию армии времен правления Владислава Ягайло».*

Выводы Е. Лойко оказали определенное влияние на других польских исследователей геральдики Польши и ВКЛ. В частности, Стефан Кшиштоф Кучиньски писал: *«...описание польских и литовских грюнвальдских знамен Длугоша содержит определенные неточности, иногда возникают даже сомнения».* И далее: *«вопросительные знаки можно поставить также при 40 литовских знаменах, розданных Витовтом за десять дней перед битвой, 10 из которых должны были нести Колюмны, а оставшиеся 30 — Погоню».*

Таким образом, сведения Яна Длугоша о символике знамен ВКЛ были поставлены под сомнение. Однако в связи с этим возникает вопрос: какими геральдическими источниками второй половины XV столетия мог пользоваться Ян Длугош для ее описания? Свою хронику он писал в 60—80-е годы XV столетия во время правления короля польского и великого князя литовского Казимира Ягайловича (1447—1492 г.). Как выяснил Е. Лойко, Ян Длугош не имел сведений о геральдике ВКЛ из западных гербовников 30—40-х годов XV столетия: брюссельского «Armorial Lyncenich» и стокгольмского «Codex Bergshammar». В качестве единственного источника, известного автору «Польской истории», упоминается гербовник под названием «Insignorum, clenodiorum regis et regni Polonie descriptio» (далее — «Клейноды») (60—70-е годы XV столетия), авторство которого, кстати, приписывают самому Яну Длугошу. По мнению того же Е. Лойко, его сведения о знаменах Польши и ВКЛ хронист *«некритично вставил в текст описания Грюнвальдской битвы».*

Гербовник «Клейноды» известен в нескольких рукописных копиях, самые древние из них датируются концом XV — началом XVI ст. В них к ВКЛ относился один только герб «Погоня», и то как герб польского короля: *«Ratione autem ducatus magni Lythwanie rex Polonie defert armatum virum, manum extensam cum gladio vibrato tenentem, geminatam crucem in brachio gestantem, albo equo insidentem».* Этот факт, а также отсутствие «Колюмнов», не позволяет говорить, что Ян Длугош, *«слабо ориентируясь в геральдике времен Витовта»*, в своем нарративе вставил информацию с «Клейнодов» на все знамена армии ВКЛ. Кроме этого, нет сомнений в том, что он видел и знал гербовую и тронную печати Витовта, на которые ссылается Е. Лойко в своем сфрагистично-геральдическом анализе, потому что, например, цитирует Городельскую унию 1413 г., оригинал которой несомненно держал в руках. Последний был закреплен тронной печатью Витовта с гербами. Тем не менее, они не были автором «Польской истории» использованы для реконструкции знамен ВКЛ в битве под Грюнвальдом. Иными словами, Ян

Длугош не знал подробной информации о знаменах ВКЛ и не занимался какой-то их реконструкцией во второй половине XV столетия.

Остается одно — Ян Длугош имел только общие данные о 40 знаменах ВКЛ из каких-то донесений свидетеля или свидетелей тех событий. Про устный характер полученных сведений свидетельствует не только замечание хрониста о «Колюмнах», что их *«тяжело словами описать»*, но и определенная противоречивость его информации о знаменах ВКЛ под Грюнвальдом. Объяснить последнюю возможно только одним — Ян Длугош записал ее так, как ему сообщили, то есть, в контексте другой более важной информации. Так, польский историк упоминает про раздачу знамен *«со знаками»* во время построения Витовтом своей армии 5 июля 1410 г. на 40 отдельных хоругвей-клинов *«старым обычаем предков»*. В приведенном сообщении важно понять, что Ян Длугош имел в виду под последним.

Есть основания думать, что, во-первых, *«старый обычай»* не относился к клиньям («cuneos»), как армейской организационно-тактической единице, потому что организация армии ВКЛ ничем не отличалась от организации армий Королевства Польского или Тевтонского ордена. Во-вторых, не относилась к нему и избранная Витовтом внутренняя структура клиньев — хуже вооруженные воины на низких конях были поставлены им внутри клиньев, а их окружали всадники на лучших конях и с хорошим оружием, о чем подробно пишет Ян Длугош. Такой порядок применялся и в других рыцарских армиях. Как отметил хронист: *«Такие хоругви двигались сжатыми шеренгами, прячась внутри разделов и отступов, при этом одна хоругвь от второй шла на значительной дистанции»*. Перед нами — типичная рыцарская армия, развернутая в боевой порядок клиньями. Что же было *«старого»*?

По нашему мнению, под *«старым обычаем предков»* надо понимать не построение Витовтом своей армии на клинья-хоругви, а раздел его на гуфы («turmas») — отряды из нескольких клиньев-хоругвей и определение мест этих гуфов в строю. Другими словами, Витовт применил при построении своей армии традиционную тактическую схему. Но какую?

Обычно наличие двух типов изображений — «Погони» и «Колюмнов» — на знаменах клиньев объясняют в том смысле, что первая была гербом земель ВКЛ и Витовта как великого князя литовского, а вторая — личным гербом Кейстутовичей. В последнем случае, согласно Е. Лойко и С. К. Кучиньскому, это были надворные отряды великого князя литовского Витовта. Таким образом, армия ВКЛ состояла из земских и надворных гуфов. Но количество надворных хоругвей вызывает сомнение — в армии Королевства Польского была только одна надворная хоругвь под знаменем с «Погоней»: *«Третья надворная, на знамени которой рыцарь в доспехах с мечом в руке, сидящий на коне на красном поле»*. В связи с этим можно говорить только об одной надворной хоругви и в армии ВКЛ, а не о гуфе. Известно, что ее в первой половине XVI столетия относили, согласно *«древнему обычаю»*, к гуфу высшего гетмана ВКЛ. Правда, в 1410 г. существование такого гетманского гуфа проблематично, ведь такая должность появляется в ВКЛ, согласно Юзефу Вольфу, только в 1497 г. Однако надворная хоругвь могла относиться к великокняжескому гуфу, речь о котором пойдет дальше.

Что до земских гуфов, то с первой половины XVI столетия известны гуфы Жемайтской и Волынской земель. Участие жемайтов в Грюнвальдской битве не вызывает сомнения. Известно, что Витовт приказал им выставить на войну с Тевтонским орденом по 300 человек с каждого Жемайтского уезда. Надо думать, что староста Витовта в Жемайтии Румбольд Валимунтович, появившийся там сразу после начала жемайтского восстания в 1409 г., выполнил приказ. Вопрос заключается в том, сколько было этих уездов. В договоре жемайтов с Тевтонским орденом от 26 мая 1390 г. перечислены 7 территориальных единиц «Жемайтской земли»: Медницкая, Кальтеницкая, Кнетовская, Крожская, Видукленская, Росиенская, Эйрогольская. Польский историк Стефан М. Кучиньски на этом основании начислил 2100 жемайтов в армии ВКЛ. Но, возможно, их количество

было еще большим — 3000 человек, если добавить еще три жемайтские уезда, безусловно существовавшие во времена Витовта: Бетыгольский, Пернаровский и Постанигенский. Таким образом, жемайтский гуф был под Грюнвальдом одним из самых больших, потому что в его составе было не менее 10 клиньев-хоругвей. Обратим внимание на то, что их цифра совпадает с информацией Яна Длугоша о 10 хоругвях Витовта со знаменами с «Колюмнами».

Трудно сказать, участвовал ли в Грюнвальдской битве гуф Волынской земли, потому что упоминается только Кременецкая хоругвь. Отметим, что в первой половине XVI столетия он складывался из трех хоругвей — волынских панов, дома Острожских и князей Чарторыских, Сангушков, Зборожских, Вишневецких. По-видимому, трехxоругвенная структура гуфа Волынской земли не случайна. Но несовпадение их названий с названием Кременецкой хоругви свидетельствует о более позднем образовании такой структуры волынского гуфа.

Подкрепляет эту мысль конфликт, возникший в 1535 г., когда староста владимирский, предводитель Волынской земли князь Федор Андреевич Сангушкович не захотел стоять в *«гуфе волынском»*, а попробовал *«сотворити гуф княжецкий»*, Ольбрихт Мартинович Гаштольд возразил в том смысле, что такого гуфа никогда не было: *«якож и я перед тем от господина его милости гетманом бывал, а никогда гуфов княжеских не слыхал»*. Это значит, что клинья-хоругви князей Сигизмунда Корибутовича, Семена Лугвения и Юрия под Грюнвальдом не образовывали отдельного княжеского гуфа. Не было, по-видимому, в 1410 г. и отдельного волынского гуфа.

Зато, как можно понять из сообщения Яна Длугоша о трех клиньях-хоругвях смоленцев, в битве под Грюнвальдом участвовал гуф Смоленской земли: *«...одни только смоленские рыцари, твердо стоявшие под своими тремя знаменами, бились упорно и не запятнали себя побегами, чем заслужили большую честь. И хотя в одной хоругви большая часть рыцарства погибла под мечами, а знамя их аж до земли было прибито, две другие, мужественно, как и подобает настоящим рыцарям, сражались, вышли из боя с победой и потом соединились с польской армией»*. Упомянутые знамена, можно предположить, были с изображением всадника с мечом, тем не менее, информатор Яна Длугоша точно их идентифицирует как смоленские. Возникает вопрос: как он это делал?

Еще раз обратимся к сообщению Яна Длугоша о раздаче знамен «со знаками». Выделим важный момент: знамена с «Погонями» и «Колюмнами» были присвоены Витовтом новообразованным клиньям с конкретной целью — каждому из них приказывалось стеречь свой знак и слушать своих командующих. С одной стороны, это надо понимать таким образом, что розданные знамена должны были исполнять в будущей битве армейско-распознавательную функцию — определять в бою пункты сбора, место командования и постоя, а также направления движения отрядов. С другой стороны, Витовт фактически разделил свою армию на две части (30 клиньев с «Погонями» и 10 — с «Колюмнами»), каждая из которых во время битвы должна была исполнять свою тактическую задачу, которая, в свою очередь, была известна командующим клиньев. Это опровергает мысль историка Руслана Гагуа о хаотичной деятельности хоругвей под время боя. Каким же был тактический план армии Витовта?

15 июля 1410 г. под Грюнвальдом войска ВКЛ во главе с Витовтом заняли свое место на правом фланге союзной армии: «...Литовские войска под командованием великого князя Александра, поставленные в стройные гуфы и хоругви, с потрясающей скоростью построились и с оружием в руках выступили против неприятеля: поляки на левом крыле, литвины развернулись на правом». Тактический план для войск ВКЛ проистекает из описаний уже самой битвы: 30 клиньев были той самой ударной группой, которая должна была начать атаку на левый фланг армии Тевтонского ордена — против хоругвей великого предводителя Фридриха фон Валленрода. Учитывая, что противостояли Витовту *«лучшие люди крестоносцев»*, ударная группа должна была состоять из наиболее боеспособных сил ВКЛ.



Атака войск ВКЛ на хоругвь Фридриха фон Валленрода, согласно хронике Д. Шиллинга. Миниатюра XV в.

Ян Длугош перечисляет из 30-ти 21 клин-хоругвь, которые назывались или по землям (Троцкая, Виленская, Городенская, Ковенская, Лидская, Медницкая, Смоленская, Полоцкая, Витебская, Киевская, Пинская, Новогрудская, Берестейская, Волковысская, Дрогичинская, Мельницкая, Кременецкая и Стародубовская), или по именам князей (Сигизмунда Корибутовича, Семена Лугвения и Юрия). К их числу надо добавить татарский отряд хана Джалал-ад-Дина и, вероятно, валашскую хоругвь. Отсутствие в перечислении 7 клиньев-хоругвей объясняется, во-первых, или слабой информированностью Яна Длугоша о войсках ВКЛ, или большим количеством построенных Витовтом клиньев под одним названием из бояр определенных земель ВКЛ.

В этническом плане ударную группу из 30 клиньев-хоругвей составляли литовцы, русины и татары, о чем есть конкретные воспоминания: *«Тянулся около часа бой, когда самые легендарные погибли с обеих сторон, литовцы, русские и татары, как животные, в жертву приносились»*. Обратим внимание на отсутствие жемайтов в этом письменном свидетельстве, которые в этом случае должны были входить в число 10 клиньев под «Колюмнами». Их надо рассматривать как отдельную резервную группу войск ВКЛ. В задачу резерва входила поддержка атаки ударной группы или прикрытие отхода наступающих клиньев при их неудаче. Кроме этого, в случае успеха они должны были замкнуть кольцо окружения. Есть сведения, что именно «язычники» принимали участие в окружении остатков армии Тевтонского ордена на заключительной стадии битвы. Как можно предполагать, имелись в виду литовцы и жемайты, потому что татар обычно называли «сарацинами», а русинов — «схизматиками». В связи с этим возникает вопрос: не являлись ли таинственные 10 клиньев под знаменами с «Колюмнами» Витовта гуфом Жемайтской земли?

Территориальный принцип, преобладающий в формированиях клиньев, а также примеры Жемайтского и Смоленского гуфов, позволяют говорить о применении его Витовтом и для раздела всех упомянутых 30 хоругвей на гуфы. Но сколько их было и как они назывались? Если исходить из выводов историков армейского дела, что армия ВКЛ в 1410 г. была сформирована Витовтом на общих с польской и немецкой орденских принципах, то в таком случае надо признать наличие в ней аналогичной *«иерархии»* хоругвей: большей и меньшей хоругвей монарха, надворной, хоругвей *«вассальных князей и территорий»*, хоругви наемников, а также земских и родовых хоругвей. В целом, соглашаясь с таким мнением, отметим, что армия ВКЛ имела свою определенную специфику. Так, под хоругвями *«вассальных князей и территорий»* надо понимать земские хоругви со Смоленской, Полоцкой, Витебской и Киевской земель, а также хоругви удельных князей. Что касается родовых, то говорить об отдельных хоругвях панов в армии ВКЛ в 1410 г., по нашему мнению, преждевременно, потому что эта привилегирован-

ная группа только формировалась. В итоге выскажем предположение, что кроме Смоленского и Жемайтского гуфов в армии ВКЛ в 1410-м были: великокняжеский («люди Витовта»), земские и гуф гостей и наемников, которые стояли под какими-то собственными знаменами, которые позволяли их распознать.

Таким образом, с одной стороны, знамена с «Погонями» и «Колюмнами», розданные Витовтом сформированным накануне Грюнвальдской битвы клиньям, не отображали символику и геральдику земель, князей и рыцарства ВКЛ, которые под ними сражались. Они происходили из династическо-государственной геральдики ВКЛ и лично Витовта, а потому являлись только необходимым во время боя *«оптическим средством сигнализации, передававшим приказы командующего»*. Одинаковость изображений не способствовала точной идентификации отрядов на поле боя. С другой стороны, описанный Яном Длугошем случай со смоленцами свидетельствует, что возможности для такого распознавания существовали. По нашему мнению, упомянутую функцию могли исполнять только знамена гуфов, о которых автор «Польской истории» просто не знал.

Действительно, трудно поверить в то, что отряды со Смоленской, Полоцкой, Витебской или Киевской земель ВКЛ, где существовали свои давние армейские традиции, не имели собственных боевых знамен. Не говоря уже про отряды удельных князей, которые также имели какие-то свои геральдические знаки и изображения, а значит, и знамена. То, что символика хоругвей армии ВКЛ должна была быть более богатой, доказал упомянутый выше Е. Лойко.

Иконографический материал также свидетельствует о существовании знамен армии ВКЛ, отличающихся от описанных Яном Длугошем. Так, сохранились две миниатюры с сюжетом Грюнвальдской битвы в бернской хронике Дибальда Шиллинга (1485—1486 гг.). На них изображены две фазы сражения армии Витовта с хоругвью маршалка Тевтонского ордена Фридриха фон Валленрода, о чем свидетельствует знамя последнего с черным крестом на белом поле. Это, а также узнаваемые черты татар, не позволяет сомневаться, что художник отобразил на первой миниатюре начало боя или атаку 30 клиньев Витовта. В армии ВКЛ он нарисовал два голубых и три красных знамени, а на одном из них изображение золотой короны. На второй миниатюре был отражен разгром хоругвей Валленрода, при этом художник отобразил в армии Витовта два знамени: 1) на красном полотнище золотая корона, 2) на желтом полотнище погрудное изображение с повернутой влево головой бородатого мужчины в красных одеждах и в красной шляпе. В нарисованном литвинском клине видится несколько разноцветных знамен.

Проще было бы отнести символику знамен из хроники Д. Шиллинга к примерам так называемой фантастической геральдики татар-«сарацинов», которую довольно часто рисовали средневековые художники, стремясь «подтянуть» до привычных для себя западных геральдических образцов негеральдические страны и народы. Однако типичное рыцарское вооружение воинов на второй миниатюре свидетельствует, что художник имел в виду все же какие-то знаки литвинов, а не татарского отряда. Ценность и уникальность миниатюр еще в том, что на них изображена символика ВКЛ в битве под Грюнвальдом. Даже без глубокого анализа можно говорить, что на Западе к концу XV столетия сложились определенные стереотипы в вопросах геральдики ВКЛ: во-первых, она имела «сарацинско-язычеcко-схизматические» черты, во-вторых, она была тесно связана с геральдикой польского короля. Но соответствовали ли рисунки знамен ВКЛ из хроники Д. Шиллинга реалиям начала XV столетия?

Главными источниками для реконструкции символики хоругвей ВКЛ в битве под Грюнвальдом в 1410 г. являются сфрагистика Витовта, а именно его тронная и гербовая печати, гербовник «Хроники Константского собора 1414—1418 гг.» Ульриха Рихенталя, а также литовских частей брюссельского «Armorial Lynceních» и стокгольмского «Codex Bergshammer».

Перевод с белорусского Татьяны Дерех.

Потомки Победы

ЮРИЙ ФАТНЕВ,
ЕЛЕНА АГИНА

«Живое небо»

Неожиданный звонок из редакции:

— Юрий Сергеевич? Здравствуйте. С Вами говорит Татьяна Викентьевна из «Нёмана». Предлагаем написать для нашего журнала очерк о замечательном летчике, единственном Герое Советского Союза в Гомеле.

Отказался наотрез! По двум причинам. Летал только на «кукурузнике», да и то в качестве пассажира. Никогда очерков не писал.

Через минут пять перезвонил:

— Согласен! Одно условие: соавтором будет Елена Агина, член Союза писателей Беларуси. На случай, если мое вдохновение забуксует.

Вот только как начать?

А хотя бы так...

Недавно в культурной жизни Гомеля произошло важное событие: любимая библиотека имени Герцена переехала с проспекта Ленина на улицу Советскую. Теперь она занимает три этажа. На третьем — выставочный зал, где можно проводить массовые мероприятия. Нашлось место и для экспонатов.

Среди них мое внимание привлекла книга Юрия Гагарина «Дорога в космос» с такой надписью: «Горжусь своими воспитанниками по Саратовскому ДОСААФ в 1954—1955 г. Денисенко Г. К.»

Четко. Деловито. По-военному.

Или дать волю фантазии?

В начале двадцатого века в неоглядной казахской степи движется группа всадников. Впереди проводник Курман. На плече его нахохлился беркут. Но пока им не до охоты на лисиц и зайцев. Проводник обещал показать иностранцам гранитную плиту, на которой сохранилась старинная надпись. Вот и Байконур, Заветная сопка. На вершине ее обещанная плита с мольбой Тамерлана: «Люди, вспомните обо мне…»

Не редакция — Железный Хромец взывает ко мне! Сквозь столетья.

Сколько мертвых и живых нуждаются в нашей памяти! Ушли летчики Божьей милостью, Серегин и Мухин, жившие в Гомеле. Остался Денисенко… А есть ли у меня право писать о нем? Об авиации? О космосе?

С детства зачитывался книгами о Вселенной. Галактики, кометы, метеориты кружились в моей голове. Вот только скафандр на мне был из гипса. Когда его снимали, ощущал невесомость.

Позже несколько раз ездил в Калугу специально для того, чтобы побывать в домике Циолковского. Бывал в Боровске, где когда-то жил Константин Эдуардович. Там случилось со мной нечто непонятное, запомнившееся на всю жизнь.

Вам приходилось видеть живое небо? За секунду до того, как электричка тронется, синим вечером шагнул через рельсы и ощутил, как зашевелились на голове волосы. Но страха не почувствовал. Не успел. Поднял голову. Надо мной зыбко сияло, переливалось живое небо.

Оно было бездонным, цветным. И населенным трепетными, прозрачными существами, зовущими меня к себе. Видимо, я должен был присоединиться к

ним. Но в последнюю минуту оставлен на земле. Для чего? Для того, чтобы написать этот очерк?

В следующую секунду небо стало обычным, переходящим в ночь.

Циолковский не хотел переезжать из Боровска в Калугу. Может, ему тоже открывалось живое небо.

В юности, когда я кропал первые стихи на пасеке в Небесных горах, в Каменное ущелье пришел продолговатый коричневый конверт со штемпелем «Почта космонавтов СССР». Из него выпала фотография Юрия Гагарина. Он и Маршак поддержали мои первые шаги в литературе.

Уже после гибели Гагарина я приезжал в Гжатск, Клушино. Так что вполне закономерно жизнь привела меня к очерку о Денисенко.

По характеру мне больше подходил хулиганистый Валерий Чкалов. Кстати, он кувыркался в гомельском небе. Я понимал его, как Есенина. А вот Денисенко пока был для меня загадкой.

Опять сомнения, сомнения. Эх, лучше бы я продолжал роман об англичанах, пытавшихся захватить залежи каменного угля у Байконура.

Хватит увиливать от очерка! Звоню Денисенко.

Герои бывают разные. Одни, скрепя сердце, соглашаются влачить свою героическую роль. Другие — нет. Жил я когда-то на улице дважды героя. Так его затаскали по всяким торжествам. Совершенно измученный, отчаявшийся, опохмеляться он приходил к своему бронзовому бюсту в сквере. Вынимал бутылку спасительного портвейна и предлагал: «Давай, Петька, тяпнем! Невмоготу…»

Григорий Кириллович, как я слышал, не охотник изображать свадебного генерала. И если уж заманили на мероприятие, старался уйти до фуршета. Лучше по улице пройти человеком. Поздороваться с кем-то, перекинуться словом. Почувствовать себя подключенным к жизни города.

Очерк заказали? О нем? Сколько людей хороших, а вы опять о Денисенко? Да вы что, сговорились?

Пришлось доказывать, что он — не просто человек, а символ. Писать о нем — значит, коснуться многих судеб. И Гагарина в том числе. Приближается 50 лет со дня его полета. С помощью Татьяны Викентьевны из редакции «Нёмана» удалось склонить Денисенко к согласию. Ладно, пишите что хотите — он не против художества. Но факты не искажать! Это история. Но какая-то сердитость в нем осталась. Сколько людей хороших вокруг, а видят его одного…

Бросаюсь в другую сторону:

— А как вы к книгам относитесь? Стишками не баловались?

— У меня библиотека — три тысячи томов. С 1947 года начал собирать. В основном — книги по авиации, космонавтике, классика. Что касается стихов — Бог миловал. За меня Твардовский все написал. Сегодня в книжные магазины — не ходок. Много лишнего издается.

— А что из прозы предпочитаете?

— Шолохова. «Они сражались за Родину». Приходилось по тем же степям к Сталинграду топать с полной выкладкой, с винтовкой. Как полагается. Подробности? При встрече.

Назначил встречу в Совете ветеранов, где дежурит три дня в неделю.10 мая 2010 года ему исполнится 89 лет! А он на добровольной службе.

В центре города на укромной улочке Баумана нахожу здание, где разместился Гомельский Совет ветеранов. Чистота. Уют. Порядок. Ковровые дорожки. Изредка бодро трещит телефон — не прерывается связь с миром. Вот и кабинет, где приветливо сияет звездочка героя моего еще не написанного очерка.

Первое впечатление при встрече — официальное лицо, закованное в броню орденских планок. Заместитель председателя Совета ветеранов Григорий Кириллович Денисенко. Ну как к нему подступиться? Не получится разговора, не получится. Зря я ввязался в эту историю. Лучше сидел бы в малосемейке на



Г. К. Денисенко

Катунина и сочинял бы для «Мастацкай літаратуры» «Одиссею»… Короче, запаниковал.

Догадался Григорий Кириллович о замешательстве моем перед высоким начальством. Пригласил в кабинет поменьше, где легче было сосредоточиться.

Сидели друг против друга. Ни пылинки на нем. Идеальный герой. Эталон. И костюм его напоминает: в человеке все должно быть прекрасно.

Не чувствуется на его плечах тяжести лет. Он их снял на время, как полковничьи погоны. Голос ровный. Речь правильная. Привычно отвечает на заранее угаданные вопросы. Не слышно в его ответах усталости.

Постепенно раскрывается его жизнь. Не в подробностях, а в главных чертах.

Родился будущий летчик в крестьянской семье на Харьковщине. В сороковом году окончил десятилетку. Куда идти, какую профессию избрать? Все решил приезд в школу инструктора Славянского аэроклуба. Увлекся собиранием моделей. Поступил в Славянский аэроклуб, начальником которого был Соколовский, инструктором Калиберда, командиром звена Борщёв. А вот имена их, за давностью лет, запамятовал. Закончил аэроклуб — и тотчас призыв в армию. Записали в кавалерию. Случайно встретил в коридоре знакомого по аэроклубу инструктора: «А ты почему здесь? Твое место в Ворошиловградской школе военных летчиков».

Закончил ее в сорок втором году. Инструкторы улетели в Уральск. Курсантам пришлось добираться пешком. Ах, Сальские степи! В октябре они выглядят еще безотрадней. Что там росло, кроме полыни да ковыля? Шли дожди. Или девичьи слезы? Села разбросаны на тридцать, сорок километров. Застревали в них на три дня. Но для курсантов и этого срока было достаточно, чтобы познакомиться с местными девчатами. Чем заканчивались эти встречи? Сколько слез, горечи, разбитых судеб. А могло ли быть иначе? Как будто вихрь подхватил и понес по свету...

В Сталинграде погрузились на теплоход. До Куйбышева. Оттуда уже поездом в Уральск. Осваивали штурмовик Ил-2. Получили их к 42-му году. В июне 1943-го отправлен для боевой подготовки в Рязанскую область, город Сасово. В октябре Денисенко вылетел на фронт под Киев.

Обо всем этом хотелось бы рассказать подробней. О переживаниях недавнего курсанта. О больших и мелких событиях его жизни. О товарищах, окружавших его. Но в 11 часов Григория Кирилловича ждало то ли совещание, то ли пленум. А я пришел в десять. На все 89 лет его жизни у меня был всего час. Выдумывать? Пожалуйста. Но я должен придерживаться фактов. Так что приходится отбросить художества.

Командиром эскадрильи был Дылько, родом с Гомельщины. Дивизией командовал Байдуков. Каманин возглавлял 5-й штурмовой авиационный корпус.

3 ноября 43-го года состоялся первый полет Денисенко с командиром Дылько. «Делай как я», — вот и весь инструктаж перед полетом. Денисенко оказался способным учеником. За Корсунь-Шевченковскую операцию он был представлен к званию Героя Советского Союза. Обыкновенно наградные списки летчиков шли отдельно. Григорию Кирилловичу не повезло. Он попал в общевойсковой

список и Звезду Героя получил только в 1946-м. И ордена получал — то густо, то пусто. Но он принадлежит к людям солнечной стороны. Видит прежде всего хорошее. Жив остался — разве это не награда?

Воевал на 1-м и 2-м Украинских фронтах. Под крыльями его самолета проплыли Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия, Австрия. Война для него закончилась в Чехословакии.

При встрече с Денисенко мне хотелось расспросить его о многом. И не только о войне. Например, как выглядит Прага с неба? Ее, конечно, не бомбили. Прага — самое дорогое сокровище Европы. Кощунство — бомбить Карлов мост, Градчаны, Вышеград.

А венгерские степи, о которых я знал по стихам Шандора Петефи...

Вряд ли такие мысли занимали штурмана 235-го штурмового авиационного полка. Под ним была вражеская территория, и не на строчки Петефи обрушивал он смертоносный груз, а на вполне определенные цели.

Интересно, что он думает, глядя на навязанного ему собеседника? Разве я видел, как горят вражеские танки, автомашины? Разве поливал огнем вражескую пехоту с пятнадцатиметровой высоты? Недаром фашисты называли наши штурмовики «черной смертью».

Как же я смогу написать о нем?

Повторяю, я — писатель. На журналистской каторге впервые. Отвечаю за себя, за каждое слово. Обращаюсь к источникам. Но и источники порой впадают в грех искажения. Поэтому говорю с Денисенко, не полагаясь на газетные и журнальные публикации, сделанные порой наспех. Сколько боевых вылетов сделано им? После неоднократных уточнений нахожу цифру, которой можно верить, — 197. Результативно воевал этот внешне невозмутимый человек. Недаром несколько лет ушло на подготовку. И отличные у него были учителя. Но меня интересует прежде всего он. А Григорий Кириллович избегает освещения своей особы. Как в «Слове о полку Игореве» — центральное лицо, живописующее поход, остается незримым. Разговорить Денисенко не удается. Какие у него слабости, пристрастия?

Один мой знакомый журналист маниакально любит рыбалку и всех своих героев наделяет этой страстью. Даже тех, кто сроду не держал в руках удочку.

Не знаю, любит ли Григорий Кириллович рыбалку, но одна его страсть мне известна. Он — биограф своего полка. Сколько документов прошло через его руки. Сколько человеческих судеб. И не только через руки. Точнее будет сказать — через сердце. И оно пока не сдает.

Я располагаю минимальными сведениями о нем.

В 24 года закончилась для него война. Я захватил только краешек ее, но помнятся прожекторы, зенитки, крохотный самолетик, пытающийся ускользнуть от слепящего света в ночную тьму, а вместо этого угодивший на дно Горыни.

При встрече с Григорием Кирилловичем узнал, что под Ровно, где я находился в радиолокационной части, был наш аэродром, где не раз приземлялся Денисенко. Мое пребывание на фронте прервал генерал с грозной фамилией Громадин: попался ему на глаза я, шестилетний «вояка», — и отправили меня в тыл, а точнее, в Лещинец, на окраину Гомеля, галдящую цыганятами...

У Григория Кирилловича впечатлений хватило бы не на один том. Но, как мы знаем, за него о войне все сказал Твардовский... И он не собирается много распространяться. Для него эта тема — не прогулка по нынешнему Гомелю, выложенному плитками.

Как складывалась его судьба в послевоенные годы? Может создаться впечатление, что он, привыкший к воинской дисциплине, всю жизнь проходил по одной половице, которая не очень скрипела. Вряд ли это было так. Просто он в минуты опасности умел сосредоточиться, контролировать свою энергию, эмоции.

В небе он сбил три вражеских самолета, на земле уничтожил двадцать. Задачей штурмовиков было прикрытие пехоты, выведение из строя вражеской техники.

— А падать приходилось?

— А как же? — удивился он. — Но, слава Богу, в плен не попадал.

Во всем он привык видеть солнечную сторону.

Военный человек умеет обходиться без лишнего. Денисенко не нуждается ни в водке, ни в куреве. Таким он был и в 1954 г., когда стал начальником Саратовского аэроклуба. Здание его находилось в центре города. До войны в нем размещалось Германское консульство. Ныне здание аэроклуба временщики пытаются снести и воздвигнуть на этом месте нечто суперсовременное. Что им история! А ведь в этом аэроклубе учился Юрий Гагарин. Не может Григорий Кириллович уступить историю ни фашистам, ни олигархам.

Город без реки — не город. А у Саратова Волга. Вот где можно душе русской распахнуться во всю ширь. Сколько раз приходил к реке Гагарин за время учебы? Что думалось, о чем мечталось? Чувствовал ли он, что ему суждено совершить нечто великое? Когда и от кого он услышал впервые слова Чкалова: «Если быть, то быть первым»? Наверно, живет в человеке отголосок будущей судьбы. И окружающие слышали его. Способствовали становлению, возмужанию смоленского паренька. Недаром выбрали комсоргом. Не потому, что начальство посоветовало. Просто видели — лидер. Я перевидел немало фотографий Гагарина. Почти на всех он улыбается. Но самую впечатляющую показал мне журналист Ларионов. Сделанную перед полетом. Гагарин на ней без улыбки, наедине с собой. Знал, на что идет. Но отступать было не в его правилах. Не став космонавтом, Гагарин мог прожить на земле долгую жизнь. Он так любил траву, воду, все живое. Мы говорим — обыкновенный герой. Но, глядя на эту фотографию, понимаешь: непрост был этот человек. И кроме личной судьбы носил в себе судьбу всего человечества.

А вся долгая жизнь Денисенко — разве это не служение своему времени и государству? Не в этой ли подключенности к жизни общества секрет его долговечности?

Юрий Гагарин в своей книге «Дорога в космос» тепло отзывается о своем инструкторе Дмитрии Павловиче Мартьянове и Герое Советского Союза Сафронове, которые были примером для него. Конечно, ловил он и каждое слово Григория Кирилловича, и кое-что записывал, чтобы запомнить на годы: «Воля — это прежде всего способность управлять своим поведением, контролировать свои поступки, преодолевать любые трудности с наименьшей затратой сил, быстро и уверенно выполнять поставленные задания».

Этими словами Юрий Гагарин будет руководствоваться всю оставшуюся жизнь.

Впрочем, Григорий Кириллович предостерегает меня от излишнего подчеркивания своей роли в воспитании Гагарина.

«Для нас он был таким же курсантом, как остальные. И воспитанием его занимался не один я, а весь коллектив».

Что ж, пускай будет так.

Когда радио сообщило, что в космосе советский гражданин, не сразу поверилось, что это тот самый Юрий Гагарин. И только глянув на газетный снимок, Денисенко узнал бывшего курсанта.

Интересовался я, встречался ли Григорий Кириллович со своим воспитанником после полета?

Оказалось, Николай Петрович Каманин, руководитель Центра подготовки космонавтов, организовал встречу ветеранов с космонавтами в Гжатске.

Я ночевал в этой гостинице раньше. В номере на стене простенький портрет А. Т. Твардовского, и с ним мне не так было одиноко.

Однажды я послал ему стихи. Ответила мне Караганова из «Нового мира»: Александр Трифонович познакомился с вашими стихами и просил через некоторое время прислать новые». То есть, он оставлял мне какую-то надежду. Но больше я не докучал автору «Василия Тёркина».



Фото от Юрия Гагарина на память своему учителю.

Утром я поехал в Клушино. Обыкновенное село. А вот поди ж ты — знаменито на весь свет.

Не понимаю, чего я носился по следам Циолковского, Гагарина?

Как будто предвидел, что все это мне понадобится... Только в Житомире не побывал, в тихом домике, где вырос будущий Главный конструктор. Но в Коктебеле, где Королев мастерил свои первые планеры, был.

Я почему так разбрасываюсь в своем очерке. Ищу героя, а он уходит в толпу. О ком угодно готов рассказывать, только не о себе. Вот и на пенсии окружает себя однополчанами, живыми и ушедшими. Собирает о них материалы. Идет дежурить в Совет ветеранов. Коллектив — его среда обитания. Он удивительно совпал с эпохой. Сегодня его коробят дурацкие пустые книжки, нелепые телепередачи. Да и серьезное многое отсекает. Мне кажется, в его громадной библиотеке не нашлось места для Солженицына. Зачем он ему. Он знает — были ГУЛАГи, но было и другое.

В Древнем Египте существовал в искусстве канон, нарушать который было непозволительно. Вот и Денисенко существовал и существует в каноне советского человека. Ему не тесно. Он — не только Герой Советского Союза, Почетный гражданин Гомеля и Почетный солдат авиационной части. Но я сознательно не перечислял всех его наград. Это все-таки очерк, а не парадный мундир героя.

Я не успел расспросить его о семье и этим обеднил его образ.

Григорий Кириллович взглянул на часы, намекая: разговор окончен. Прикоснулся к моему плечу: «Ну, я побежал».

И действительно побежал по коридору туда, где в Совете ветеранов начиналось какое-то совещание и его присутствие было необходимо.

Подумалось: и в 89 лет он живет не прежними заслугами, а заботами нынешнего дня.

Сколько вместили эти 65 лет, прошедшие со дня Великой Победы. В том числе и полет в космос Юрия Гагарина, к воспитанию которого Денисенко причастен. И все-таки Григорий Кириллович прав. Он — не единственный герой в том же Гомеле.

Знал я скромнейшего человека, бывшего летчика Петра Семеновича Касьяненко.

В 1941 году бомбил Берлин, в 1945-м воевал с японцами. В 1998-м выпустил сборник стихов. Вот одно из них.

Комета

Когда-то над юностью светлой,
В безмолвии звездных глубин,
Летела, летела комета,
Сияньем звала голубым.
Ночами светила бессонно!..
Сбивались газетчики с ног.
Но что ж я?
Сиянье запомнил,
А имя ее не сберег.
Теперь, когда юность далече
Ошибка мне стала видна:
Я думал, что много их встречу,
А встретилась только одна.

А Герои Советского Союза Серегин и Мухин? Разве они не достойны нашей памяти... Снова мне мерещится гранитная плита с мольбой Тамерлана: «Люди, вспомните обо мне...»

В последнее время мы все реже вспоминаем Юрия Гагарина.

Совершил первый прыжок в космос. А дальше?

Ликующая Красная Площадь. Мелькание стран и народов. И все это с такой быстротой. Куда той центрифуге. И что-то случилось. Непоправимое. Да разве с ним одним?

В поисках каких-либо сведений о Денисенко я вышел на известного журналиста, живущего в Гомеле, не раз писавшего о Григории Кирилловиче. Да и у него самого судьба складывалась интересно.

В 1991 году был разрекламирован проект. Собирались запустить в космос журналиста. Среди кандидатов на полет был единственный журналист из Беларуси, аккредитованный на Байконуре, Владимир Семенович Ларионов.

Ему принадлежит множество публикаций об авиации, космосе.

И странно, что издатели, толкующие сегодня о социально значимой литературе, до сих пор не заинтересовались таким автором.

Полетел в космос другой журналист. Японец Тайехиро Акияма. После полета посетил Гомель. Снимал фильм о Чернобыле. Для японцев это особенно жгучая тема.

Ларионов занят преподаванием физики и астрономии в Гомельском городском лицее № 1.

Герой Советского Союза Денисенко получил официальное приглашение на Парад Победы на Красной Площади, который состоится накануне его 89-го дня рождения.

А мне вспоминается крестьянский домик, перевезенный в Гжатск из Клушино. На столе ученическая тетрадь, в которой рукой маленького Юры Гагарина выведено стихотворение Ивана Никитина:

Под большим шатром голубых небес,
Вижу, даль степей зеленеется...

В воинскую часть, в которой Григорий Кириллович числится почетным летчиком, Елена Агина отправилась одна.

* * *

«Поколение воевавших уходит. Это серьезное обстоятельство для общества. Ибо это последнее поколение, которое с абсолютно чистой совестью могло считать себя еще при жизни выполнившим долг перед историей с полнейшей наглядностью», — написал эти слова в книге «Ледовые брызги» Виктор Конецкий, писатель и моряк, более четверти века назад. Что же говорить о дне сегодняшнем. Ветеранов Великой Отечественной уже по пальцам считать можно. Обстоятельство для общества действительно серьезное. Потому что вместе с

военным поколением исчезает из повседневной жизни, из сегодняшней нашей яви живая, непосредственная связь с годами Великой войны и Великой Победы. Даты, факты, события, люди неумолимо уходят в прошлое, становясь достоянием истории. Прошлое же беспощадно мстит человеку за пренебрежение к своим урокам, за неуважение и беспамятность.

И не доведи нам, Господи, когда бы то ни было, проходить эти уроки заново...

Сегодня 6 апреля 2010 года. Утро. Серое и промозглое.

Проехав за ночь чуть не через всю Беларусь, от Гомеля до Жабинки, добираюсь отсюда на электричке в Березу, в расположение 927-й истребительной авиационной базы. Поводом для этой поездки послужила биография человека, который вниманием и уважением современников, слава Богу, не обижен. Да оно и понятно.

Григорий Кириллович Денисенко — бывший летчик, воевавший в штурмовой авиации, единственный оставшийся в живых в Гомеле Герой Советского Союза, Почетный гражданин города, заместитель председателя Совета Ветеранов. В свои 89 (!) лет он бодр и энергичен, постоянно в делах, на людях, на виду.

О Григории Кирилловиче, о его боевом пути и послевоенной службе, в том числе о его причастности к судьбе Юрия Гагарина, писали много и неоднократно. И фильм о нем снят. И крутили его не один раз по телевидению. Вот и недавно по каналу «Лад» показали. Это хорошо, даже очень здорово. Только нам с поэтом Юрием Фатневым, пытающимся по заданию редакции журнала «Нёман» побеседовать с Денисенко, от этого, как говорится, не легче, а совсем даже наоборот. Потому как корреспондентов и писателей всяческих Григорий Кириллович перевидал уже достаточно, отвечать на одни и те же вопросы ему давно надоело, обо всем писано-переписано. Факты биографии (на то они и факты), в каком порядке ни тасуй, другими не станут.

Надеяться на то, что человек в короткой беседе с незнакомыми людьми вдруг раскроется и выдаст что-нибудь этакое, сенсационное, тем более несерьезно.

Правда, в редакции подчеркнули, что Денисенко является почетным солдатом такой-то и такой-то авиационной части, потому побывать там просто необходимо: и связями с ветераном поинтересоваться, и сегодняшним днем военных летчиков.

А пока вопрос посещения этой самой авиационной базы утрясался, как положено, с высоким военным начальством, и состоялась короткая встреча с Григорием Кирилловичем.

Не столько записываю общеизвестные факты его биографии, сколько наблюдаю за ним. Постепенно немного оттаял, примирился с присутствием незнакомых людей и их банальными вопросами. Говорит уже спокойно, обстоятельно, иногда с легкой улыбкой вспоминает какой-нибудь курьезный эпизод. Жесты больших красивых рук несуетливы. Их легко представить на штурвале самолета.

Потом, уже на базе, в рассказах о приезде туда Григория Кирилловича, я отметила уважение к его бодрости, неутомимой деятельной энергии...

Стылая утренняя электричка несет меня по Брестчине. Едет, в основном, рабочий люд. С шумом разъезжаются двери, впуская новых пассажиров и зябкую сырость. Ежась после полубессонной ночи, смотрю, как мелькают за окном размытые туманом поля с озерками свинцовой воды в низинах, призрачный частокол лесополосы. Вода и под насыпью дороги. Темная, до самых деревьев. Они еще совсем голые. Где-то в районе станции Тэвли грохот электрички вспугнул двух уток...

Потом, уже перед отъездом с базы, смотрела, как пара МиГов кружит в белесом небе, отрабатывая фигуры пилотажа для предстоящего Парада Победы.

А тогда, серым утром, неуклюжий взлет этих уток, если и похожих на самолеты, то на какие-нибудь довоенные, напомнил мне, куда и зачем еду.

Да, и еще о полетах: сегодня должны состояться плановые, так что мне повезло — в неполетные дни авиабаза мало чем отличается от обычной, так сказать, наземной, части.

В течение дня мне не раз скажут о моей везучести. Утром, впрочем, мне так не казалось. Пасмурно, того и гляди дождь пойдет. Какие уж тут полеты... Однако на подъезде к Березе в небе наметилось размытое светлое пятно. Надо понимать — солнце. И на том спасибо.

На вокзале, как и было условлено, меня встречали. Отвезли в расположение части. Постепенно от самого факта моего присутствия здесь, на территории этой самой 927-й истребительной авиационной базы, она же Кенигсбергская, Краснознаменная, ордена Александра Невского и, согласно исторической справке, один из ключевых организмов ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь, успокаиваюсь. Мысли упорядочиваются. Да и вообще сама деловая обстановка части, присутствие рядом доброжелательных, вежливо предупредительных офицеров, по-военному четкое и быстрое решение вопросов как-то очень хорошо действует.

«Понимаете, — объясняет мне Анатолий Анатольевич Булавко, общительный полковник с веселыми глазами и задорным седеющим ежиком на голове, — для военных нет слова «невозможно», а есть поставленная задача, которую нужно выполнить». Полковник Булавко, заместитель командующего войсками СЗОТК ВВС и войск ПВО, здесь в командировке. Увлеченно объясняет, что авиация — дело совершенно особенное. Человек ведь существо от природы земное, бескрылое, а тут поднимается в воздух и летит.

Такая вот поэзия.

А вообще-то среди всех дел и забот ощущается едва уловимая тень. Через несколько месяцев прославленная авиабаза перестанет существовать, сольется с Барановичской. Авиация — дорогая роскошь для государства... Дорогая?

Военные, как известно, приказов не обсуждают. Они их выполняют. Добросовестно. А я — человек невоенный, и мне за Державу обидно.

Очень. «...Я понимаю также, что все, относящееся к человеку, нельзя ни сосчитать, ни измерить». Это не я, это Сент-Экзюпери, «Военный летчик»...

А пока, выполняя свои повседневные служебные обязанности, они опекают меня, свалившуюся на их головы, стараясь по возможности больше показать и рассказать.

Топая впереди подполковника А. И. Лутовича, на чьем попечении я нахожусь с утра, едва успеваю ухватить глазами и памятью увиденное: учебный полигон и комплексный тренажер, казармы, клуб, учебные классы.

На стенах — стенды: краткая информация об истории базы, спортивные и учебные достижения личного состава, фотогазеты. В учебном классе на доске схемы, цифры — детали предстоящего задания. Сегодня — полеты. Накануне здесь готовились летчики. На столах маленькие, чуть больше ладони, макеты самолетов. Держа в руках такой самолетик, пилоты отрабатывают наглядно, в движении, предстоящий полет. Вечером, после занятий, и утром в день полета пилот должен досконально ответить по всем деталям своего полетного задания. Только после этого он к полету будет допущен.

Полеты состоятся в свое время.

А пока мне показывают фотографии Денисенко, сделанные во время его приезда на базу. Десятки фотографий: Георгий Кириллович с личным составом, с командирами, на аэродроме, снова на каких-то мероприятиях, уже в городе, опять на базе, награждает значками отличившихся солдат, а вот — в кабине МиГ-29. Денисенко ведь на тяжелых самолетах летал, на штурмовиках, объясняют мне, а здесь истребители, вот он и захотел посидеть в самолете.

Мелькают на дисплее компьютера фотографии, и везде фигура Григория Кирилловича в темно-синем парадном мундире при всех регалиях на фоне зеленой повседневной формы солдат и офицеров части...

А еще мне покажут фотогазеты со снимками почетного солдата как во время этого визита, так и давними, уже историческими: Денисенко — курсант Ворошиловградской авиашколы пилотов в 1941 г., вот он — в Саратовском аэроклубе в

1954-м, а вот с Юрием Гагариным, уже после его космического полета... В клубе — красивый стенд с приказом о зачислении Григория Кирилловича Денисенко в списки 927-й авиабазы почетным солдатом. Так что связь с ветераном живая, неформальная.

В Комнате боевой славы моим гидом стал старший лейтенант Александр Николаевич Майоршин, старший помощник начальника отделения идеологической работы. Во время нашего разговора приводят на экскурсию учащихся Березовского городского профессионального лицея строителей. Разнокалиберная орда тинейджеров, толкаясь, располагается на свободном от экспонатов пространстве...

Вместе с ними слушаю краткую историю части.

Сформирована 1 ноября 1993 года на базе 927-го Кенигсбергского Краснознаменного ордена Александра Невского истребительного авиаполка, который свою историю ведет с 29 июня 1942 года, когда он был сформирован при Руставской военной школе летчиков.

Боевые действия полк начал 19 июля 1942-го. Потом героические бои на Курской дуге. Боевые вылеты... Потери... Награды... Имена отличившихся летчиков...

В составе 1-го Украинского фронта полк принимал участие в освобождении Киева. После переформирования и пополнения молодыми летчиками с июня 1944-го снова в боях на Прибалтийском направлении и в составе 1-й Воздушной армии 3-го Белорусского фронта.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5.04.1945 г. полк награжден орденом Александра Невского, а за активные боевые действия в районе Кенигсберга присвоено звание «Кенигсбергский»...

За скупыми фактами — сотни воздушных боев, тысячи (3328!) боевых вылетов, сотни и сотни успешно выполненных заданий. Имена погибших. Списки награжденных.

Среди экспонатов — уникальные рукописные Боевые листки 1943—1945 годов. Ветхая, от времени пожелтевшая бумага, выцветшие чернила, написанные цветными карандашами заголовки...

В части бережно сохраняют драгоценные реликвии.

После войны — своя история: Ленинградский военный округ, Венгрия, Австрия... К сентябрю 1955 года полк перебазирован на аэродром Осовцы Березовского района Брестской области и вошел в состав 26-й Воздушной Армии Белорусского военного округа.

Потом — Куба... И снова будни.

Год за годом — полеты, учения, участие в военных парадах, в том числе весь личный состав полка принимал участие в юбилейном параде в Домодедово в июле 1967 года.

В 1968 году полк награжден орденом Красного Знамени.

За всем этим — тысячи и тысячи учебных (и не только) полетов.

В истории полка есть и такие эпизоды, в которых высокий уровень летного мастерства и личное мужество пилотов только в совокупности служили залогом успеха. Например: в 1973 году воспитанник полка капитан Г. Н. Елисеев впервые в мире совершил бессмертный таран на реактивном самолете. А в 1976-м — командир эскадрильи подполковник В. Я. Котов с риском для жизни спас боевой самолет, падавший на город Белоозерск, за что горожане избрали его почетным жителем своего города.

Июнь 1983-го — июль 1984-го — Афганистан... Цифры боевых вылетов, уничтоженных объектов. Списки награжденных...

Кстати, об Афгане. В Комнате боевой славы меня заинтересовал деревянный крест с иконой Божией Матери, который спокойно, как так и надо, стоял рядом с корпусами авиабомб и нурсов. Оказалось — дар отца Георгия, настоятеля Свято-Михайловского храма, который является частью уникального, единственного

в Беларуси Духовно-Патриотического комплекса, созданного в Березе при деятельном участии 927-й авиабазы и непосредственно связанного с ее сегодняшней жизнью.

На плацу перед храмом обычно принимает присягу молодое пополнение, а отец Георгий — частый гость в части.

Кроме храма в комплекс входит мемориал Памяти погибших в Афганистане жителей города, образцы техники, участвовавшей в боевых действиях на территории Афганистана, и с гордостью показанный мне фонтан с подсветкой, который, правда, еще выключен на зиму. Так что увидеть березовскую достопримечательность в полной красе не получилось. Но и сейчас, под мелко моросящим серым дождиком, мемориал впечатляет. Особенно ажурный, похожий на часовню, с летящим аистом под куполом, памятник павшим «афганцам» на фоне нахохлившихся вертолетов и БТРов...

С 1988 года полк осваивает новейшие самолеты МиГ-29.

Дважды — в октябре 2000-го и 3 июня 2005 года — базу посетил Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.

А сегодня — свои заботы. Сегодня плановые полеты. До них еще несколько часов, и заместитель командира базы по идеологической работе майор Александр Николаевич Харлан отвозит меня на аэродром. Терпеливо отвечает на мои маловразумительные вопросы.

От сильного ветра пытаюсь спрятаться за стеной арочного укрытия для самолетов, но ветер непонятным образом достает и сюда. Бетонные стены немного заглушают гул реактивного двигателя — это выруливает на взлетную полосу разведчик погоды. Последний контроль метеоусловий непосредственно перед полетами.

Вместе с Александром Николаевичем идем в ТЭЧ. Это технико-эксплуатационная часть, где проходит текущее обслуживание и ремонт самолетов. Для пущего «вживания в образ» мне разрешено посидеть в кабине самолета. Истребитель, кстати, одноместный. Летчик сам себе и пилот, и штурман, и стрелок. Только учебно-тренировочный самолет — двухместный. Это когда обучают новичка или после перерыва в полетах пилот поднимается в небо с инструктором, который в случае необходимости может взять управление на себя. Попутно вспоминаю рассказ Денисенко о том, что штурмовик тоже пытались сделать одноместным — чтобы меньше было потерь в личном составе. Вот только беда — тяжелый штурмовик в этом случае становится абсолютно беззащитным, его можно сбить буквально из пистолета, так как он должен идти очень низко, от 15 до 600 метров высоты, чтобы видеть свою цель. Так что пришлось делать второе место — увеличилась высота, потери, естественно, сократились...

Да, по стремянке до борта кабины я кое-как долезла. А вот дальше в короткой юбке не получилось. Обидно — хоть плачь... О подходящей для аэродрома одежде я не подумала. Тактичный Александр Николаевич успокаивает — никто на мои неуклюжие маневры на стремянке не смотрел.

Погладила борт, потрогала, еле дотянувшись, рукоятку штурвала... А вот Денисенко (помните фотографии?) в кабине спокойно посидел. В его-то годы. Так-то...

Неожиданно звук работающего двигателя заглушил все слова. Оказалось — после техобслуживания или ремонта обязательно проверяют двигатель на земле по всем параметрам, на всех оборотах. Самолет для этого закрепляют специальными тросами, так как собственные тормоза его не удержат. А датчики фиксируют показания работы двигателя. Это необходимо, чтобы избежать лишних проблем в воздухе. Самолет, как машину, на обочине не остановишь...

А на аэродроме — постоянный ветер. Огромное голое пространство продувается, кажется, со всех сторон. Харлан раздобыл у кого-то для меня теплую куртку, чтобы совсем не окоченела. Дела службы требуют его присутствия в другом месте, и Александр Николаевич старается перепоручить меня кому-либо из пилотов, тем более, что приближается время полетов.

Вот только летчики явно не расположены отвлекаться на посторонних, невесть зачем слоняющихся на каблуках по аэродрому, не склонны они сегодня к общению. И своим полетным заданием каждый занят, и вообще... Насчет «вообще» понятно — я на их месте тоже не стала бы общаться.

Но делать, однако, нечего, и майор Алексей Тиборовский соглашается быть моим инструктором на сегодняшнем предполетном занятии. Усадив меня в классе на свое место (сегодня будет Вашим), Александр Николаевич спешит по делам, от которых мой визит и так его достаточно отвлек.

Скоро начнутся занятия. Ждут возвращения разведчика погоды, чей вылет я и наблюдала на аэродроме. Только после сведения воедино всех данных, командир примет окончательное решение относительно полетов.

Класс быстро заполняется. По-деловому, без суеты, рассаживаются по своим местам. Среди зеленого камуфляжа коричневые кожаные куртки пилотов. Никаких знаков отличия. Любая лишняя мелочь на одежде может оказаться помехой.

Заместитель командира базы полковник В. В. Павленко ведет занятия, принимает рапорты наземных служб обеспечения и командиров эскадрилий о готовности к выполнению поставленной задачи. Докладывают командиры батальонов: технического обеспечения, аэродромного и материального обеспечения, связи и радиотехнического обеспечения, отдельного радиолокационного узла. Разведчик погоды, вернувшийся из полета, докладывает о метеоусловиях и работе средств радиолокации. Все четко и спокойно, даже буднично. Ни одного лишнего слова.

Проведена сверка единого времени.

Командир принимает рапорты старшего штурмана, начальника связи, руководителя полетов. Вся информация поступает в центр предполетной подготовки. На занятии ведется запись всех рапортов и докладов.

К самолетам летчики уходят минут за 20 до полета.

Для каждого полетного задания составляются плановые таблицы полетов. В них фамилии летчиков, время и длительность полета: важно знать не только время своего вылета, но и с кем ты находишься в воздухе одновременно. Небо только кажется пустым.

Уже на аэродроме, пытаясь отследить движение взлетевшего самолета, Тиборовский заметит: «Так же и в воздухе — ищешь противника, а он, белый на белом, не виден...»

Вот и последние минуты перед началом полетов.

Самолет, готовящийся к взлету, находится на попечении техника и механика. Последние проверки. Летчик уже в кабине, но самолет еще соединен пуповиной с землей: провода от микрофона техника соединены со шлемофоном пилота — есть детали, работу которых можно проверить только одновременно с земли и из кабины.

Но вот все закончено, техник и пилот расписались в ЖПС — журнале подготовки самолетов. Механик убирает колодки из-под колес. Сейчас включится двигатель.

Под самолетом — белый круг. Зона особой чистоты. В момент начала работы двигателя в него может засосать камешек, что грозит повреждением.

Самолет, еще медленно, начинает выруливать с места стоянки. В этот момент техник касается кончика крыла, как бы гладит его на ходу. Это обязательно. Это — ритуал.

Вспомнилось: Денисенко, уже прощаясь с нами, коснулся плеча Юрия Фатнева: «Ну, я побежал». Что это — личная привычка или этот же ритуал, из тех военных времен, когда жизнь летчика и самолета буквально зависела от рук техников и механиков?..

А самолет уже катит к взлетной полосе. Перед ней — последняя проверка. И бывает — взлет отменяется. Сопла извергают потоки воздуха, и от шума двигателя закладывает уши... Но вот истребитель уже на взлетной полосе. Изящная морда задирается, самолет стремительно набирает скорость и высоту.



Боевое звено МиГ-29.

И вот уже с трудом успеваешь заметить его в небе.

Ветер.

И гул моторов. И с земли, и с воздуха. Но невозможно оторваться от этого зрелища...

Полеты будут продолжаться до вечера. Среди прочего — подготовка к Параду Победы.

Господи, пусть бы только для этих парадов они и тренировались...

Уже уйдя с аэродрома, слежу несколько минут за поднимающимися в небо самолетами. Летчики, которые пока свободны, собравшись группой, провожают глазами каждую взлетевшую машину. Все внимание — там, на аэродроме. И видят они, конечно, совсем не то, что я.

Прощаюсь с майором Тиборовским, который сейчас присоединится к своим товарищам. Его полет — еще впереди.

Командирский уазик увозит меня с аэродрома в часть. Скоро уезжать.

Не все, конечно, войдет в очерк — объем материала не позволит. Но о стольком еще хотелось бы сказать. Хотя бы вот — недавно впервые в истории этой базы была осуществлена посадка на шоссе. Для чего? Оказывается, в первые недели Великой Отечественной большая часть самолетов была уничтожена не в боях, а на аэродромах. Поэтому для быстрого рассредоточения с аэродромов надо уметь садить самолеты на любые приемлемые покрытия.

А впечатления от такой посадки, говорят, необычные: взлетная полоса — белая, а шоссе, наоборот — темное. Все переворачивается в представлении, как позитив и негатив...

Пришел Харлан. Заметно утомленный за суетный день. Благодаря заботам этого спокойного и не по-армейски мягкого, тактичного офицера мое пребывание на авиабазе оказалось более беспроблемным и результативным, чем я надеялась.

Над перроном в Березе моросит мелкий дождик. А с неба периодически накатывает, отражаясь от низких облаков, гул реактивных двигателей невидимых самолетов.

Сегодня — день полетов.

9 мая 2010 года пройдут по Красной Площади ветераны. И среди них наш Герой. Родившийся на Харьковщине, он давно живет в Гомеле, почетный гражданин этого города, которому есть кем гордиться. Сколько славных имен можно было бы назвать. Поэты, художники, ученые, люди разных профессий. Первые в этом ряду — ветераны.

Поздний вечер. Весенняя прохлада врывается в открытую форточку. Возле Сожа в лозняке распушились котики. В сосновом бору почти не осталось снега. И там, где просохли проталины, мохнатится в серебряной шубке сон-трава.

Не спится. Григорий Кириллович перебирает сохранившиеся материалы, и чудится невероятное: вместе с ним на брусчатку Красной Площади вступают миллионы погибших на войне и уже в мирное время, от застарелых ран. Вот его однополчане, инструкторы Саратовского аэроклуба Мартьянов и Сафронов, командир эскадрильи Дылько, руководитель Центра подготовки космонавтов Каманин...

И в хоре голосов, плывущих над Москвой, различает ветеран голос своего воспитанника Юрия Гагарина: «Люди, вспомните обо мне...»

Живое небо распахнуто над ними.

Потомки Победы

НИНА ЧАЙКА

Решение принято — впереди дорога!

Немного истории

5 октября 1918 года Декретом Советского правительства были учреждены Железнодорожные войска Красной Армии. Этот день считался в Советском Союзе Днем железнодорожника.

За период с 1926 по 1940 годы на территории Белоруссии были построены линии Орша—Лепель, Гомель—Чернигов, Рославль—Могилев—Осиповичи. После воссоединения западных и восточных областей республики велись интенсивные работы по восстановлению направлений Полоцк—Молодечно—Лида—Мосты, расширялись станции, велись вторые пути практически по всей стране. За тринадцать лет республика фактически была покрыта сетью железных дорог по всем направлениям, и в этом, без сомнения, заслуга Железнодорожных войск.

С июня 1941 года все железнодорожные войска были переведены в прифронтовые районы для обеспечения и усиления пропускной способности железных дорог. Под огнем, отбивая атаки гитлеровской армии, они восстанавливали железнодорожное полотно, мосты, тем самым обеспечивая стремительную эвакуацию мирного населения и промышленных предприятий в тыл страны. Особенно жестокие бои шли при обороне Минска, Гомеля, Орши, Смоленска.

10 июля 1941 года была сформирована 30-я отдельная железнодорожная бригада, которая за боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны получила звание гвардейской.

Четырнадцать бригад численностью в 110 тысяч воинов-железнодорожников осуществляли в 1944 году прикрытие стратегической наступательной операции «Багратион», благодаря чему четыре фронта были обеспечены всем необходимым для ведения военных действий по освобождению Белоруссии. В период подготовки и проведения операции «Багратион» была осуществлена бесперебойная доставка 77 тысяч вагонов с войсками, техникой, боеприпасами, вооружением и другими материальными ценностями. И все это в условиях боевых действий, под огнем артиллерии и постоянных налетов вражеской авиации. Во время проведения операции «Багратион» белорусскими железнодорожными войсками было восстановлено 6140 километров главных путей, 1584 километра станционных путей, 634 больших и средних мостов общей протяженностью 65 километров, 577 искусственных сооружений, 21 тысяча километров связи.

За мужество и отвагу в годы Великой Отечественной войны 26 воинов-железнодорожников стали Героями Социалистического Труда, один был удостоен звания Героя Советского Союза, более 35 тысяч награждены орденами и медалями.

Благодаря усилиям железнодорожных войск, уже 3 июля 1944 года из Орши по восстановленному главному пути был отправлен поезд на Борисов, а 10 июля открыто движение поездов до Минска.

Все послевоенные годы железнодорожные войска были одной из важнейших структур по восстановлению народного хозяйства. В их трудовом списке: строительство подъездных путей к Белорусскому шинному комбинату, БелАЗу, Белорусскому металлургическому комбинату в Жлобине, участие в ликвидации



Генерал-майор Анатолий Яковлевич Степук.

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС — замена в рекордные сроки подъездных путей к четвертому энергоблоку и т. д.

1991-й — год распада Советского Союза — стал серьезным испытанием для железнодорожных войск, которые до этой поры входили в реестр Вооруженных Сил Советского Союза. В Белоруссии практически осталось несколько батальонов и бригад, которые к тому же были практически разукомплектованы, так как исполняли народно-хозяйственные заказы за пределами Беларуси.

* * *

Никогда еще в новейшей истории не было факта, чтобы важные преобразования, или точнее сказать, создание целого рода войск в рамках Министерства обороны любой страны носили персонифицированный характер. А именно таким создателем стал генерал-майор Анатолий Яковлевич Степук.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

В родной деревне Камень Лепельского района Витебской области Анатолий Яковлевич бывает как минимум два раза в месяц. Дорога недальняя, всего каких-то двести километров, и он с замиранием сердца попадает в параллельные миры, такие милые сердцу и в то же время тревожащие душу… Наверное, ничто так не волнует сердце, как простые напоминания об ушедших родных и любимых, ничто так не тревожит сердце, как то, что осталось после них…

Вот Жюль Верн, «Двадцать тысяч лье под водой», — последняя книга, над которой после тяжелой крестьянской работы по вечерам склонялся отец, но не успел дочитать ее до конца… Вот яблоня, которую они с братьями выкопали в лесу, отец ее привил, и лесная дичка превратилась в роскошное дерево, до сих пор приносящее огромные красные яблоки, ей уже больше семидесяти лет. А недавно с чердака принесли материнские кросны, на них она ткала льняное полотно, а потом шила сыновьям из него штаны и рубашки… В домотканых штанах и рубашках он ходил в школу до третьего класса. И дом… старый родительский дом, с которым связано столько воспоминаний.

…Яков Иванович Степук родился в 1888 году. Тогда в Беларуси вовсю гуляла эпидемия то ли тифа, то ли еще какой тогда неизлечимой болезни. Она буквально

выкашивала белорусские села. Добралась она и до этих мест. Родители умерли в одночасье, оставив сиротами четырех сыновей: Марка, Федора, Семена и Якова. Якову, самому младшему, было всего четырнадцать лет. Каждый устраивался как мог. Якова забрал к себе и увез в Невель старинный приятель отца. Был он предпринимателем средней руки, имел небольшой мясокомбинат, так что Яков работал у него разнорабочим и одновременно учился в церковно-приходской школе, что по тем временам было престижно.

Была в их роду одна глубокая страсть, которая передавалась из поколения в поколение, — любовь к лошадям. И не просто к лошадям, а породистым, скаковым, которые могли участвовать в соревнованиях. Заядлым любителем лошадей был и Яков. Однажды он попросил хозяина вместо зарплаты отдать ему жеребенка от породистой лошади. Вырастил его, сам объездил и стал принимать участие в гонках на ипподроме. Был он небольшого роста, легкий, подвижный — качества, столь необходимые для наездника, так что успех к нему пришел быстро. Яков стал побеждать на скачках, и на него во время конных соревнований даже начали ставить большие деньги. В родную деревню Яков приезжал фасонистым городским молодым человеком, местные девчонки не смели даже заглядываться на него. Зато он в один из приездов высмотрел красавицу Агафью, на десять лет младше него. Молодой человек влюбился в нее, и как оказалось, на всю жизнь.

К этому времени Яков уже перебрался в Санкт-Петербург, и там его карьера наездника продолжилась довольно успешно. Но в один из дней ему прислал письмо друг, в котором сообщил, что к его Агафье сватается молодой помещик, и, мол, свадьба уже не за горами… Все бросил Яков — городскую жизнь, славу наездника, обеспеченную жизнь, и на своем скакуне примчался в местечко Камень. Это было в 1903 или 1904 году. С этого момента начинается история семьи Якова Ивановича и Агафьи Ульяновны Степуков…

…Поселились родители на хуторе. Отец купил пять гектаров земли. Деньги накопил, работая на мясокомбинате и выступая на скачках в Невеле и в Санкт-Петербурге. Вначале построили баньку, в ней и жили молодожены первое время, потом возвели просторный дом. И пошли дети. Первым родился Михаил, потом Геннадий, Иван, между ними встала Тамара, а потом снова пошли сыновья — Виктор, Леонид. Когда отцу исполнилось 55 лет, а матери 45, у них родился шестой сынок — младшенький, Анатолий. Разница между старшим и младшим братьями была двадцать лет. Думали родители, что будет с ними жить на старости лет. Но так случилось, что именно младшенький первым ушел из родительского дома, став на долгие годы «путешественником». Но все равно, колеся по всей великой стране, он постоянно возвращался в местечко Камень, хотя бы на день-два, чтобы вдохнуть родного воздуха и снова отправиться в дорогу…

…До 1936 года родители вырастили огромный сад — только яблонь было семьдесят пять штук. Сад славился на всю округу. Отец вместе с сыновьями шел в лес, выбирал сильные красивые яблони, груши, привозил на хутор, сажал, затем прививал, и в результате деревья превращались в благородные сорта яблонь и груш. Кроме фруктовых деревьев было много кустов смородины, крыжовника, малины. Отец приобрел жернова, вручную мололи зерно, в ступе делали крупу. Еще у отца было около двадцати ульев. После любви к лошадям второй страстью его были пчелы.

Семья трудилась много и тяжело. Работали от зари до зари. Держали солидное хозяйство — большую семью надо было кормить. Летом дети ходили в лес, собирали грибы, так что зимой у них стояли бочки не только с капустой, огурцами, но и с душистыми рыжиками.

Все дети выросли трудолюбивым и старательными и в жизни добились многого. Спасибо за это родителям, которые постоянно наставляли: только труд и учеба выведут в люди.

И вот наступил 1936 год, а с ним пришла в эти края коллективизация.

Якову Ивановичу было сказано: сдавай все в колхоз, если не хочешь со всеми домочадцами отправиться этапом в Сибирь. И на семейном совете решили: дом, надворные постройки разобрать и перенести в деревню. Это было тяжелое время, особенно для родителей, здесь они поселились сразу после свадьбы, жили в любви и согласии, построили дом, вырастили сад, здесь родились дети… Но отец все решил правильно — этот поступок оценили односельчане, и на одном из собраний его выбрали председателем колхоза. Впоследствии в хозяйстве работали сыновья — Михаил, Виктор, Иван, Леонид.

Тамара окончила университет имени Максима Танка, преподавала русский язык и литературу, потом вышла замуж, уехала в Минск. Леонид стал серьезным ученым, доктором технических наук, ему принадлежит много открытий и разработок в сельскохозяйственной технике и внедрение ее в производство.

Все сыновья не то чтобы были приучены к технике, кажется, техника сама вошла в их жизнь с первым вздохом, — сколько себя помнили с детства, работали на ней с весны до поздней осени. Когда Анатолий в шестнадцать лет окончил десять классов, у него уже были права тракториста…

ВСТРЕЧА С КОСМОСОМ

Был у Анатолия Степука закадычный друг Колька Зябко. Учились в одном классе, вместе школу окончили. И вот однажды он говорит: «Давай махнем в Энгельс. Рядом, в Саратове, у меня сестры живут, не пропадем, как-нибудь устроимся, поступим в ремесленное училище, а там видно будет». Анатолий сразу согласился, потому что был очень зол на председателя: отработал целый сезон на тракторе, потом на комбайне, сапоги совсем прохудились, пошел к председателю просить денег, чтобы купить новые сапоги, а тот не дал. Захватив аттестат об окончании десяти классов, Анатолий вместе с другом махнул в Энгельс. Это было в 1960 году.

В училище зачислили сразу, рабочие специальности были очень нужны.

Год пролетел незаметно, пьянила самостоятельная жизнь, но и ответственность чувствовал за каждый свой поступок, во всякие компании не лез. После окончания учебы направили Анатолия на практику в Саратов, на завод «почтовый ящик № 96» токарем. Там строили военные боевые самолеты. Завод огромный — пятьдесят тысяч рабочих. Серьезный пропускной режим, железная дисциплина. Днем собирали самолеты, а ночью их грузили на железнодорожные платформы и куда-то увозили.

…Был апрель, в это время уже вовсю сажали огороды в окрестностях Саратова, Энгельса. И вот однажды друг попросил Анатолия помочь ему на бахче, семья выращивала арбузы. Ну, как не помочь другу. Анатолий, конечно же, согласился. Работа была очень тяжелая. Чернозем налипал на ботинки, лопату, которая через какое-то время превращалась в огромный ком, и ее с трудом можно было вытащить из черной грязи. Копали они так бахчу, и вдруг видят, с неба спускается светящийся шар, над ним огромный купол парашюта. Ребята бросили работу и начали наблюдать, что будет дальше. Шар спускается, а вокруг него кружат вертолеты. Когда шар приземлился, друзья бросились к нему, но место это уже плотным кольцом окружили военные, и что там происходило, не было видно. На следующий день весь мир ликовал — в космосе побывал человек! Это был Юрий Гагарин!

Анатолий с другом Колей Зябко были свидетелями этого невероятного события, они не уставали рассказывать всем, что своими глазами видели, как приземлился первый в мире космонавт. Им верили и не верили, но так было!..

Что-то изменилось в душе у Анатолия после этого события: ощущение простора и большой дороги, по которой можно и нужно пройти, не покидало

его после того апрельского солнечного дня. Проработав на заводе еще какое-то время, собрал денег на дорогу, попрощался с другом и уехал в Белоруссию.

Поначалу устроился в Витебске на станкостроительный завод, но надолго в городе не задержался — общежития не дали, на квартире жить накладно, да и родительский дом опустел: Леня и Виктор уехали, а родителям помогать надо… И он, окончив месячные курсы, получил должность бригадира в Бачейковской службе мелиорации. Тогда на Витебщине начинались большие мелиоративные работы: корчевали болота, копали траншеи, прокладывали дренажные трубы от Бешенковичей до Задорожья.

А вскоре Анатолию Степуку предстояла служба в армии.

Служба началась в учебном центре в Печах под Минском. Это был первый набор курсантов, у которых было среднее образование, до этого в учебку приходили и с восьмью, и даже с шестью классами. На первом же сборе им сказали: «Вы экспериментальная группа, будете принимать участие в серьезном деле, так что от занятий не отлынивать, быть предельно сосредоточенными, серьезными, а главное, чувствовать ответственность, возложенную на вас.

Что за эксперимент, узнали позже, когда каждому из них пришлось осваивать специальности, необходимые для того, чтобы танк двигался и стрелял. От того, будет ли успешным эксперимент, зависело, пойдет ли новая техника на вооружение в Белорусский военный округ, который тогда в системе Вооруженных Сил СССР, будучи пограничным, если можно так сказать, считался бронетанковым.

После окончания учебы выпускники были направлены в Полоцк, там, в Боровухе, стояли десантники и танковый полк. Анатолий был назначен командиром танка, затем старшиной роты.

— Теперь об этом уже забыли, но в шестидесятые годы существовала военная доктрина: в случае войны советские танки должны своим ходом дойти до Ла-Манша, — вспоминает Степук. — До Ла-Манша идти не пришлось, но когда начались события в Праге, танки Краснознаменного Белорусского военного округа действительно за считанные часы были в Чехословакии…

Как вспоминает Анатолий Яковлевич, они чувствовали к себе особое отношение со стороны командования, и от этого становились еще более серьезными и сосредоточенными. Настал момент, когда по тревоге их сняли с насиженного места, перебросили снова под Борисов, где они приняли 30 новейших машин Т-30. В экипаже было только три человека и абсолютная взаимозаменяемость специальностей. За пять дней они должны были пройти 1500 километров по лесам и болотам всех областей Белоруссии. Останавливались только на заправку, танк постоянно был в движении, и если отдыхал механик-водитель, на его место садился командир, и так все пять дней… Из 30 танков на базу пришло только восемь. И в результате испытаний машины были сняты с производства.

Затем пришли новые танки — Т-60, их прогнали точно так же, но маршрут удлинили до 1600 километров. На этот раз все машины вернулись на базу. За отлично выполненное задание участники похода получили благодарность от командования части.

…На втором году службы Анатолий Степук вместе с боевым товарищем Анатолием Горшковым написал рапорт, рапорт приняли, и они поехали поступать в Ленинградское ордена Ленина Краснознаменное училище железнодорожных войск и военных сообщений имени М. В. Фрунзе, которое находилось в самом центре города. Анатолий Горшков поступил на мостовой факультет, а Анатолий Степук на механический. После окончания училища кроме звездочек младшего лейтенанта увозил Анатолий в большую жизнь удостоверения экскаваторщика, машиниста тепловоза, крановщика, бульдозериста, грейдериста, сварщика, токаря.

Теперь, когда Анатолий Яковлевич вспоминает те далекие годы и пытается анализировать, как случилось, что в 1964-м он повернул свою жизнь в направле-

нии, далеком от родного дома, то причину видит только в одном: тот огненный шар, спустившийся на его глазах с неба, в котором был первый в мире космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, навсегда сделал его путешественником, пусть не космическим, но земным…

ЗЕМЛЯ КРУГЛАЯ…

На преддипломную практику Анатолия Степука направили в Белоруссию, в 30-ю Краснознаменную железнодорожную бригаду, которая дислоцировалась в Жодино. Ну как было не заехать к родителям в деревню Камень, где, к тому же, его ждала молодая жена. К тому времени Рая закончила учебу в Витебском медицинском институте и работала провизором в Лепельском военном санатории. Каждый день — семь километров туда, семь обратно, ближе аптеки не было, а молодому специалисту надо было отработать три года по направлению. Но Рая не жаловалась, словно чувствовала, что главные трудности у нее еще впереди…

Только вышел из автобуса, и первое, что услышал: «Анатолий, у тебя родился сын». Продолжателя рода Степуков назвали Игорем.

Красный диплом офицера об окончании училища железнодорожных войск давал возможность поступить в Академию, и в 1971 году Анатолий Степук в звании старшего лейтенанта был зачислен в Академию тыла и транспорта в Ленинграде. В 1975-м закончил ее по специальности военный инженер-механик железнодорожных войск Советской Армии и получил назначение в Сызрань на должность начальника штаба железнодорожной части. Начиналась совсем другая жизнь…

Железнодорожные войска никогда не были нахлебниками у государства. Они сами зарабатывали средства на развитие. Параллельно с прямым предназначением этого рода войск — обеспечение и прикрытие на время боевых действий армии, в мирное время они решали проблемы крупных строек, причем, трудились, как правило, на самых сложных участках. Это высокоорганизованная мобильная сила, которая в случае необходимости, грузит в эшелоны технику, вооружение, личный состав — и в путь. В пункте прибытия выгружается техника, ставятся палаточный городок, вагончики, и начинается работа.

Вот только некоторые направления железных дорог, которые строил молодой офицер: Абакан—Тайшет, Тюмень—Сургут, Кандагачсаксаульская железная дорога в Казахстане… И самым серьезным испытанием стало строительство железной дороги в Монголии. Сто пятьдесят километров подъездных путей по направлению Салхат—Эрдэнэт к строящемуся горно-обогатительному молибденовому комбинату и к разработкам открытого угольного разреза в 45 километрах от китайской границы. В то время с Китаем у Советского Союза были очень напряженные отношения, только что улеглись события на Даманском, потом в 1978-м — снова военные столкновения. Тогда наши танки из Забайкальского военного округа своим ходом пришли в Монголию. Так что строили железную дорогу, не забывая о военной подготовке, что само по себе утяжеляло и без того трудную службу в пустыне Гоби.

Сколько лет прошло, а служба в Монголии помнится до сих пор. Климат резко континентальный, лето всего один месяц — июль. Но за этот месяц успевают вырасти и созреть дикая смородина, земляника, подняться трава, которая в зимнее время станет кормом для многочисленных диких зверей, также для домашних животных — овец, коров, лошадей.

— Интересная деталь: сорокаградусный мороз, ветер сбивает с ног, и, бывало, за всю зиму ни разу не выпадет снег, — погружается в воспоминания Анатолий Яковлевич. — Лошади, коровы пасутся круглый год. Это природное явление повлияло и на культуру скотоводства в Монголии. Скотоводы в Монголии — их

зовут араты — никогда не заготавливали на зиму корма для своих животных. И если случалось, что вдруг выпадал снег, это становилось настоящим бедствием: большое количество скота погибало. И на помощь приходил Советский Союз. Вертолетами доставляли тюки сена, за что монгольские крестьяне были благодарны соседям.

Это был чуждый и непонятный мир! Голая бесплодная земля, бесконечное пространство до горизонта утомляло, угнетало, заставляло с особой любовью вспоминать родные края, леса, перелески, сады… На всем пути строительства железной дороги встречались буддистские храмы с буддистскими монахами-ламами.

Местное население приветливо относилось к воинам-железнодорожникам. Они для них были представителями совсем другого мира, далекого и непонятного. Но особенно удивлялись тому, что белые люди ели рыбу. Им это не нравилось. Ни один монгол не сядет за стол, если на нем будет стоять рыбное блюдо, потому что как для индийцев корова — священное животное, так для монголов — рыба. Две рыбы с открытым ртом изображены на гербе Монголии — рыба оберегает покой каждого арата, кочующего в пустыне, гоняющего с места на место бесчисленные стада лошадей и коров.

Но встречались на пути строителей и места просто райские — горные реки, озера, полные рыбы.

Монголию тогда поднимали всем Варшавским договором. В Улан-Баторе болгары построили большой современный тепличный комбинат, чехи — завод по производству пива, немцы — фабрику по пошиву обуви. Основную нагрузку по строительству социализма в Монголии взял на себя Советский Союз. Советские специалисты строили под Улан-Батором поселок для пяти тысяч населения, домостроительный комбинат, а железнодорожные войска подъездные пути, станционные инфраструктуры: путевые развязки, связь и т. д.

Как только Анатолий Яковлевич в Улан-Баторе получил служебную двухкомнатную квартиру, сразу же сообщил об этом Раисе Владимировне. И она с двумя сыновьями, десятилетним Игорем и трехмесячным Ильей, прилетела в Улан-Батор.

Военные городки — это особый мир, военные семьи, как утверждают социологи, самые прочные, а офицерские жены — самые верные, всегда готовы сложить все самое необходимое, взять детей и уехать туда, где несет службу муж. А условия жизни были всякие, приходилось жить в общежитии, казарме и даже в юрте. На строительстве Байкало-Амурской магистрали офицерские семьи жили в так называемых бочках. Бочки — это переделанные под жилое помещение обыкновенные цистерны, и в суровых климатических условиях они были оптимальным техническим решением жилищного вопроса. Железную дорогу от Тынды до Комсомольска-на-Амуре — 1540 километров, строили два корпуса железнодорожных войск — Тынденский и Чегдомынский. Эти 1540 километров майор Анатолий Степук на газике проехал несколько раз в обе стороны. Эта дорога работает и сейчас, она имеет огромное значение для России: коксующийся уголь, молибден, медь и другие природные ископаемые.

Ленинград, Актюбинск, Тюмень, БАМ, Казахстан, Монголия, Выборг, Москва, а потом Вильнюс, Ужгород, — если подсчитать километры пройденных дорог, то как раз получится, что Анатолий Яковлевич Степук обогнул земной шар.

Но так тянуло домой. Когда перевели в Вильнюс, семья обрадовалась — всего каких-то двести километров от родного дома. В Вильнюсе получили квартиру, дети пошли в школу, и вдруг новое назначение — Львов. Там он принял Первую гвардейскую железнодорожную бригаду. Звание гвардейской бригада получила в годы Великой Отечественной войны.

Шел 1988 год, во Львове нарастало «желто-блакитное» движение, национализм начал проявляться в самых крайних вариантах…

Настал момент, когда военнослужащие стали опасаться за судьбу своих близких. В форме Советской Армии было небезопасно появляться на улице. Офицеры писали рапорта и, забрав семьи, уезжали кто куда…

Полковнику Степуку предложили перевод на Дальний Восток на генеральскую должность. Вечная дорога… Четырнадцать раз собирали чемоданы, перевозили на новое место, распаковывали, устраивались на новом месте. Семья не боялась трудностей. Но на этот раз Анатолий Яковлевич Степук сказал, как отрезал: «Все! Больше никуда не поеду, только домой, в Белоруссию!»

Ему предложили принять 30-ю Минскую Краснознаменную железнодорожную бригаду, в которой когда-то он проходил практику.

Через двадцать лет, в 1989 году, покинув родные края старшим сержантом, Анатолий Яковлевич вернулся домой полковником!

ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ

Приняв бригаду, полковник Степук первым делом стал изучать обстановку. Выяснилось, что бригада буквально разбросана по нескольким городам, батальоны дислоцировались в Жодино, Жлобине, Гомеле, Брянске, Выборге, Смоленске…— практически по всему Советскому Союзу. А это несколько батальонов механизации, ремонтный батальон, два путевых батальона, два мостовых — четыре с половиной тысячи военнослужащих. В управлении 140 офицеров. Мотались по всей европейской части Союза.

Наступил 1991 год. Чувствовалось, что в Москве начали терять интерес к бригаде, связи буквально рвались на глазах. Анатолий Яковлевич начал стягивать в Белоруссию технику со всех мест дислокации батальонов: мостовые краны из Смоленска, мастерские из Брянска, путеукладчики из Выборга. В Жлобине стояло сорок новеньких МАЗов — резерв бригады. Приезжает из Москвы группа специалистов, с ними сорок шоферов, на руках приказ командующего железнодорожными войсками генерал-полковника Макарцева, а в приказе — перегнать машины в Брянск. И он идет на крайний шаг, приезжает к начальнику ГАИ города Жлобина и просит на всех дорогах выставить посты и не выпускать МАЗы за пределы Белоруссии. Из Москвы звонят, грозятся снять с должности, отдать под суд. Но эти звонки уже ничего не могут изменить.

В это время расформировывалась Бакинская бригада, звонит начальник управления механизации, товарищ по академии, говорит: «Не знаю, что делать, куда девать технику». А он ему в ответ: «Гони в Белоруссию. У меня охраняемых площадок достаточно. Примем». Четыре состава новейшей техники перегнали в Жлобин.

Интуиция подсказывала: надо торопиться. А в это время начался стремительный вывод Советских войск из Германии. Звонит полковник, вместе с которым служили в Москве, и предлагает: «Слушай, Анатолий, я пришлю тебе эшелон техники, не оставлять же ее здесь». И прислал!

Как вспоминает сегодня Анатолий Яковлевич, техникой у него были завалены все площадки и склады в Жлобине, Гомеле, Минске, Жодино.

Радовался комбриг проделанной работе, чувствовал себя собственником огромного хозяйства: с такой техникой можно горы свернуть. Еще никогда в республике не было сосредоточено столько современной техники, необходимой для строительства железных дорог, возведения мостов, переправ, виадуков… В декабре 1991 года, после развала Советского Союза, бывшие республики стали объявлять о своей независимости и начали образовывать свои Министерства обороны, в том числе и Беларусь. И как-то так случилось, что судьба 30-й Гвар-

дейской железнодорожной бригады повисла в воздухе. И в конце концов было принято решение вообще сократить железнодорожные войска.

Момент истины настал!.. Это был его час. Анатолий Степук был убежден, что железнодорожные войска нужны молодому государству, тем более, после развала великой страны. Кто знал, какая будет политическая обстановка. Способна ли будет республика защитить себя. Всякие приходили мысли, случались и минуты отчаянья.

Но он чувствовал свою правоту, потому что знал, что идет по пути не разрушения, а созидания, им руководила прежде всего забота о безопасности государства, и конечно, волновала судьба его родных железнодорожных войск.

Сегодня о том времени Анатолий Яковлевич вспоминает спокойно, а тогда голова шла кругом от одной мысли, что все, чему он посвятил жизнь, оказалось ненужным. И полковник пошел к Михаилу Мясниковичу, он тогда был заместителем председателя Совета Министров Республики Беларусь.

Михаил Владимирович посоветовал выступить в Верховном Совете: «Пусть этот вопрос обсудят депутаты в Законодательном органе».

Полковнику Степуку надо было решить две задачи.

Во-первых, добиться, чтобы выступление было внесено в повестку дня. Хождение по кабинетам увенчалось успехом. Наконец ему сообщили, что в такой-то день, в такой-то час он должен быть в Верховном Совете. В его распоряжении десять минут.

Но как в десять минут вместить всю историю железнодорожных войск, какие найти аргументы, чтобы убедить депутатов не спешить с расформированием железнодорожных войск страны?

Во-вторых, зная ситуацию в парламенте, заседания транслировались в прямом эфире практически днями, и, наблюдая за тем, как порой депутаты принимали решения скорее на эмоциональном уровне, нежели следуя здравому смыслу, Анатолий Яковлевич понимал, что добиться консолидированного решения будет очень трудно…

Тогда он пошел к начальнику Белорусской железной дороги Евгению Ивановичу Володько. Поговорили, проанализировали, что сделали за историю своего существования железнодорожные войска и что еще могут сделать для своего государства. Поскольку план прикрытия железных дорог был в его ведении, получить поддержку у Евгения Ивановича было очень важно. Он не только согласился с Анатолием Яковлевичем, но и пообещал поговорить с некоторыми депутатами.

И вот полковник Анатолий Степук поднимается на трибуну Верховного Совета.

Выступление он продумал детально. Начал с того, что Республика Беларусь в 1941 году первой приняла удар гитлеровской Германии, что железнодорожные войска невероятными усилиями и огромными потерями осуществляли прикрытие сражающейся Красной Армии. И сегодня Беларусь является форпостом на западном направлении. А поэтому для организации технического прикрытия всех направлений Вооруженных Сил стране необходимо иметь три железнодорожные бригады.

В Беларуси 13 тысяч километров главных путей, автомобильных дорог общего пользования более 50 тысяч километров, около 500 больших и средних мостов, около 2 тысяч малых мостов, 17 железнодорожных узлов. Если разрушить мосты или уничтожить часть железнодорожных путей — все остановится. Кстати, именно так через несколько лет и случилось в Югославии. С разрушения мостов началась катастрофа, закончившаяся исчезновением с мировой карты Югославии как государства.

В железнодорожных войсках служат военные. У них на вооружении есть автоматы, пулеметы, минно-взрывные средства. Восстановление дорог и мостов

во время военных действий может проходить в условиях жестокого боя. Так что воины должны организовать защиту, оборону и одновременно вести восстановительные работы.

Анатолия Степука слушали внимательно. Может, еще и потому, что тема было новой для многих депутатов Верховного Совета, но самое главное, она затрагивала проблему безопасности молодого независимого государства.

— Полнокровные, укомплектованные современной техникой и вооружением железнодорожные войска остались в России, в Украине, — продолжал свое выступление полковник Степук. — Нам же, если будет на то ваше согласие, уважаемые депутаты, их надо создавать заново, но это, как я вам уже сказал, делать надо непременно. А ситуация складывалась следующим образом: одна кадровая бригада и мостовой батальон остались под Смоленском в Красном Бору, путевой батальон дислоцирован в Вязьме и Брянске. Бригады фактически разодраны на куски, из России ничего уже не вернешь. Хорошо, что по дружбе прислали четыре состава техники из Баку и состав из ГДР после расформирования Варшавского договора. В Жлобине стоит 28-я бригада, техника есть, ее только надо доукомплектовать кадрами. По инициативе генерал-полковника Марчука, командующего автодорожными войсками СССР, в Слуцке была создана 307-я учебно-автодорожная бригада. Мы с Иваном Дмитриевичем договорились, он отдает нам 307-ю учебную бригаду, и в итоге у нас получится полнокровная современная структура Белорусских железнодорожных войск.

В заключение Анатолий Яковлевич, обращаясь к депутатам, сказал, что Беларуси нужно три железнодорожные бригады: в Жодино, Гомеле и Жлобине. «В мирное время они примут участие в возведении народно-хозяйственных объектов, зарабатывая средства на свое развитие, бюджет государства будет обеспечивать только военную составляющую. К тому же в учебной бригаде в Слуцке станут готовить специалистов по 36 специальностям, демобилизовавшись, военнослужащие будут успешно трудиться на гражданских объектах. Таким образом, государство получит бесплатно высококвалифицированных, прошедших практическую подготовку крановщиков, мотористов, слесарей и т. д.».

Депутаты слушали внимательно. Задавали много вопросов и в результате единогласно проголосовали за предложение полковника Степука — сформировать железнодорожные войска, и приступить к решению этой задачи немедленно.

В декабре 1992 года Степук Анатолий Яковлевич был назначен начальником управления железнодорожных войск Министерства обороны Республики Беларусь. И ему было присвоено звание генерал-майора. Погоны вручал Вячеслав Францевич Кебич.

Почти сорок лет своей жизни А. Я. Степук носил военную форму и от простого рядового дослужился до звания генерал-майора железнодорожных войск Республики Беларусь. Сколько дорог надо было пройти, чтобы стать генералом, знает только он. Да и не ставил Анатолий Яковлевич перед собой такую цель, он просто врос в железнодорожные войска всей своей сутью, не было у него ни другой судьбы, ни другой жизни, ни другой дороги…

28 декабря 2001 года Указом Президента страны был образован Департамент железнодорожных войск Министерства обороны, а 22 мая 2006 года генерал-майор Анатолий Степук назначен начальником Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны страны.

Но вернемся в 1991 год. Как уже было сказано, бригады, дислоцированные в Беларуси, финансировались по остаточному принципу: основную задачу железнодорожные войска выполняли на крупных стройках великой страны. Туда и уходили все средства. В результате военные городки оказались в плачевном состоянии. Семьи военнослужащих не были обеспечены жильем, к тому же, наблюдая, как Российская армия поспешно уходит из Беларуси, они просто беспокоились

о своей судьбе. Особенно волновались в 307-й учебной бригаде, ведь она напрямую подчинялась Москве. Но ее офицерский состав практически состоял из граждан Беларуси, не говоря о прапорщиках и других специалистах.

И первое, что сделал Анатолий Яковлевич, поехал в Слуцк, собрал офицеров, прапорщиков, их семьи, успокоил, рассказал, какая перспектива открывается перед учебной бригадой в связи с формированием железнодорожных войск Республики Беларусь. Был решен вопрос и со строительством жилого дома. Через два года был возведен 65-квартирный жилой дом, и в него вселились семьи военнослужащих. Были построены дома также в Витебске, Жодино, а еще многочисленные склады для хранения техники и боевого оружия, асфальтированы площадки в военных городках, подъездные пути к военным объектам.

Анатолий Яковлевич, удивляясь сам себе, вспоминает:

— Было огромное чувство ответственности и осознание, что ты служишь своей стране и что нельзя терять доверие военнослужащих.

Выдержать трудные моменты военной службы помогало воспитание, полученное в семье. А воспитание было таким: сколько человек живет, столько он должен строить, созидать. Родители всей своей жизнью подтверждали эту мудрость: построили дом на хуторе, посадили огромный сад, завели хозяйство, а когда надо было вступать в колхоз, не раздумывая, разобрали дом, выкопали сад и перенесли все на новое место. Так протекала и моя жизнь: строил, разбирал, переходил на новое место. Впереди всегда была дорога, и я шел по ней, куда бы она меня ни звала: в сибирскую тайгу, в ветреные казахстанские степи, пустыню Гоби. Приходилось преодолевать вечную мерзлоту и непроходимую тайгу, оставляя после себя железные дороги и мосты. И, наконец, дорога привела меня в родную Беларусь!

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ…

Железнодорожные войска начали отсчет своей истории 31 декабря 1992 года, когда воины-железнодорожники приняли присягу на верность Республике Беларусь.

С первых дней создания железнодорожных войск особое внимание уделялось боевой и мобилизационной подготовке, так как за время политической неразберихи и неопределенности статуса именно эти вопросы более всего были упущены. Министерством обороны была поставлена еще одна, может быть, самая главная задача — продумать размещение бригад таким образом, чтобы вся территория страны находилась в поле зрения руководства железнодорожных войск и в случае необходимости войска оперативно могли вести прикрытие военных действий регулярной армии.

К этому времени уже был опыт военных действий в Чечне. И он показал, что диверсии совершались не только на магистральных транспортных коммуникациях, но и по всей республике бандиты взрывали мосты, виадуки, транспортные развязки. В Чечне свои возможности показали именно железнодорожные войска. Они быстро восстанавливали взорванные мосты и железные дороги, постоянно сопровождали воинские эшелоны, занимались ремонтом дорог и других объектов...

Первое время средства для развития находили, сотрудничая с Белорусской железной дорогой. Но настал момент, когда из-за отсутствия у нее средств пришлось искать другие объекты. И тогда Анатолий Яковлевич стал внимательно изучать варианты по всей стране. Условие было одно — возводя объекты, повышать и свое воинское мастерство…

И, как говорится, пошло-поехало…

Демаркация границы с Литвой, реконструкция трамвайных путей в Витебске, Минске, транспортный мост в Минске в районе тракторного завода, мост через реку Ясельда, наплавные переправы — на Западной Двине, Припяти, Дне-

пре. Миллиарды рублей экономятся государством до сих пор за счет сокращения объездных путей. И только ли этим могут гордиться железнодорожные войска, хотя это и серьезный вклад в экономику страны. Сотни специалистов за эти годы были подготовлены в учебной бригаде в Слуцке…

Дороги, дороги… Они всегда ведут вперед и в конце концов приводят к месту назначения. А местом последнего назначения для военного человека становится срок окончания службы. Но прежде чем наступил этот момент, Анатолию Яковлевичу суждено было осуществить, может быть, самое важное дело всей жизни.

12 апреля 1993 года был заложен памятный знак на песчаной отмели реки Свислочь в центре Минска. С этого дня песчаной отмели суждено было стать островом Мужества и Скорби. Идея памятника принадлежала скульптору из Днепропетровска Юрию Павловичу Павлову. Вместе с семьей он приехал в Минск и шесть лет, перебиваясь с хлеба на воду, живя в общежитии, упорно и самоотверженно шел к осуществлению своего проекта — строительству мемориального комплекса, которому сегодня нет равного на территории всего бывшего Советского Союза.

Вот как об этом вспоминает Анатолий Яковлевич:

— О строительстве памятника воинам-афганцам на острове Мужества и Скорби можно рассказывать много, но начать надо с момента получения разрешения на его строительство. В начале 1993 года в прессе и других средствах массовой информации был поднят вопрос об увековечении памяти воинов-афганцев. Но как всегда возник вопрос: где взять средства. Проводилось много различных заседаний и совещаний на самых высоких уровнях, но дело не сдвигалось с мертвой точки. После совещания у министра обороны П. П. Козловского все государственные структуры отказались от строительства памятника. И тогда в Комитете социальной защиты собрались для беседы Н. И. Чергинец, В. В. Шейман, А. Я. Степук и А. Н. Шевцов, где и было принято решение начать строительство памятника воинам-афганцам. И 12 апреля 1993 года легли первые кубометры завезенного грунта под фундамент будущего мемориала.

Уже потом, в ходе строительства, дорабатывалась проектно-сметная документация, вносились изменения в проект памятника.

Тысячи воинов-железнодорожников в течение нескольких лет трудились в центре Минска. Они увековечили память 771 воина-белоруса, погибших при исполнении интернационального долга.

Памятник был открыт 6 августа 1996 года, а именно в этот день железнодорожные войска отмечают свой праздник. Может быть, открытие мемориала было специально приурочено к этому дню, как знак благодарности воинам-железнодорожникам. Если это так, то все сделано правильно!

Выступая на открытии памятника, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко сказал: «Какими бы ни были политические цели этой войны, солдаты с честью выполнили свой долг. Через эту войну прошли около 30 тысяч наших земляков, из которых 771 человек погиб, более 800 солдат и офицеров вернулись инвалидами. Памятник, который сегодня открываем, уже имеет свою историю. Сколько сил и энергии затратили отцы и матери погибших, добиваясь, чтобы памятник был построен именно на этом острове, который символизирует ту далекую афганскую землю. 9 лет собирали деньги на его строительство…

…И вот наступил тот момент, когда приходится уходить и оставлять то, что сделал. И сколько бы ты ни думал об этом, как бы ни уговаривал себя в неизбежности этого шага, все равно боль настигает тебя, опустошает, бьет в самое беззащитное — в сердце. Наверное, людям конкретной профессии, а именно такая профессия была у Анатолия Яковлевича, в этот момент помогает пережить перемену в статусе то, что он оставил после себя. Можно не перечислять тысячи километров железной дороги, сотни километров мостов, сотни тысяч кило-



В 30-й отдельной Краснознаменной железнодорожной бригаде.

метров связи, проложенной по всему бывшему Советскому Союзу и родной Беларуси. Самое главное и важное дело его жизни — это создание железнодорожных войск Республики Беларусь. Его имя навечно занесено в список воинского состава 30-й Краснознаменной железнодорожной бригады, дислоцированной в Жодино. Наряду с другими наградами и званиями генерал-майор Степук Анатолий Яковлевич первым в стране был удостоен ордена «За службу Родине».

— Товарищ генерал, по какой дороге вам бы хотелось сегодня проехать? — спросила я у Анатолия Яковлевича.

Удивляюсь, какой долгой была пауза, прежде чем последовал ответ…

— А знаете, так бы хотелось снова побывать и в Монголии, и на БАМе, и в Жигулях, и в Тольятти, и в Тюмени. Это как второй раз родиться и начать жить сначала… Но это вряд ли кому-то удавалось, к тому же у меня и сейчас немало дел и забот…

ВПЕРЕДИ НОВАЯ ДОРОГА

В 2005 году генералу Степуку предложили возглавить Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Так и сказали: «Ты сделал все, чтобы транспортные войска стали серьезной составляющей Вооруженных Сил Республики Беларусь. Теперь твой опыт нужен здесь.

Предложение Анатолий Яковлевич тогда не принял. Трудно было расстаться с любимыми войсками, казалось, что и сил уже не осталось на новое дело. Но когда неожиданно ушел из жизни Владимир Иванович Пацков, возглавлявший ДОСААФ всего два года, Анатолия Яковлевича снова вызвали в Совет безопасности (ДОСААФ курирует Совет безопасности республики) и уже более настойчиво предложили возглавить Общество.

«Значит, пора менять место службы. Но разве тебе привыкать к этому, товарищ генерал, — уговаривал сам себя Анатолий Яковлевич, — чемоданы паковать не надо, не надо ехать за тридевять земель, все рядом...»

Министр обороны, тогда им был Леонид Семенович Мальцев, тоже посоветовал сменить место службы:

— Чего опасаешься, нужно просто восстановить существовавшую стройную структуру. Государство в этом заинтересовано, так что помощь будет.

22 мая 2007 года на внеочередном Пленуме генерал-майор Степук был избран председателем Центрального совета ДОСААФ.

До этого он не имел даже представления, насколько это большое «хозяйство»: 88 районных организаций, 6 областных, 5 детских и спортивных школ, 5 аэроклубов, 19 видов технических авиационных видов спорта, автошколы, технические кружки. Со всем этим предстояло разобраться, изучить, а главное, понять, с чего начинать.

Основная и главная задача, которая была поставлена генерал-майору при назначении, — как можно быстрее стабилизировать коллектив республиканского ДОСААФ. За долгие годы службы Анатолий Яковлевич приобрел серьезный опыт работы с людьми. Куда бы ни забросила его служба, он всегда старался внушать людям уверенность. «Руководитель тогда достоин уважения, — любит повторять генерал, — если, придя в новый коллектив, он так сумеет организовать работу, что те же люди начинают работать по-другому…»

И пошел колесить генерал по стране. Благо, было ему это не в тягость — привычный образ жизни, даже радостно становилось от мелькания городов и весей за окном машины. Почти год ушел на то, чтобы познакомиться со всеми отделениями республиканского ДОСААФ. И сегодня Анатолий Яковлевич гордится тем, что никто не был уволен без основательной на то причины! Если инструктор, тренер или преподаватель кому-то не нравился, это не повод для его увольнения, если какие-то отрицательные качества не влияют на решение задач, этот специалист должен работать и давать результат. В коллективе республиканского ДОСААФ оценили это качество нового руководителя, и началась спокойная продуктивная работа по восстановлению структуры по всем направлениям.

Буквально за два года ДОСААФ стал серьезной системой в государстве, которая не только окупает себя, но и приносит пользу стране. Уже в первый год только одних налогов было перечислено в государственную казну пятнадцать миллиардов, а в 2009-м эта сумма составила 20 миллиардов рублей.

Конечно, есть проблемы, которые достались генералу Степуку еще от прежних времен. И пока не понятно, как их решать. Это прежде всего касается авиационных и автомобильных видов спорта. Самолетам уже по 25—30 лет. Сроки их эксплуатации, режимы, ресурсы продлеваются из последних сил. Организовали стабильный ремонт, хватит еще на лет пять-шесть. А там, если не будет новых машин, наверное, придется отказываться от авиационных видов спорта. А ведь в республике несколько авиационных клубов: центральный в Минске, затем в Витебске, Могилеве, Бобруйске, Бресте. В парашютном спорте белорусские спортсмены уступают только России.

Если говорить о других видах спорта, например, подводном плаванье, радиотелеграфии, то со всех международных соревнований наши спортсмены привозят на родину целые корзины медалей. Вот и в марте на соревнованиях по пулевой стрельбе, которые проходили в Норвегии, Илья Чергейко завоевал звание чемпиона Европы.

В планах возродить в республике автомобильный спорт. За годы перестройки республика потеряла шоссейно-кольцевую трассу. Несколько лет назад так непродуманно через нее провели дорогу из Уручья на Заславль. Отойти бы на метров пятьсот в сторону, и не пришлось бы сегодня ездить тренироваться на кольцевые трассы в Украину.

В последнее время активизировались и трековые гонки, проводятся авторалли, кроссы в Витебске, Новолукомле, Бресте, Гродно.

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту всегда было привлекательным для юношей, им нравится этот сугубо мужской мир, где можно еще до призыва в армию научиться стрелять, плавать, водить машину, прыгать с парашютом, а самым настойчивым и крепким сесть за штурвал самолета.

А в самом Обществе работают тренерами, инструкторами, техниками, управленцами бывшие военные. Со сложившейся традицией можно вполне согласиться, потому что Республиканское государственно-общественное объединение ДОСААФ первостепенной своей задачей считает подготовку юных граждан страны к труду и защите Отечества. А кто это может сделать лучше, чем бывшие военные, прошедшие службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь?

Во время нашей беседы я спросила у генерала Степука:

— Жизнь ваша отлажена и устроена. Рассматриваете ли вы ее сегодня как подарок за службу Отечеству?

Куда девалась улыбчивость, мягкость в тоне Анатолия Яковлевича, наконец-то услышала голос генерала — твердый, резкий, одним словом, командный:

— За военную службу, которая и трудна, и ответственна, офицеры благодарности не ждут, не ведут они такой торг со своим Отечеством! Для меня и сейчас время и работа напряженные и сложные. Порой мне кажется, что в бригаде было даже легче и проще. Силы личного состава достаточно, техника, вооружение есть, расставляй разумно силы, распределяй средства и решай задачу: строй городки, выполняй планы, возводи объекты, — все отработано, все ясно!

Может, к тому, что я скажу, мои коллеги отнесутся ревниво, но я радуюсь, когда получается сесть в машину и махнуть в Жодино, где дислоцируется моя такая родная 30-я отдельная Краснознаменная железнодорожная бригада, а еще лучше, если получится эта поездка на 10 июля — на День бригады.

Пройдусь по Аллее комбригов, по казармам, загляну в технические блоки, где стоит техника, побеседую с подполковником Игорем Леонидовичем Федоровым, двадцатым по счету командиром бригады, обязательно постою на вечерней поверке. Затемно вернусь в Минск.

…И две дороги сойдутся в одну, которая приведет его в родную деревню Камень, что раскинулась в озерном крае и где стоит родительский дом, из которого мальчишкой пятьдесят лет назад увели его дороги в большую, беспокойную жизнь!



* * *

Этими двумя очерками завершается совместный проект Министерства обороны Республики Беларусь и журнала «Нёман» «Потомки Победы», посвященный 65-летию Великой Победы. В опубликованных статьях их авторы рассказывали о почетных солдатах и летчиках Вооруженных Сил Республики Беларусь. Эта традиция тесно связана с другой — традицией зачисления навечно в списки воинских подразделений имен героев и орденоносцев, которая родилась в Советской Армии и была продолжена в новой Белорусской армии с целью сохранения и умножения боевых традиций старших поколений защитников Отечества, воспитания личного состава на их героическом прошлом. 56 человек навечно зачислены в списки личного состава и 37 удостоены чести быть почетными солдатами, летчиками. Среди них не только Герои и заслуженные ветераны Великой Отечественной войны, а также участники сражений, выполнявшие свой интернациональный долг в Афганистане и других горячих точках планеты. Лучшие представители поколения Победителей и их достойные наследники. Белорусы, русские, казахи — представители всех народов Советского Союза, сражавшиеся с фашистской Германией. Среди навечно зачисленных четырежды Герой Советского Союза маршал Г. К. Жуков, дважды Герой Советского Союза генерал авиации Л. И. Беда, Герой Беларуси В. Н. Карват, Герой Советского Союза Н. П. Чепик, Герой Российской Федерации полковник В. А. Водолажский. Все они так или иначе связаны с Беларусью: родились или воевали здесь.

Накануне 65-летия Великой Победы, приказом Министра обороны Республики Беларусь от 7 мая 2010 года, список навечно зачисленных дополнен тремя именами: летчиков — полковника Александра Эдуардовича Марфицкого и полковника Александра Адиславовича Журавлевича, ценою своих жизней спасших многих людей, уведя потерпевший катастрофу самолет в безлюдное место на авиационном шоу в Польше «Радом-2009», и рядового Вячеслава Анатольевича Сулина, совершившего подвиг в Афганистане. Будучи тяжело раненным — оторвало руку, Сулин продолжал сохранившейся рукой забрасывать душманов гранатами, а последней взорвал вместе с ними и себя.

Среди героев очерков те, о ком можно сказать словами русского поэта Михаила Найдича:

Я только раз
использовал все связи —
Чтобы попасть
на фронт в шестнадцать лет.

В одном проекте невозможно рассказать о всех почетных солдатах, зачисленных в воинские части Республики Беларусь. Все они истинные патриоты, своими подвигами и мужеством доказавшие верность присяге. Их жизнь — образец служения Родине, народу, армии. На их примере воспитывается молодое поколение защитников Отечества.

Что такое патриотизм, любовь к родному краю, уважение к героической истории своей страны? Какой смысл мы вкладываем в эти понятия? Когда и как зарождаются эти самые благородные чувства в сердце человека и осознаются им? Как становятся той силой, которая вдохновляет и поднимает на подвиг? Именно ответы на эти вопросы находят молодые воины на встречах с почетными солдатами или же на примере жизни навечно зачисленных в списки воинских подразделений самоотверженных воинов, которые отдали свою жизнь за Родину.

Каждый день на поверках звучат имена героев. Молодые солдаты, прибывшие на службу в часть, первым делом знакомятся с воинской биографией почетных солдат части и навечно зачисленных в списки личного состава. Эта традиция помогает сохранению преемственности в армии, воспитанию патриотизма, морального духа молодых воинов, чести и достоинства. И пусть молодой воин заслужит право с гордостью говорить: «Служу Республике Беларусь!»

Завершая этот проект, уверены, что наше дальнейшее сотрудничество с Министерством обороны продолжится.

Татьяна Куварина

Восстань, пророк!

Вот оно, свершилось! *At last!* И я держу в руках прекрасно изданную книгу, на обложке которой золотым тиснением проставлено ее название: Халиль Джебран, «Пророк», а чуть ниже название повторено еще раз, уже на английском. Замечательная мысль пришла в голову работникам издательства «Літаратура і Мастацтва» поместить под одной обложкой русский перевод и сам оригинальный текст поэмы. Вот уж поистине раздолье для любителей параллельного чтения, будь то студенты, изучающие английский язык, преподаватели, ищущие удачные примеры для своих занятий по переводу, или просто буквоеды, которые не медля возьмутся скрупулезно сопоставлять русский и английский варианты поэмы, выискивая плюсы и минусы перевода, разнообразные компенсации и потери в процессе работы над оригинальным текстом. Заранее предупреждаю всех, кто настроится на такие поиски. Потерь в этом переводе нет! НЕТ! Совершенно блистательная работа Юрия Михайловича Сапожкова, сразу же и бесповоротно вознесшая его на переводческий Олимп, туда, где восседают такие корифеи перевода, как, скажем, сэр Вальтер Скотт, Август Шлегель, Шарль Бодлер и Василий Андреевич Жуковский.

Что же до самого автора, то известный арабский поэт, философ, писатель, художник Халиль Джебран (1883—1931) может быть с полным основанием отнесен к той довольно редкой категории людей, которых мы называем «космополитами» в самом лучшем, в самом высоком смысле этого слова, изначально означавшего не что иное, как «гражданин мира». Гражданином мира Джебран и был на самом деле, причем, одним из лучших граждан своего времени. Он родился в Ливане, детство его прошло в Париже, а зрелые годы — в США, где наряду с литературным творчеством Джебран плодотворно занимался и издательской деятельностью. В Нью-Йорке вместе с группой своих друзей и единомышленников он выпускал и редактировал первую арабскую газету на территории Америки.

Современники воспринимали творчество Джебрана как самый настоящий синтез культур Востока и Запада. И не только культур, но и многообразных философских теорий, религиозных поисков и течений. Наверное, именно поэтому человек любой национальности и мировоззрения может с легкостью отыскать в его произведениях то, что волнует именно его или отвечает его представлениям о сути бытия. Собственный ответ на извечный вопрос, занимающий умы бесчисленных поколений мыслителей и искателей правды — «Что есть истина?» Джебран попытался дать в своем самом знаменитом произведении — поэме «Пророк», которая увидела свет в 1923 году, а ныне переведена практически на все языки мира.

Бог его знает, почему, но араб Халиль Джебран, руководствуясь только одному ему ведомыми причинами, написал поэму, вопреки устоявшимся традициям и своему же многолетнему литературному опыту, не на арабском, а именно на английском языке. Впрочем, в мировой литературе такие примеры далеко не единичны. У всех нас на памяти Владимир Набоков с его романами, написанными на английском, или Сэмюэл Беккет, писавший, как известно, последние годы своей жизни исключительно на французском. В своих комментариях «От переводчика», предваряющих поэму, Юрий Михайлович Сапожков называет несколько причин, побудивших, по его мнению, Джебрана на такой неординарный шаг. Позволю в этой связи высказать и свое скромное предположение.

Джебран прожил в Америке, еще конкретнее, в Нью-Йорке, большую часть своей сознательной жизни (20 из 48 отпущенных ему лет). Иными словами, он имел возможность видеть и наблюдать жизнь этой страны со всеми ее грандиозными свершениями и не менее грандиозными противоречиями, как говорится, изнутри, находясь в самой гуще интеллектуальной, финансово-экономической и политической борьбы, средоточием которой всегда был и остается Нью-Йорк.

Я улицами вашими бродил
в ночном безмолвии; моя душа
входила в каждый дом незримо, тихо,
и сердце билось у меня, как ваше;
дыханье ваше на моем лице
я чувствовал; я знал, чем вы живете.

И вот, как большой поэт, я бы даже сказала, как поэт-пророк (хотя какой же поэт не пророк?), Джебран, быть может, скорее на интуитивном уровне понял, что именно американцы, как ни одна другая нация в мире, нуждаются в увещеваниях, наставлениях и грозных предупреждениях Пророка. Почему? Да потому что, несмотря на целую массу замечательных качеств, которыми обладает народ Соединенных Штатов, качеств, которые делают ему честь, вызывают уважение и даже восхищение, — динамизм, трудолюбие, рачительность, умение держать удар (это знаменитое *to face challenges*) и многое другое, американцы при всем том весьма самонадеянны и тщеславны. Их обуревает гордыня, свойственная и отдельным людям, и целым нациям, когда они, эти нации и люди, долгие годы остаются неуязвимыми для тех самых *challenges*, а проще говоря, для суровых вызовов времени.

Примеры? Да вот хотя бы последние прогнозы на XXI век, сделанные ведущим аналитиком корпорации *Stratfor* (кстати, в Интернете имеется аналогичный сайт) Джорджем Фридманом. Среди современных прогнозистов он известен как человек, который опирается в своих политических и экономических выкладках в том числе и на секретную информацию, к которой имеет доступ, как бывший сотрудник ЦРУ. По-видимому, именно исходя из этой информации, он и рисует картину будущего мира на ближайшие сто лет. Среди нескольких основных тезисов, выдвигаемых Фридманом, главный и основной — это «XXI век будет веком Американской эпохи». Словом, все у заокеанских парней будет в шоколаде. В принципе, в рассуждениях маститого аналитика присутствует известная логика. Вот только, сдается мне, что если бы с ними ознакомился джебрановский Пророк, то он наверняка бы воскликнул:

Кто знает — то, что выглядит сегодня
поверженным, не оживет ли завтра?

Ибо и Фридман, и многие ему подобные забывают одну простую вещь: общественное развитие — это не линейный процесс. Здесь возможны любые скачки и катаклизмы, как, скажем, это происходит в квантовой физике. А потому

…бесполезно торговаться с теми,
кто прячет за спиной пустые руки,
кто за слова готов купить ваш труд.

Впрочем, бог с ними, с американцами. В конце концов, не о них ведь речь. Да и мое предположение — не более чем гипотеза, которая при желании может быть с легкостью перекрыта другой, не менее убедительной.

Вернемся к самому произведению и его русскоязычной интерпретации. Написанная по-английски, поэма, тем не менее, в полной мере отвечает всем требованиям ориентальности: цветастый стиль, перенасыщенный обилием самых изысканных, но невероятно сложных даже для понимания на языке

оригинала (не говоря уже о переводе) метафор, эпитетов, метонимий и прочих выразительных средств, тщательно закамуфлированный подтекст, предельно четкая логика аргументации, спрятанная среди этих пышно цветущих роз и прочей восточной экзотики. Словом, Восток есть Восток, даже если он выступает в англоязычном обличии.

Тем более хвала тому, кто взялся за этот поистине сизифов труд и мужественно вкатил свой камень на вершину горы. Юрий Михайлович Сапожков работал над переводом Джебрана пять лет. Целых пять лет, воскликну я с восторгом, ибо в наше, как принято выражаться, динамичное время, не то что переводы, а целые романы выпекаются за пару-тройку месяцев. Итак, пять лет работы непосредственно над текстом, а потом еще год его доводки, шлифовки, оттачивания каждой фразы, мучительный поиск единственно точного слова, передающего все нюансы оригинала, долгие раздумья над несколькими вариантами одного и того же предложения. Словом, вот он, сладостный труд переводчика во всей его красе, все муки переводческого творчества, про которые великий Монтескье надменно сказал так: «Сколько бы ты ни переводил, тебя переводить не станут».

К счастью для моего героя, ему это колкое пророчество ничем не грозит. Потому что Ю. М. Сапожков прежде всего — поэт. Хороший поэт (замечу я в скобках), со своим, быть может, негромким, но очень чистым голосом, который не спутаешь ни с каким другим, даже в самом громкоголосом хоре. Именно это его качество я и считаю принципиальной удачей, определившей, по существу, и удачу всего многосложного предприятия.

Не меньшей удачей можно назвать и работу художника, проиллюстрировавшего поэму Джебрана. Георгий Поплавский добился, как мне кажется, безукоризненной стилизации. Его иллюстрации, в которых, безусловно, чувствуется рука и дух европейского мастера, сразу и бесповоротно настраивают каждого, кто возьмет в руки книгу, на восточную волну, вызывая в памяти то сказки «Тысячи и одной ночи», то бессмертную «Шахнаме», то изысканные стихи Саади и Хафиза. Настоящий успех известного белорусского живописца!

Но есть и еще одно обстоятельство, с моей точки зрения, не менее важное, тоже позитивно сработавшее на получение столь значительного результата на выходе. Как мне кажется, философские размышления Джебрана, его врожденное свободолюбие и категорическое неприятие приземленного существования «в толпе», его неустанные поиски правды и красоты, как в жизни, так и в искусстве, все это легло на душу самого переводчика и совпало с его собственным поэтическим кредо, с его ментальностью, если хотите. Эти мысли пришли мне в голову еще тогда, когда я впервые увидела отдельные фрагменты поэмы, которые публиковались в свое время на страницах журнала «Всемирная литература». Но окончательно и бесповоротно я укрепилась в своем убеждении, что духовная связь между Джебраном и Сапожковым — это не мой досужий вымысел, а вполне объективная реальность, после того, как ознакомилась с подборкой собственных стихов Ю. М. Сапожкова, которая была опубликована на страницах второго номера журнала «Нёман» за 2010 год.

Многие из них своей афористичностью напомнили мне лучшие рубаи Омара Хайяма и других великих поэтов Востока. Да взять, к примеру, хотя бы вот это четверостишие!

Тащи свой труд, как крест таскают.
И наплевать на то сто крат,
Что нынче нас еще не знают,
А завтра знать не захотят.

Я же, читая и перечитывая стихи (кстати, в приватном разговоре Юрий Михайлович признался мне, что многие из опубликованных четверостиший действительно были написаны им тогда, когда он работал над переводом Джебрана), не раз ловила себя на мысли о том, сколь все же благотворен синтез культур

в искусстве. И, ей-богу! — даже этот чертов «глобализм» не так страшен, особенно если воспринимать сей термин исключительно в философско-культурном контексте. Да и какая, в конце концов, разница, на каком языке обращается к нам со своими увещеваниями Поэт? Главное, чтобы ему было что сказать людям. Ведь, по сути, всем нам, живущим здесь и сейчас, со всей нашей всемирной отзывчивостью, которую еще сто с лишним лет тому назад открыл в нас и на нашу же голову Ф. М. Достоевский, и в самом деле не чужд «и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений», и многое-многое другое. И мы вполне готовы согласиться с Пророком по имени Александр Блок: то, что для западной цивилизации — века, «для нас — единый час».

Но памятуя новозаветное изречение о том, что нет пророка в своем отечестве, закончу рассуждения о творении Джебрана цитатой из другого «Пророка», на сей раз пушкинского. Кто же не помнит это стихотворение, которое все мы в годы оны учили наизусть в школе? И кто же из нас, томимый духовной жаждою, не обращался к нему в минуты горестных ли, или, наоборот, самых что ни есть радужных предчувствий и размышлений? И вот сейчас, напутствуя выход в свет замечательной поэмы Джебрана, в переводе, который отвечает всем критериям качества мирового уровня, я хочу вслед за Пушкиным воскликнуть:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Не сомневаюсь, что так оно и будет. Правда, *in the long run*, то есть не сразу и не сейчас. Но когда речь идет о вечных ценностях, не стоит торопиться. Будем учиться восточному умению ждать!

И еще раз низкий поклон всему авторскому коллективу, подарившему всем нам, читателям и любителям высокой Поэзии, такую прекрасную и такую актуальную в наше время книгу.

Зинаида Красневская



Один из соловьев Севера

Я **прожил** на русском Севере восемь лет. И хоть приехал туда на журналистскую работу в 1962 году, но многое еще напоминало там о сталинском времени. В тайге стояли бараки. В них десятилетиями жили узники концлагерей. Эти люди работали до начала «оттепели» в нашей стране на лесозаготовках, на нефтяных и газовых промыслах, на строительстве городов и рабочих поселков.

Как известно, «оттепель» началась после смерти Сталина, после его почти тридцатилетнего правления. Да и то не сразу. Постепенно подневольные покидали места своих долгих незаслуженных мучений. Но многим еще не разрешали оставлять Республику Коми.

Осенью 1958 года в Сыктывкаре — столице Северного края — открылся Государственный театр оперы и балета. Среди первых, кто пришел в него работать, был Николай Клаус, наш земляк, уроженец Климовичей. Наказание, которое ему определил суд, он отбывал в заполярном городе Инта, работал газомерщиком в шахте.

Клаус родился 6/19 декабря 1906 года. В 1934 году окончил консерваторию в Минске, работал дирижером в Театре оперы и балета, руководил оркестром Белорусского радиокомитета и сочинял оперы для детей, романсы, музыку к спектаклям. Изучал теорию музыки.

Когда началась Великая Отечественная война, не смог эвакуироваться из Минска. Фашисты, узнав, что Николай Порфирьевич, носивший немецкую фамилию, — талантливый музыкант, вывезли его в Германию. После Победы им заинтересовались следственные органы НКВД и предъявили ему обвинение в том, что он якобы добровольно уехал в Германию. Осудили на 25 лет лагерей. «В вашем репертуаре, Клаус, — заявили ему на суде, — были произведения композиторов, которых любил Гитлер. Например, Вагнер». Они не сказали о других композиторах, чьи произведения исполнял Клаус — пианист «Европейской артистической службы». А другие — это Бетховен, Моцарт, Шуберт.

После работы в шахте Клаус сочинял музыку, руководил лагерным оркестром. Там он благословил в жизнь песню своего собрата по несчастью Василия Грецкого «Мчатся гуси вереницей». Ее под псевдонимом послали в Москву, якобы ее написал некто У. Жук («умерший жук»). «Гуси» облетели всю страну. После освобождения из лагеря В. Грецкий для доказательства своего авторства взял в свидетели Клауса. Авторство было признано.

С Грецким я был хорошо знаком. После реабилитации Василий Алексеевич жил и работал музыкантом в городе Сосногорске, находящемся в 20 километрах от Ухты, где я тогда работал на студии телевидения. С Грецким мы написали немало песен, лучшие из которых прозвучали в Москве на радиостанции «Юность». Помню, Василий Алексеевич рассказывал о Клаусе, но он и словом не обмолвился, что Николай Порфирьевич родом из Беларуси, тем более — из Климовичей…

В Сыктывкаре Клаус работал дирижером в оперном театре, концертмейстером республиканской филармонии, главным дирижером музыкального театра. Его хорошие друзья композитор Яков Перепелица, Григорий Заривняк, Николай Видюк были моими соавторами, но, как ни жаль, никто не поведал мне, что Маэстро мой земляк. После Сыктывкара Клаус уехал в Калугу, куда вскоре последовал и соавтор Николай Видюк.

А недавно я получил книгу «След на Северной земле», составителем которой является мой друг, уроженец Кричевского района, журналист, заслуженный работник культуры Республики Коми Митрофан Курочкин. Она рассказывает о белорусах, которые по своей и не по своей воле оказались на Севере. Там проживает очень дружная белорусская диаспора. Есть в книге страницы о талантливом композиторе, дирижере, об одном из самых звонких соловьев Севера Клаусе. Полстраницы посвящено и мне.

Николая Порфирьевича уже нет в живых. Но светлая память о нем осталась в России. Пусть она будет такой и на Климовщине, в Беларуси. Маэстро Клаус достоин этого.

Иван Пехтерев

Авторы номера

ФЕДАРЕНКО Андрей Михайлович. Родился в 1964 г. в д. Березовка Мозырского района. Окончил Мозырский политехникум, Минский институт культуры. Прозаик. Автор книг прозы «Гісторыя хваробы», «Смута», «Шчарбаты талер», «Афганская шкатулка». Лауреат Литературной премии им. И. Мележа. Живет в Минске.

САЛТУК Олег Владимирович. Родился в 1946 г. в д. Рыженьки Шумилинского района Витебской области. Окончил филологический факультет Могилевского государственного педагогического университета. Автор ряда книг. Лауреат литературной премии им. Владимира Короткевича и премии Белорусского союза журналистов «Золотое перо». Живет и работает в Витебске.

ЦИПИС Наум Эфроимович. Родился в 1935 г. в г. Винница (Украина). Окончил Курский государственный педагогический институт. Автор книг прозы «Где-то есть город», «Старые дороги», «Иду и возвращаюсь», «Балканская рама», «Приближение» и др. Живет в Германии.

ШАДУКАЕВА Людмила Борисовна. Родилась в 1950 г. в Бобруйске. Окончила Ульяновский педагогический институт. Поэт, прозаик. Работает в редакции газеты «Металлург» Белорусского металлургического завода. Живет в Жлобине.

МАЕВСКАЯ Нина Васильевна. Родилась в 1938 г. в г. Любань Минской области. Окончила Белорусский государственный университет и Минскую высшую партийную школу при ЦК КПБ. Прозаик, поэт, переводчик. Автор книг прозы «Агата», «Такая позняя вясна», «Трывожна шумяць ясакары», «Арніка» и др., а также сборников поэзии «Падаюць даспелыя ранеты», «Мая ўлюбёная краіна». Живет в Минске.

СИМОНОВ Павел Андреевич. Родился в 1966 г. в Минске. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Поэт. Главный редактор журнала «Вестник Ассоциации белорусских банков». Живет в Минске.

БАДАК Алесь Николаевич. Родился в 1966 г. в д. Турки Ляховичского района Брестской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Главный редактор журнала «Нёман». Автор сборников поэзии «Будзень», «За ценем самотнага сонца», «Маланкавы посах», книг для детей «Верабей з рагаткай», «Незвычайнае падарожжа ў Краіну Ведзьмаў» и др. Живет в Минске.

ЗЛОТНИКОВА Ольга Сергеевна. Родилась в 1987 г. в Минске. Студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств. Дипломант республиканского конкурса молодых литераторов «Мы рождены для вдохновения». Печаталась в журнале «Планета Семья», в «Литературной газете». В «Нёмане» — впервые.

ПЕРЕВЕРЗЕВА Ольга Владимировна. Родилась в 1969 г. в Минске. Окончила Минский педагогический институт. Автор статей и эссе по психологии социума, поэтического сборника «Имя на память». Живет в Минске.

ПОЛЕЕС Елизавета Давыдовна. Родилась в Могилеве. Окончила Белорусский государственный университет. Автор нескольких сборников поэзии. Живет в Минске.

МАКЛАРЕН-РОСС Джулиан Джозеф. Родился в 1912 г. Британский писатель, автор романов о послевоенной жизни Великобритании «Любовь и страсть», «Смех и слезы», «День страшного суда», книги «Укус тарантула и другие рассказы» и др. На русский язык переведен впервые. Умер в 1964 году.

ХАКСЛИ Олдос Леонард. Родился в 1894 г. в г. Годалминг (Великобритания). Изучал литературу в Баллиольском колледже в Оксфорде. Автор романов «Желтый Кром», «Шутовской хоровод», «Слепой в Газе», сатирической «антиутопии» «Прекрасный новый мир» и др. Умер в 1963 г. в Лос-Анджелесе (США).